

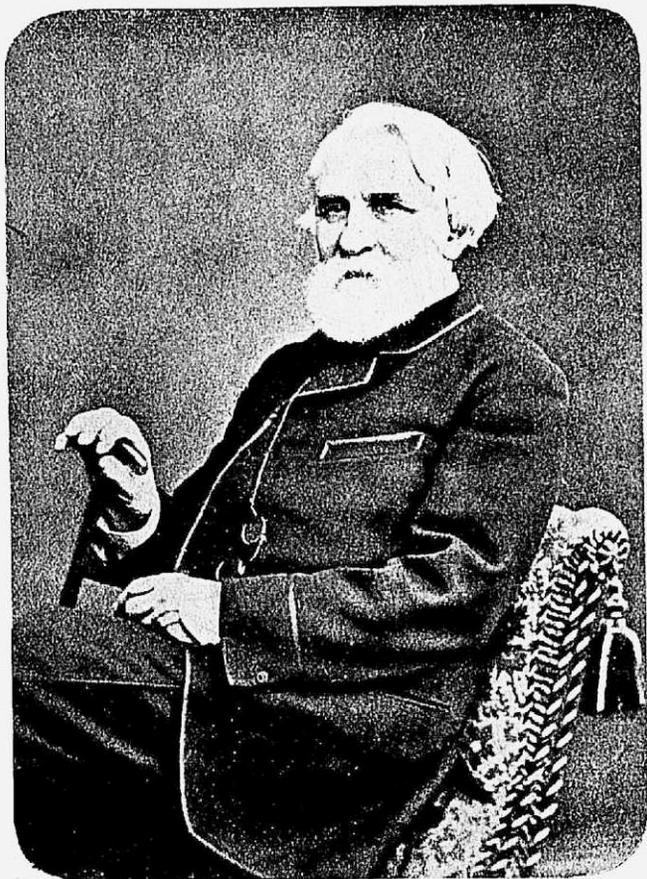
Государственная  
операция Ленина  
Библиотека СССР  
им. В. И. Ленина

79039-48



2007086067

2  
1



*И. С. Тургенев.*

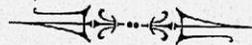


И. С. Тургеневъ въ костюмъ охотника.

## Отъ издательства.

Обзоръ русской литературы приводитъ насъ къ невольному заключенію, что она имѣетъ великихъ художниковъ, но въ ней отсутствуетъ теорія искусства. Это обычное явленіе у народовъ еще молодыхъ: воображеніе и творчество, у нихъ идетъ впереди разсудочности и анализа. Преобладаніе публицистической струи въ нашей художественной литературѣ нисколько этому не противорѣчитъ: она вызывается историческими внѣшними явленіями русской жизни и течетъ независимо отъ развитія художественнаго творчества и его обоснованій. Эстетическое пониманіе и проникновеніе задерживается въ тискахъ публицистики и связанной съ нею партійной борьбы, но выливается въ свое русло. Въ результатѣ образъ у насъ еще ищетъ своей теоріи построенія и за оцѣнкой родныхъ художниковъ намъ все же приходится обращаться на Западъ, старый Западъ, такъ многому насъ научившій. Зрѣлость его художественныхъ переживаній, объективность его эстетическихъ выводовъ является для насъ ручательствомъ положительности и вѣрности заключеній о нашей литературѣ у иностранныхъ критиковъ. Они дороги намъ особенно по отношенію къ Тургеневу, этому писателю съ умѣвшимъ слить въ себѣ національныя черты съ общеевропейскими до полной невозможности ихъ раздѣленія. Съ нимъ Россія разъ навсегда отошла отъ Азіи и перешагнула въ Европу. Иностранная критика замѣтила это въ его произведеніяхъ и оцѣнила по достоинству. Она благоговѣнно приняла первый даръ нашей культуры—произведенія высоко художественныя, согрѣтыя любовью ко всему человѣчеству безъ различія національностей, отмеживавшія только знакомую область для наблюденій. Она проникла въ душу этихъ произведеній лучше и тоньше, чѣмъ могла это сдѣлать наша критическая литература, которой приходилось стоять на стражѣ

борьбы за свободное слово. „Ни до эстетики, ни до художества ей было“, какъ сказалъ когда-то одинъ изъ ея представителей. Русская критика въ писателѣ видѣла чело-вѣка—гражданина, муки этого чело-вѣка были ей ближе, чѣмъ муки художника, его переживанія занимали нашего критика больше, чѣмъ переживанія художественныхъ обра-зовъ. Въ результатѣ полная невозможность правильной художественной оцѣнки русскихъ писателей на основаніи русской критической литературы. Пусть же западные братья, живущіе болѣе полной жизнью, жизнью свободныхъ наро-довъ, помогутъ намъ въ оцѣнкѣ того писателя, который такъ высоко вознесенъ нами, какъ гражданинъ и такъ мало оцѣненъ, какъ художникъ. Разошедшееся изданіе перваго выпуска „Иностранной критики“ о Тургеневѣ, гово-ритъ уже само собою объ интересѣ, который возбуждала она въ русской публикѣ. Надгробныя рѣчи и живыя вос-поминанія, слѣдовавшія непосредственно за смертью И. С. Тургенева пополняются нами позднѣйшей критикой его произведеній, указывающей на продолжительность инте-реса, его силу, и на вѣчность элементовъ самого творче-ства Тургенева. Обиліе иностранной литературы о нашемъ художникѣ само собою говоритъ уже о томъ, что въ нашу задачу не можетъ входить попытка исчерпать весь даже болѣе или менѣе важный матеріалъ: издателямъ прихо-дится въ данномъ случаѣ ограничиваться лишь тѣмъ, что въ слѣдъ за общими штрихами, очерчивающими характеръ художественнаго творчества у Тургенева, отличается своею оригинальностью, тонкостью и мѣткостью своей эстетической оцѣнки. И съ этой стороны издательство исполняетъ все для него возможное.



## Иностранная критика

○

# Тургеневъ.

---

## Рѣчи надъ гробомъ Тургенева.

Рѣчь Ренана.

Мы не отпустимъ безъ прощальнаго слова этотъ гробъ, возвращающій отчизнѣ гениальнаго гостя, котораго мы знали и любили въ теченіе долгихъ лѣтъ. Тотъ, кто умѣетъ цѣнить произведенія ума, откроетъ вамъ тайну его чудныхъ твореній, очаровывавшихъ наше поколѣніе. Тургеневъ былъ не только знаменитымъ писателемъ: онъ былъ и великимъ человѣкомъ. Я буду говорить лишь о его чудной душѣ, которая открылась мнѣ въ тихомъ уединеніи, гдѣ онъ жилъ между нами.

Тургеневу данъ былъ таинственнымъ предопредѣленіемъ, управляющимъ человѣческими призваніями, высокой, благородной даръ: онъ былъ рожденъ, такъ сказать, отрѣшеннымъ отъ личныхъ вкусовъ. Душа его не была душой отдѣльной личности болѣе или менѣе богато одаренной природой, то была, нѣкоторымъ образомъ, совѣсть цѣлаго народа. Прежде, чѣмъ родиться на свѣтъ, онъ уже жилъ въ продолженіи тысячелѣтій: безконечный рядъ поэтическихъ образовъ сосредоточивался въ глубинѣ его сердца. Ни одинъ человѣкъ не воплощалъ въ себѣ такъ полно цѣлой народности. Въ немъ жилъ цѣлый міръ и говорилъ его устами; цѣлыя поколѣнія предковъ, безмолвныя, затеряныя въ забвеніи вѣковъ, черезъ его посредство обрѣли жизнь и слово.

Молчаливый гениі коллективныхъ массъ—источникъ всего великаго. Но у массы нѣтъ голоса. Она умѣетъ лишь чувствовать и лепетать. Ей нуженъ выразитель, пророкъ, который говорилъ бы за нее. Кто будетъ этимъ пророкомъ? Кто выразитъ ея страданія, отрицаемыя тѣми, которымъ выгодно не видѣть этихъ тайныхъ стремленій, нарушающихъ блаженный оптимизмъ довольныхъ? Ихъ выразитъ великій человѣкъ, если онъ въ то же время человѣкъ гениальный и человѣкъ съ сердцемъ. Вотъ почему великій человѣкъ наименѣе свободный изъ людей. Онъ дѣлаетъ и говоритъ не то, что хочетъ. Его устами глаголетъ Богъ; десять вѣковъ страданій и надеждъ тяготѣютъ надъ нимъ и руководятъ имъ. Иной разъ съ нимъ случается тоже, что съ библейскимъ пророкомъ: призванный проглаголать, онъ благословляетъ, его языкъ повинуется духу свыше.

## Рѣчи надъ гробомъ Тургенева.

Рѣчь РЕНАНА.

Мы не отпустимъ безъ прощальнаго слова этотъ гробъ, возвращающій отчизнѣ гениальнаго гостя, котораго мы знали и любили въ теченіе долгихъ лѣтъ. Тотъ, кто умѣетъ цѣнить произведенія ума, откроетъ вамъ тайну его чудныхъ твореній, очаровывавшихъ наше поколѣніе. Тургеневъ былъ не только знаменитымъ писателемъ; онъ былъ и великимъ человѣкомъ. Я буду говорить лишь о его чудной душѣ, которая открылась мнѣ въ тихомъ уединеніи, гдѣ онъ жилъ между нами.

Тургеневу данъ былъ таинственнымъ предопредѣленіемъ, управляющимъ человѣческими призваніями, высокій, благородный даръ: онъ былъ рожденъ, такъ сказать, отрѣшеннымъ отъ личныхъ вкусовъ. Душа его не была душой отдѣльной личности болѣе или менѣе богато одаренной природой, то была, нѣкоторымъ образомъ, совѣсть цѣлаго народа. Прежде, чѣмъ родиться на свѣтъ, онъ уже жилъ въ продолженіи тысячелѣтій: безконечный рядъ поэтическихъ образовъ сосредоточивался въ глубинѣ его сердца. Ни одинъ человѣкъ не воплощалъ въ себѣ такъ полно цѣлой народности. Въ немъ жилъ цѣлый міръ и говорилъ его устами; цѣлыя поколѣнія предковъ, безмолвныя, затеряныя въ забвеніи вѣковъ, черезъ его посредство обрѣли жизнь и слово.

Молчаливый гениі коллективныхъ массъ—источникъ всего великаго. Но у массы нѣтъ голоса. Она умѣетъ лишь чувствовать и лепетать. Ей нуженъ выразитель, пророкъ, который говорилъ бы за нее. Кто будетъ этимъ пророкомъ? Кто выразитъ ея страданія, отрицаемая тѣми, которымъ выгодно не видѣть этихъ тайныхъ стремленій, нарушающихъ блаженный оптимизмъ довольныхъ? Ихъ выразитъ великій человѣкъ, если онъ въ то же время человѣкъ гениальный и человѣкъ съ сердцемъ. Вотъ почему великій человѣкъ наименѣе свободный изъ людей. Онъ дѣлаетъ и говоритъ не то, что хочетъ. Его устами глаголетъ Богъ; десять вѣковъ страданій и надеждъ тяготеютъ надъ нимъ и руководятъ имъ. Иной разъ съ нимъ случается тоже, что съ библейскимъ пророкомъ: призванный проглаголать, онъ благословляетъ, его языкъ повинуется духу свыше.

Честь и слава великой славянской расы, появление которой на авансцене истории—есть самый поразительный феномен нашего века; честь и слава ей, что она так рано нашла выразителя в таком несравненном художнике. Никогда тайны народного сознания, еще темного и полного противоречий, не были раскрыты с такой удивительной пронзительностью. Тургенев чувствовал и творил непосредственно и в то же время сознавал себя; он был вместе и народом, и избранником народа. Он чувствителен, как женщина, и невозмутим, как анатом; чужд предрассудков, как философ, и инок, как ребенок. Счастлива та народность, которая на первых порах своей сознательной жизни могла быть представлена в таких образах, в одно и то же время наивных и глубокомысленных, реальных и мистических. Когда будущее покажет нам мерку для оценки того, что даст нам этот удивительный славянский гений, с его пылкой верой, с его глубоким чутьем, с его особыми воззрениями на жизнь и смерть, с его потребностью мученичества, с его жаждой идеала—тогда картины Тургенева будут безцанными документами, чем то в роде портрета гениального человека в его детстве. Тургенев сознавал трудность этой роли—выразителя одной из великих семей человечества. Он чувствовал, что на нем лежит ответственность за много душ, и, как честный человек, он взвешивал каждое свое слово, он дрожал за все, что говорил и чего не говорил.

Его миссия была вполне умиротворяющей. Он был, как Бог в книге Иова, „творящий мир на высях“. То, что у других производило разлад, у него становилось основой гармонии. В его широкой груди примирялись противоречия; проклятия и ненависть обезоруживались волшебным обаянием его искусства.

Вот почему он—общая слава и гордость всех партий, между которыми господствует рознь. Эта великая раса, раздвоенная именно потому, что она так велика, находит в нем снова свое единство. Братья враги, раздвляемые столь различным пониманием идеала, придите все к его могиле? Вы все имете право любить его, ибо он принадлежал всем, всех вас он вместе с собой в своем сердце! Чуждое преимущество гения! Отталкивающие стороны вещей не существуют для него. В нем все примиряется: партии самые враждебные сходятся, чтобы сообща восхвалять его и восхищаться им. В той области, куда он переносит нас, слова, раздражительные для обывателя мира, теряют свой яд. Гений совершает в один день то, над чем работают целые века. Он создает атмосферу высшего мира, где и те, кто были противниками, в конце концов, находят, что они были лишь сотрудниками; он открывает эру великого всепрощения, где враждовавшие между собою на арене прогресса успокаиваются рядом, подавая друг другу руки.

И действительно, выше племени стоит человечество, или, если хотите, разум. Тургенев принадлежал одному племени по чув-

ству и по творчеству; но он принадлежит всему человечеству силою высшей философии, смотрящей ясным взором на человеческую жизнь и старающейся без предвзятой мысли познать действительность. Эта философия соединялась в нем с кротостью, с любовью к жизни, с состраданием к живым существам, в особенности к жертвам несчастья. Он горячо любил это бедное человечество, часто слепое, конечно, но и так часто обманываемое своими вождями. Он сочувствовал его стремлению к добру и к истине. Он не преследовал его иллюзий, он не стовал на его жалобы. Желчная политика, издвигавшая над страждущими, не была его политикой. Никакое разочарование не останавливало его. Подобно вселенной, он готов был тысячу раз начинать снова неудавшееся дело; он знал, что справедливость может ждать: в конце концов всегда обратятся к ней. Он поистине обладал словом вечной жизни, словом мира, справедливости, любви и свободы.

Прости же, великий и дорогой друг! Удалится от нас лишь один прах твой. Но то, что было в тебе бессмертного, твой духовный образ останется с нами. Да будет гроб твой для тех, кто придет цловать его,—залогом единения в одной и той же вере в свободный прогресс! И когда ты будешь покоиться в своем отечестве, пусть все, кто придет поклониться твоей могиле, вспомнить с симпатией о той далекой земле, где ты находил столько сердец, умевших понимать и любить тебя!

#### Речь Абу.

Иван Сергеевич, вы перестали страдать, но вы не умерли вполне. Теплая и живительная кровь течет еще в ваших книгах; добро, какое вы длали, выбито на металл, больше несокрушимом, чем медь,—ца признательности честных людей. Вот почему мы не плачем, следуя за вашим гробом; бессмертных не оплакивают! Но мы сопровождаем вас с благоговением, как гостя любезного и любимого, который отправляется теперь в свое последнее странствие. Именно здесь, на пороге Парижа, перед этой широкой дверью, открытой на Север, уязвляющие и остающиеся обгаиваются прощальным поцелуем. Дорогой путник нам нет нужды вызывать ваш образ, чтобы видеть вас снова таким-же, каким вы были вчера: ваш благородный образ напечатлелся у всех нас. Мы видим эту могучую голову, покоящуюся на дюжих плечах, эту бороду и волосы, поседшие преждевременно от труда и страдания, эти необыкновенно ласковые глаза, эти олимпийские брови, улыбающиеся и в то же время меланхолические уста, эту физиономию, запечатленную таким же изяществом и добротою, как и ваш гений. Вы провели среди нас двадцать лет, почти треть своей жизни. Наши искусства,

наша литература, наши утонченныя развлечения сдѣлали для васъ потребностью эту парижскую дачу. Вы не просто любили Францію: но вы ее любили изящно, именно такой любовью, какой она вправдѣ требуетъ для себя! Она съ гордостью усъновила бы васъ, если бы вы того пожелали, но вы всегда оставались вѣрными Россіи, и хорошо поступали, ибо тотъ, кто не любитъ своего отечества всепѣло слѣпо, до глупости (bêtement), останется навсегда человѣкомъ только на половину. Вы не были бы столь популярнымъ въ странѣ, гдѣ васъ ждуть теперь, если бы не были хорошимъ патриотомъ. Я прочелъ въ газетахъ, что нѣкто изъ самой многочисленной и самой сильной касты, изъ касты глушцовъ, сказалъ: „я не знаю Тургенева, это—европеецъ, а я—русскій купецъ“. Этотъ простаекъ помѣстилъ васъ черезчуръ въ тѣсныя предѣлы Европы. Вамъ сердце принадлежало всему человѣчеству. Но Россія занимала первое мѣсто въ вашихъ привязанностяхъ. Ей именно вы служили прежде всего и преимущественно. Я не знаю, какое мѣсто вы занимали въ общественной іерархіи, родились ли вы богачемъ или бѣднякомъ, занимали ли какія-либо должности, получали-ли какія-либо отличія? Это не имѣетъ большого значенія какъ въ глазахъ современниковъ, такъ и въ глазахъ потомства, вы были и всегда будете только авторомъ повѣстей. Повѣсти... въ этомъ, повидимому, нѣтъ ничего серьезнаго: ничтожнѣйшій изъ педантовъ нѣмецкихъ университетовъ смотритъ съ высоты на этотъ вздоръ, достойный развѣ того, чтобы наполнить бездѣлье женщинъ. Но когда разсказчикъ живой и пріятный становится классическимъ писателемъ, проникательнымъ наблюдателемъ, глубокимъ мыслителемъ, съ сердцемъ апостола, ему иногда удается завоевать себѣ мѣсто, вопреки педантамъ, среди великихъ людей вѣка и благодѣтелей рода человѣческаго. Почему русскій народъ заранѣе готовитъ вамъ почести, о какихъ не осмѣлился бы и мечтать кто либо изъ великихъ политиковъ или генераловъ-побѣдителей? Прежде всего потому, что расы охотно воплощаются въ индивидуумы, которые являются представителями ихъ типа въ совершеннѣйшемъ видѣ, а вы—славяннѣ изъ славянъ, одинъ изъ красивѣйшихъ отпрысковъ этой семьи ласковой и гордой, смѣлой и сантиментальной, которая не сказала еще своего послѣдняго слова и которая едва лишь въ послѣднее столѣтіе выступила на театръ исторіи. Вы открыли ей самой Россію, которая не знала себя. Жизнь русскаго крестьянина, его бѣдность, его невѣдѣніе, его самоотреченіе, его доброта впервые стали доступны интересу и состраданію всѣхъ, по вашимъ „Запискамъ Охотника“. Великая душа Александра II вдохновлялась этой небольшой книжкой, когда она рѣшилась уничтожить рабство и однимъ почеркомъ пера сокрушала несправедливость столь же старую, какъ и міръ. Никогда еще сильные міра сего не утверждали столь досто-словно царства разума на землѣ. Итакъ, вы опять увидите эту великую страну, которую мы нѣсколько знаемъ, благодаря вамъ. Вы прослѣдуете скромнымъ триумфаторомъ по этимъ степямъ безъ границъ и по лѣсамъ, благоухающимъ смолою сосенъ, гдѣ витають

тетеревь. Крестьяне побѣгутъ къ вамъ на встрѣчу, какъ къ старинному другу. Они пройдутъ много верстъ пѣшкомъ, чтобы привѣтствовать васъ при вашемъ проѣздѣ. Они будутъ оспаривать другъ у друга горькую радость нести вашу гробъ. Они возвратятся къ своимъ деревяннымъ домамъ, и передъ иконой упадутъ на колѣни и станутъ молиться св. Дѣвѣ и святымъ за вашу добрую душу. Мнѣ пріятно вообразить, какъ первый зимній снѣгъ посеребрить могилу, въ которой вы пожелали найти успокоеніе богъ-о-богъ съ вашимъ другомъ Бѣлинскимъ. Вы такъ жаждали снѣга, и никто не живописалъ его съ такой нѣжностью, какъ вы. Какой памятникъ воздвигаетъ вамъ отчизна въ своей глубокой признательности? Великіе государственные люди, ваши сосѣди на западныхъ границахъ знаютъ, что ихъ ожидаетъ послѣ смерти. У нихъ будутъ желѣзные статуи, поддерживаемыя военнополѣнными, побѣжденными, захваченными, несчастными, закованными въ цѣпи. Кусочекъ разбитой цѣпи на бѣлой мраморной плитѣ, всего лучше шелъ бы къ вашей славы и удовлетворилъ бы, я увѣренъ въ томъ, ваше скромное самолюбіе.

Иванъ Сергѣевичъ, вы, который насъ познакомилъ съ своими согражданами и далъ намъ возможность оцѣнить ихъ, увѣрчайте дѣло вашей жизни, внушивъ и имъ желаніе оцѣнить Францію. Скажите имъ, что опытъ непріязни насъ исправилъ и сдѣлалъ болѣе разсудительными, что мы уже не легкомысленны, что мы никогда не были неблагодарными, что мы умѣемъ любить тѣхъ, кто насъ любитъ, служить тому, кто намъ оказываетъ услугу, и мѣшать потоки нашей крови съ кровью друзей народовъ.

### Этюдъ Юліана Шмидта.

Со смертью Тургенева образовался чувствительный пробѣлъ въ литературѣ, и не только одной русской. Онъ принадлежалъ къ числу немногихъ писателей, пользовавшихся европейской извѣстностью: его романы и повѣсти читались въ Германіи, во Франціи, въ Англии, въ Италіи также жадно, какъ и въ его собственномъ отечествѣ; они служили излюбленной темой для критики, которая, даже разбирая его недостатки, всегда говорила о немъ въ восторженномъ тонѣ. Такъ какъ отдѣльные произведенія его обсуждались неоднократно и сохранились въ памяти публики, я намѣренъ обойти здѣсь подробности и представить лишь общій образъ поэта.

Впечатлѣнію, производимому его сочиненіями, немало способствовала его личность. Онъ былъ однимъ изъ самыхъ милыхъ, симпатичныхъ людей, какихъ мнѣ случалось встрѣчать. Часы, проведенные въ его обществѣ, принадлежатъ къ самымъ дорогимъ воспоминаніямъ моей жизни. Изъ его романовъ узнаешь только долю той чарующей прелести, которой онъ обладалъ. Всюду онъ былъ душой общества: когда статный, величавый старикъ, съ выразительнымъ, умнымъ и добрымъ лицомъ, съ густыми, бѣлыми, какъ снѣгъ, волосами, принимался рассказывать, всѣ обращались въ слухъ. Слушателя приковывалъ не только разсказъ его, блестящій умъ, граціей и тонкостью отбѣнокъ, но и необыкновенное добродушіе разсказчика. Ничего дѣланнаго въ немъ не было, никакого слѣда самоинтереса, часто противнаго въ поэтѣ. Онъ сгибался, какъ дитя, надъ своими собственными разсказами, но вмѣстѣ съ тѣмъ умѣлъ слушать и другихъ со вниманіемъ и участіемъ. Онъ никогда не разыгрывалъ аристократа хотя наружность его была настолько внушительна, что приковывала всеобщее вниманіе.

Такое положеніе Тургенева среди образованнаго европейскаго общества много содѣйствовало популярности его произведеній. Онъ ввелъ совершенно новый, чуждый элементъ въ европейскую литературу: отъ него ожидали объясненія той загадки, которая называется Россіей.

Но эти внѣшнія обстоятельства не могли бы прочно поддержать его популярность, еслибъ она не была заслужена истинными досто-

инствами его сочиненій. Его творчество не выходитъ изъ тѣсныхъ рамокъ повѣсти и романа, но и въ этомъ, если угодно, низшемъ жанрѣ, онъ былъ истиннымъ художникомъ, художникомъ первой величины.

Все, что онъ даетъ, неподдѣльно, — ни одной дѣланной черты, ни одного пустого или фальшиваго слова. Онъ никогда не вызываетъ призрачныхъ видѣній; все, что онъ думаетъ и чувствуетъ, является съ полной реальностью передъ его умственными очами, переживается имъ внутренно. Изъ этой правдивости прорастаетъ сила его образовъ; въ тѣхъ даже случаяхъ, когда мы не знаемъ оригинала, мы чувствуемъ, что портретъ удаченъ. Онъ умѣетъ сдѣлать невѣроятное доступнымъ пониманію, касаясь той именно струны, которая находитъ отголосокъ и въ нашей душѣ.

Обыкновенно Тургенева причисляютъ къ реалистической школѣ, и одинъ изъ парижскихъ, такъ называемыхъ, реалистовъ посвятилъ ему томъ своихъ разсказовъ съ надписью: *Salve frater!* Тургеневъ, конечно, реалистъ, въ томъ смыслѣ, что онъ не рубитъ съ плеча, но изображаетъ типы и картины на основаніи глубокаго изученія природы; у него наблюдательный, опытный глазъ, отъ котораго ничто не ускользаетъ; тамъ, гдѣ онъ пожелаетъ, онъ можетъ воспроизвести видѣнное съ виртуозностью, поражающей своимъ совершенствомъ. Но этого онъ не считаетъ задачей искусства: онъ, такъ сказать, не натраиваетъ своихъ красокъ передъ зрителемъ, не записываетъ подрядъ все, что видитъ или что можетъ увидѣть; онъ изображаетъ только то, что считаетъ цѣлесообразнымъ для созданія гармоничной общей картины. Тургеневъ, чуждается безобразнаго и старается его избѣгать; но гдѣ приходится изображать его, онъ поступаетъ съ необыкновенной осторожностью, онъ поклонникъ прекраснаго, даже тамъ, гдѣ рисуетъ безобразное.

Его искусство напоминаетъ живописца, а не ваятеля: его образы нельзя осязать, ихъ надо видѣть, и видѣть именно въ томъ свѣтѣ, который онъ выбралъ. Иногда онъ повѣствуетъ отрывками, связь можно только угадывать: поэту важно общее полное, идеальное впечатлѣніе. Ни одинъ романистъ не обладаетъ еще такимъ вѣрнымъ чутьемъ относительно красокъ, ни одинъ не дѣйствовалъ такъ пріятно на всякій просвѣщенный глазъ; краски удивительно гармоничны, причемъ смягчается все грубое и рѣзкое.

Эта гармонія красокъ звучитъ словно мелодія: читая его романы, такъ и кажется, будто слышишь легкій аккомпаниментъ пѣнія. Эта мелодія минорная, какъ вся почти русская музыка; она выражаетъ глубокую грусть, непонятную для насъ, какъ загадка, но тѣмъ не менѣе привлекательную.

Тургеневъ вовсе не эпическій поэтъ, въ строгомъ смыслѣ этого слова. Онъ не старается изобразить какое-нибудь событіе во всѣхъ подробностяхъ по закону эпической руины и непремѣнно выяснитъ тѣ нравственныя обстоятельства, которыя обуславливаютъ его. Въ руководящихъ мотивахъ его главнѣйшихъ характеровъ преобладаетъ

известное однообразие: часто повторяется одинъ и тотъ же типичный мотивъ, хотя бы въ разныхъ, поражающихъ повизной вариацияхъ.

Неравненный художникъ въ изображеніи мимолетныхъ движеній, Тургеневъ рѣдко дѣлалъ попытки прослѣдить какое-либо настроеніе въ продолжительное время, въ постепенномъ его развитіи. Онъ пока- зываетъ страсти въ известномъ отдаленіи и лишь отъ времени до времени открываетъ ихъ взору, и такъ, что бы зелень передняго плана нѣсколько смягчала впечатлѣніе. Онъ почти никогда не пускается въ анализъ характеровъ: они проходятъ мимо насъ, какъ художественные образы.

Основное направление его таланта опредѣляется тѣмъ, что онъ въ началѣ выступилъ жанровымъ поэтомъ. Особенность жанрового поэта заключается въ томъ, что ему и будничное кажется поразительнымъ, новымъ и страннымъ, что онъ самъ того не думая, остается на каждой сколько-нибудь оригинальной чертѣ, что все оставляетъ у него впечатлѣніе, и что по аналогіи съ подмѣченными чертами онъ быстро схватываетъ новыя. У Тургенева, какъ и у Диккенса, каждую выставленную фигуру мы мысленно видимъ передъ собой, слышимъ, какъ она говоритъ, чувствуемъ ея дыханіе; рѣчи и мысли автора невольно приспособляются къ духу изображаемыхъ, часто совершенно второстепенныхъ лицъ. Но у Тургенева то преимуще- ство, что онъ обладаетъ чувствомъ мѣры. У Диккенса наблюде- нія скоро превращаются въ галлюцинаціи, которыми писатель играетъ и которыя играютъ писателемъ. Тургеневъ болѣе бережливъ на свои матеріальныя средства: онъ изображаетъ рѣшающій моментъ, въ которомъ личность проявляется такой, какою она есть въ дѣй- ствительности; на этотъ моментъ онъ наводитъ яркій лучъ свѣта, между тѣмъ какъ все остальное отодвигается въ тѣнь. Онъ не при- бѣгаетъ къ микроскопу, глазъ его остается на надлежащемъ расто- яніи; такимъ образомъ не нарушаются пропорціи. Его фигуры никогда не позируютъ. Когда въ его картинахъ группируются странные образы, комическіе или трогательные, и задаютъ загадку какъ читателю, такъ и самому автору, глазъ, которымъ смотритъ на нихъ писатель, под- ходитъ къ нашей точкѣ зрѣнія: мы дышемъ той же атмосферой, въ его нравственныхъ взглядахъ ничто намъ не чуждо, и часто за странной вѣрностью (напоминаю о родителяхъ Базарова) мы откры- ваемъ глубину чувства, которая намъ проникаетъ въ душу.

Тургеневъ всюду подмѣчалъ художественные образы; но самый богатый матеріалъ доставлялъ ему лѣсъ, который онъ, какъ страстный охотникъ, изучилъ во всѣхъ его типахъ. Тургеневъ не былъ пейза- жистомъ по профессіи; во время своихъ путешествій, онъ много видѣлъ красоту природы, но истинно чувствовалъ онъ только родную природу. Онъ рисуетъ намъ тишину дремучаго лѣса, необозримую степь, непроглядную мятель; онъ не старается скрасить природу, по изображаетъ ее рѣзкими чертами. Онъ изучалъ ее, не какъ праздный фланеръ, а какъ охотникъ. Каждый звукъ въ природѣ долженъ быть понятенъ охотнику; малѣйшее дрожаніе вѣтки, дуновеніе вѣтерка, каждая мимолетная тѣнь можетъ выдать присутствіе добычи. Охот- никъ долженъ привыкнуть къ напряженности всѣхъ чувствъ: онъ

обязанъ одинаково внимательно слушать, видѣть, обонять. Голосъ каждой птицы знакомъ ему; онъ чувствуетъ къ каждой изъ нихъ искренній интересъ, что, однако, не мѣшаетъ ему убивать ихъ. Охотничьи картины Тургенева возбуждаютъ безусловное довѣріе: всѣ чувства его дѣйствуютъ одновременно, и изображаемый имъ ландшафтъ перестаетъ быть простой картиной: отъ него вѣетъ живой дѣйствительностью. А какъ чудно хороши бывають иногда эти мимолетныя свѣтотыя, воздушныя картины!

О веселомъ, шумномъ оживленіи, изображаемомъ Вальтеръ-Скот- томъ въ его картинахъ охоты, у Тургенева нѣтъ и рѣчи: русскій лѣсъ требуетъ иныхъ красокъ. Охотникъ наединѣ съ самимъ собой и природой, и въ этомъ уединеніи заключается своеобразная, чарую- щая прелесть. Все описано до того реально, что чувствуешь себя словно въ волшебномъ лѣсу.

Главное содержаніе романовъ и повѣстей Тургенева составляетъ любовь: я знаю немногихъ писателей, которые такъ нѣжно, и вмѣстѣ съ тѣмъ съ такой глубиной и силой, передавали движенія сердца. Если сущность любви одинакова повсюду, тѣмъ не менѣе русская любовь, въ томъ видѣ, какъ описалъ ее Тургеневъ, имѣетъ нѣчто своеобразное. Почти вездѣ у Тургенева въ любви инициатива при- надлежитъ женщинѣ; ея воля сильнѣе, ея кровь горячѣе, ея чувства искреннѣе, преданнѣе, нежели у образованныхъ молодыхъ людей, у которыхъ врожденная рѣшительность ослабляется философскими раз- мышленіями. Русская женщина всегда ищетъ героевъ; когда ея фантазія возбуждена любопытствомъ и показываетъ ей воображаемаго героя, она повелительно требуетъ подчиненія ея страсти. Сама она чувствуетъ себя готовой къ жертвѣ и требуетъ ея отъ другого, когда ея иллюзія насчетъ героя исчезаетъ, ей не остается ничего иного, какъ быть героиней, страдать, дѣйствовать. Герои Тургенева, по своей мускульной слабости и покорности судьбѣ, отличаются нѣкоторымъ однообразиемъ; но за то какой писатель располагаетъ такимъ бога- тымъ сокровищемъ интересныхъ обаятельныхъ женскихъ типовъ? Съ ними читателю такъ и хочется сблизиться, хотя и не слишкомъ: въ ихъ пылкой крови всегда таится расположеніе къ насилію. Кто углу- бится хорошенько въ сочиненія Тургенева, тотъ при каждомъ серьез- номъ политическомъ дѣлѣ непременно спроситъ: ou est la femme? (гдѣ женщина?).

Любовь—главная область Тургенева. На политическіе вопросы наталкивали его развѣ удручающія обстоятельства, грубо затроги- вавшія его нѣжную душу. Но вѣрность, съ которой онъ изобразилъ эти столкновенія, обезпечила за нимъ и въ этомъ отношеніи поло- женіе исключительное въ Европѣ. Долго мы будемъ по его роману изучать русскую исторію. Поэтъ всегда лучше историка умѣетъ выяснитъ историческую жизнь чуждаго намъ народа, и, хотя мы сами этого не замѣчаемъ, наши историческія представленія образуются при помощи поэтическихъ произведеній. При этомъ трудно избѣгнуть ошибокъ и недоразумѣній. Даже если писатель самымъ добросовѣт- нымъ образомъ стремится къ истинѣ, все же онъ зависитъ отъ судь-

ективности своих впечатлений. Он видит вещи такими, какими они коснулись его внутренней жизни. Контролировать его в этом очень не легко, в особенности на далеком расстоянии.

Классическим, несравненным, правдивым в малейших чертах является у Тургенева изображение крепостного права. В „Записках охотника“, в „Муму“, в „Постоялом дворѣ“, все что он рассказывает—он видел на деле собственными глазами, видел с полной отчетливостью; от него ничто не ускользало, и отдельные эпизоды, рисующие крепостное право во всех возможных вариациях, сливаются в общую картину, возбуждающую ужас, но производящую впечатление безусловной истины. Здесь едва ли что остается добавить историку. Но не то было послѣ уничтоженія крепостного права. Тургенев сам говорил мнѣ в тѣ годы, что для политического писателя тогдашнее положение представляло хороший материал, но не для поэта, такъ какъ, при постоянныхъ измѣненіяхъ и новыхъ теченіяхъ, художникъ не можетъ схватить определенной картины. В общемъ, однако, картина представлялась ему довольно мрачной; помѣстья мелкаго дворянства обезцѣнены, крестьяне, не чувствуя болѣе надъ собой принужденія, облѣнились и повадились ходить въ кабаки. Эти впечатленія измѣнились лишь по возвращеніи Тургенева, года два тому назадъ, изъ Россіи, гдѣ онъ провѣлъ нѣсколько мѣсяцевъ въ своемъ орловскомъ имѣніи. Все, что было неспособно жить, погибло; помѣстья попали въ руки купцовъ, которые, разумѣется, еще сильнѣе высасывали изъ крестьянъ соки, чѣмъ нѣкогда дворяне, но за то завели правильное хозяйство и улучшили помѣстья; крестьяне стали лучше понимать свою пользу и заботиться о ней. Впервые Тургеневъ говорилъ съ нѣкоторой надеждой о будущности своего отечества. Онъ встрѣтился съ другомъ, котораго высоко уважалъ и который укрѣпилъ его въ новыхъ воззрѣніяхъ: это былъ писатель Толстой \*), сосѣдь его по имѣнію. Тургеневъ надѣялся въ будущемъ же году подольше пожить съ нимъ вмѣстѣ въ деревнѣ, поработать и такимъ образомъ возстановить связь съ своимъ народомъ, связь значительно ослабѣвшую во время его житья въ Баденѣ и Парижѣ. Его болѣзнь и, наконецъ, смерть помѣшали исполненію этого намѣренія.

Его историческія повѣсти поистинѣ классическія произведенія для исторіи русскаго идеализма, но онѣ изображаютъ настоящее положеніе Россіи лишь туманными картинами, отъ времени до времени озаряемыми поразительно-яркимъ свѣтомъ. Почти каждая изъ нихъ—„Рудинъ“, „Отцы и дѣти“, „Дымъ“, „Новь“, при своемъ появленіи, возбуждали въ Россіи цѣлую бурю; поэта называли отступникомъ, обвиняли его въ клеветѣ на отечество; но затѣмъ одумались, настроеніе измѣнилось, поняли какъ тонко, какъ вѣрно, онъ распознавалъ правду, и удивленіе перешло въ шумный восторгъ. Поэта это отношеніе къ нему всегда глубоко оскорбляло, и его досада, по по-

\*) Л. Н. Толстой.

воду дурного впечатленія, произведеннаго „Новью“, заставила его даже на время отказаться отъ писательства.

Раздраженіе русскихъ понятно. Такихъ суровыхъ истинъ, какія онъ высказалъ русскимъ въ своихъ повѣстяхъ, еще ни одинъ писатель не высказывалъ своей наци: все сословія безъ различія имѣютъ видъ испорченный въ корнѣ и безнадежный. А надежда нужна живущимъ... Тургеневъ писалъ такъ не изъ ненависти къ Россіи; напротивъ, онъ былъ въ глубинѣ души страстный патріотъ. Во время турецкой кампаніи, которую онъ крайне не одобрялъ, когда подѣ Плевной дѣло приняло, повидимому, дурной оборотъ для русскихъ, онъ выходилъ изъ себя, избѣгалъ людей, увѣряя, что все будутъ показывать на него пальцемъ: до такой степени онъ считалъ свою жизнь тѣсно сплетенной съ судьбами Россіи. Но у него было горькое сознаніе, что его жизнь должна была бы сложиться иначе, что своимъ долгимъ пребываніемъ за границей онъ отдался отъ Россіи, и что эта такая вина, въ которой ему трудно оправдаться. Этимъ объясняется страстность его палатокъ на отечество: ему хотѣлось оправдаться передъ самимъ собою въ томъ, что онъ не принимаетъ участія въ общихъ усиліяхъ, хотя бы они и оставались безнадежными. Было ли преувеличено его сужденіе о руководящихъ кружкахъ Россіи,—не берусь рѣшать: одно мнѣ ясно, что это сужденіе у Тургенева недостаточно мотивировано. Эта мотивировка должна быть совѣмъ иной у поэта, чѣмъ у историка или политика; онъ исполнилъ свой долгъ, когда облекъ свои взгляды въ извѣстные образы. А этого я не вижу у Тургенева. Въ его „Дымѣ“, въ его „Нови“ аристократы выставлены въ дурномъ свѣтѣ; но въ чемъ собственно ихъ преступленіе? Такихъ генераловъ и такихъ высокопоставленныхъ чиновниковъ, какіе выведены въ этихъ романахъ, можно встрѣтить всюду, а не въ одной Россіи. Что касается испорченности чиновничества, она является въ болѣе точномъ изображеніи у Писемскаго и у другихъ писателей оппозиціи, и поэтому ихъ обвиненія, съ поэтической точки зрѣнія, болѣе основательны.

Главный сюжетъ историческихъ повѣстей Тургенева составляютъ русскіе идеалисты; здѣсь Тургеневъ вполне въ своей области и вводитъ въ нее и читателя.

Русскій идеализмъ прошелъ черезъ различныя степени развитія, но первоначально онъ былъ вывезенъ изъ заграницы. Лордъ Байронъ былъ идеаломъ образованной молодежи—Донъ-Жуанъ, смѣлый боець, бреттеръ, либераль, который въ случаѣ надобности готовъ идти противъ всѣхъ тирановъ Европы! На ряду съ нимъ является и благовоспитанный джентельменъ Вальтеръ-Скоттъ, который и въ наружныхъ поступкахъ, и во внутренней жизни строго держится нравственности. Вотъ каковы были идеалы въ молодости Тургенева; въ этомъ духѣ писали Пушкинъ, Лермонтовъ. Одного изъ такихъ безкоризненныхъ джентельменовъ Тургеневъ изобразилъ въ Павлѣ Кирсановѣ („Отцы и дѣти“).

Но вотъ явилось иное направленіе; германская философія и поэзія стали настоящимъ Эльдорато новой образованности; Гетевскій

Фаустъ, романтизмъ, Бѣтховенъ и Гегель смѣнили Лорда Байрона. Молодые люди учились въ Берлинѣ, искали въ гегелевской философіи ключъ къ рѣшенію міровой загадки. Они лишь на половину понимали, что имъ читалось на иностранномъ, трудномъ языкѣ, а еще менѣе были способны переваривать слышанное. Но они набрались нѣкоторыхъ смѣлыхъ выраженій, которыми въ началѣ сильно импонировали предъ своимъ соотечественниками, пока тѣ не устали вѣчно удивляться. Постоянное мышленіе ослабило у молодого идеалиста силу воли; онъ усвоилъ себѣ нѣчто изъ гамлетовскаго характера, всякое рѣшеніе стало для него дѣломъ труднымъ. Подобными образами изобилуютъ повѣсти Тургенева; самый сильный изъ нихъ, Рудинъ, списанъ съ характера Бакунина\*), хотя и не съ его судьбы, и тотъ моментъ, когда его бывшіе приверженцы и почитатели, наконецъ, убѣждаются, что подъ его мощнымъ краснорѣчіемъ скрывается пустая фраза, обозначаетъ новое направленіе русскаго идеализма.

Русскіе, пріѣхавшіе учиться въ Берлинъ нѣсколько лѣтъ спустя, застали положеніе сильно измѣнившимся, изъ младшихъ учениковъ Гегеля образовалась радикальная оппозиціонная партія; патриотизмъ, любовь, энтузіазмъ были уже въ загонѣ, естественныя науки должны были разрѣшить загадку жизни. Какъ приняли это направленіе молодые русскіе, Тургеневъ изобразилъ въ „Отцахъ и дѣтяхъ“. Нигилистъ Базаровъ — въ высшей степени интересная характерная фигура, и если его плебейскія привычки, его цинизмъ противны поэту, то онъ поневолѣ долженъ отдать справедливость его высокому образованію. Сверженіе старыхъ идеаловъ возбуждаетъ грусть поэта, но что эти идеалы дѣйствительно должны были пасть, съ этимъ онъ поневолѣ соглашается. Базаровъ не есть нигилистъ въ позднѣйшемъ политическомъ значеніи, а нигилистъ въ смыслѣ берлинскихъ „свободныхъ мыслителей“: онъ ни во что ни вѣрилъ, и это казалось ему первымъ шагомъ къ свободѣ. Ему не приходитъ въ голову лично организовать заговоръ для спасенія Россіи, но онъ твердо убѣжденъ, что ни одно учрежденіе въ Россіи не способно жить, а такой пессимизмъ можетъ имѣть роковое дѣйствіе.

Этотъ пессимизмъ еще усилился, благодаря французскимъ вліяніямъ. Жоржъ Зандъ, Бальзакъ, Викторъ Гюго и т. д. въ своихъ образахъ извратили всѣ нравственныя понятія: они прилагали къ чувству любви такой анализъ, который противорѣчилъ всѣмъ существовавшимъ до того представленіямъ: любовь, и именно истинная, глубокая любовь есть слѣпая сила природы, неизлечимая болѣзнь, часто подрывающая не только счастье жизни, но и характеръ любящаго существа. На Тургенева-художника эти французскіе романы сильнѣе вліяли, нежели нѣмецкая философія; но вотъ снова нѣмецкая философія появилась на помощь этимъ поэтическимъ парадоксамъ: у молодыхъ русскихъ Гегель смѣнился Шопенгауэромъ. Это

\*) См. Біографію М. А. Бакунина.

мизантропическое міровоззрѣніе казалось вдвойнѣ примѣнимымъ къ Россіи.

„У насъ, русскихъ, говоритъ Тургеневъ, нѣтъ другой жизненной задачи, какъ опять-таки разработка нашей личности, и вотъ мы, едва возмужалы дѣти, уже принимаемся разрабатывать ее, эту папу несчастную личность! Не получивъ извѣстнаго опредѣленнаго направленія, ничего дѣйствительно не уважая, ни чему крѣпко не вѣри, мы вольны дѣлать изъ себя, что хотимъ... и вотъ опять на свѣтѣ однимъ уродомъ больше, больше однимъ изъ тѣхъ ничтожныхъ существъ, въ которыхъ привычки себялюбія искажаютъ самое стремленіе къ истинѣ... однимъ изъ тѣхъ существъ, обезсиленной безпокойной мысли, которая не знала во вѣки ни удовлетворенія естественной дѣятельностью, ни искренняго страданія, ни искренняго торжества убѣжденія“.

Въ состояніи неподвижности народъ не можетъ оставаться долго, потребность къ движенію присуща человѣку отъ природы, и такъ какъ русскіе идеалисты сознавали свою собственную слабость, то они стали искать вокругъ себя человѣка съ твердой волей, который указалъ бы, что имъ дѣлать. Такой человѣкъ изображенъ въ „Дымѣ“ Тургенева. Губаревъ — аристократъ, чистой воды, но чтобы создать себѣ партію, онъ становится во главѣ революціоннаго движенія. Тургеневъ выставляетъ его пустымъ и пошлымъ членомъ; тѣмъ не менѣе, онъ одаренъ твердой волей и всѣ повинуется ему. Такъ какъ онъ самъ не сознаетъ ясно, чего онъ собственно хочетъ, то затѣянное имъ движеніе не имѣло бы важности; но скоро являются другіе Губаревы, которые принимаются за дѣло съ еще большей рѣшимостью.

„Дымъ“ появился въ 1866 году, „Новъ“ въ 1876 году. Въ „Новѣ“ выступаетъ нѣкій Василій Николаевичъ, тщедушный, чуть ли не горбатый человѣкъ, который силой своей воли держитъ своихъ приверженцевъ въ слѣпомъ повиновеніи. Всѣ трепещутъ передъ нимъ; онъ вождь обширнаго заговора, не имѣянаго, однако, иного результата, какъ ссылку заговорщиковъ въ Сибирь.

Во многихъ отношеніяхъ эта повѣсть — образцовое произведеніе. Самого главу заговора не видно, но среди его сторонниковъ, мелкихъ дворянъ, студентовъ, простолюдиновъ встрѣчаются типы, представляющіе живое доказательство склонности русскихъ людей массою подчиняться твердой волѣ. Политическіе процессы вполнѣ подтвердили истину того, что писатель говорилъ словно осѣненный даромъ ясновидѣнія.

Во внутреннюю суть событій поэтъ не вводитъ читателя. Мы видимъ, какъ люди движутся, но не замѣчаемъ тѣхъ потайныхъ пружинъ, которыя заставляютъ ихъ дѣйствовать или, вѣрнѣе, этихъ пружинъ авторъ касается лишь вскользь.

„Новъ“ собственно продолженіе „Дыма“, но съ тою разницею, что на этотъ разъ послѣдствія оказались очень печальны для дѣйствующихъ лицъ.

Безъ сомнѣнія, дальнѣйшій ходъ нигилистическаго движенія по-

разилъ и ужаснулъ писателя. То было уже не вялое движеніе массъ, которыя можно толкнуть по данному направленію, а дикая, жестокая ненависть, фанатическое движеніе, которое хотя и ждетъ вождя, но которос отнюдь не подчиняется духовному руководятельству этого вождя. Процессы разбираются публично, дѣйствующія лица ихъ достаточно извѣстны; это уже не шутовскія фигуры изъ „Дыма“, а мужчины, юноши, женщины, которые не страшатся кровавыхъ преступленій. Нигилизмъ злая сила, но все-таки сила.

На эту силу и мы, иностранцы, должны обратить вниманіе. Нигилизмъ — изліаніе ненависти, которая можетъ быть направлена и на другіе пути. Въ этомъ и заключается опасность панславизма, враждующаго до сихъ поръ въ литературныхъ кружкахъ. Русскій народъ, какъ это теперь доказано, способенъ отдаться великой страсти. Если эта страсть возвысится на степень культа — чего-то въ родѣ религіознаго изступленія, то она можетъ сдѣлаться опасной для Европы. Здѣсь, по-моему, Тургеневу, какъ и прочимъ европейски образованнымъ русскимъ, недостаетъ надлежащаго общенія съ душой народа. Въ народѣ словно дремлютъ силы, совершенно чуждыя европейской цивилизаціи и непонятныя ей. Тургеневъ въ своихъ разсказахъ неоднократно описываетъ странные феномены русской религіи: какъ молодая нѣжная барышня скитается по деревнямъ, прислуживая юродивому, какъ сынъ пона, человѣкъ не глупый и способный, страдаетъ отъ дьявольскаго навожденія, доходитъ до того, что выплевываетъ причастіе и топчетъ его ногами. Писатель повѣствуетъ все это съ чарующимъ реализмомъ, но замѣтно, что ему самому становится страшно.

Отношеніе русскаго къ его религіи существенно иное, чѣмъ у насъ. На западѣ христіанство поглотило высшія духовныя силы; послѣ основанія церкви, Данте \*) увѣнчалъ ее безсмертнымъ твореніемъ. Даже когда церковь выступила противъ прогрессивнаго движенія, духовная жизнь, благодаря Кальдерону, Мурильо и другимъ, всегда находилась въ общеніи съ преданіями народными. Въ Германіи умственное развитіе исходило изъ протестантской теологіи; она подчинила себѣ наши чувства, наши принципы, нашу совѣсть. Этой почвы держались Лейбницъ, Лессингъ, Кантъ, Гердеръ и ихъ послѣдователи, такъ что въ нашей идеальной жизни никогда не было полного раздвоенія. Всѣ мы, даже если издѣваемся надъ святыней, все-таки гораздо болѣе религіозные и добрые христіане, нежели сами думаемъ. Слово Божіе твердо запечатлѣно въ нашей совѣсти; хотя мы и не всегда создаемъ это. Всѣ мы болѣе или менѣе рационалисты, не исключая и придворнаго проповѣдника Штекера: мы должны такъ или иначе согласовать нашу вѣру съ нашимъ разумомъ, подобно блаженному Августину.

О такой духовной жизни никогда не было и помину въ русской церкви. Стремленіе молодого поколѣнія къ образованію не встрѣтило

\*) Данте Алигери—Божественная Комедія.

въ родныхъ идеалахъ ничего такого, на что можно было опереться или хотя бы противъ чего можно было серьезно бороться; поэтому молодежь бросилась на чужіе идеалы, почерпнутые изъ протестантскихъ или католическихъ поэтовъ. Русскій идеалистъ ничего не знаетъ о религіи народа, потому что никогда не преподавалась ему въ просвѣщенной формѣ; идеализмъ, заимствованный имъ изъ заграницы, не вполне усваивается имъ, не растворяется въ его крови, ибо онъ не самъ выработалъ его.

Въ самомъ же народѣ религія все еще составляетъ великую силу, и тѣмъ болѣе великую, чѣмъ онъ необразованнѣе. Она наполнена суевѣрными преданіями; та же самая склонность къ мнѣческимъ вѣрованіямъ, которая создаетъ русалокъ и домовыхъ, стараются придать святымъ церкви своеобразный характеръ. Втайнѣ, безъ руководства и просвѣщенія, народная душа неустанно продолжаетъ работать надъ религіей. Эта душа, такъ сказать, пребываетъ еще въ состояніи неразвернувшегося, связанномъ; духовная жизнь сохранила еще восточный характеръ, отдѣльная личность еще утопаетъ въ массѣ.

Именно поэтому образованный русскій, очерпающій свои идеалы изъ чужбины, находится въ извѣстной изолированности, по народная душа и въ немъ не совсемъ подавлена. Гоголь, просвѣщенный, высоко даровитый сатирикъ, въ концѣ своей жизни впалъ въ мистицизмъ, который отражалъ въ себѣ проблески русской національной религіи. Такія же черты находятъ въ себѣ современныи русскій поэтъ, и ему дѣлается страшно.

Быть можетъ, это смѣлое мнѣніе, но я нахожу связь между этой полной отчужденностью отъ всякихъ религіозныхъ преданій и безнадёжной меланхоліей, которая проявляется у нашего поэта внезапно, тамъ, гдѣ ея менѣе всего ожидаешь; она придаетъ его картинамъ своеобразную прелесть, но она поражаетъ насъ: какъ могъ чувствовать такъ писатель, обладавшій такимъ свободнымъ, такимъ богатымъ, такимъ любовнымъ пониманіемъ всего прѣкраснаго?

Странное призрачное существо—муза самого писателя показываетъ ему міръ съ птичьяго полета. При этомъ имъ овладѣваетъ глубокая печаль:

„Грустно стало мнѣ и какъ-то равнодушно скучно. И не потому стало мнѣ грустно и скучно, что пролеталъ я именно надъ Россіей. Нѣтъ! Сама земля, эта плоская поверхность, которая разстилась подо мною, весь земной шаръ съ его населеніемъ, мгновеннымъ, немощнымъ, подавленнымъ нуждою, горемъ, болѣзнями, прикованнымъ къ глыбѣ презрѣннаго праха; эта хрупкая, шероховатая кора, эти люди мухи въ тысячу разъ ничтожнѣе мухъ, ихъ слѣпленныя изъ грязи жилища, крохотные слѣды ихъ мелкой, однообразной возни, ихъ забавной борьбы съ неизмѣняемымъ и неизбѣжнымъ, какъ это мнѣ вдругъ все опротивѣло! Сердце во мнѣ медленно перевернулось и не захотѣлось мнѣ болѣе глядѣть на эти незначительныя картины, на эту пошлую выставку... Даже жалости я не ощущалъ къ своимъ собратьямъ, всѣ чувства во мнѣ потонули въ одномъ, которое я на-

звать едва дерзало: въ чувствѣ отвращенія и силнѣе всего во мнѣ было отвращеніе—къ самому себѣ“.

Такъ опротивѣла ему жизнь, но еще отвратительнѣе кажется ему картина разрушенія, которая является передъ нимъ въ осязательномъ, ужасномъ образѣ чудовища: оно извивается, ползетъ по землѣ, протгиваетъ грязныя свои пупальцы все ближе и ближе. Отъ этой картины онъ не можетъ избавиться, она преслѣдуетъ его непрерывно. Съ особенной горечью это чувство выражается въ „Венскихъ водахъ“, гдѣ писатель болѣе всего изливаетъ свою душу.

„Вездѣ все то же переливаніе изъ пустого въ порожнее, то же толченіе воды, то же, на половину добросовѣстное, на половину сознательное самообольщеніе;—чѣмъ бы дитя не тѣшилось, лишь бы не плакало,—а тамъ вдругъ, ужъ точно снѣгъ на голову, нагрянетъ старость, и вмѣстѣ съ нею тотъ постоянно возростающій, все развѣдающій и подтачивающій страхъ смерти... и бухъ въ бездну! Хорошо еще, если такъ разыграется жизнь! А то, пожалуй, передъ концомъ, пойдутъ, какъ ржа къ желѣзу, немощи, страданія... веѣ житейскіе недуги, болѣзни, горести, безуміе, бѣдность, слѣпота“...

Словно какое-то предчувствіе тяготѣло надъ сердцемъ поэта, предчувствіе того страшнаго мучительнаго года, которымъ суждено было закончиться его жизни!

Изъ веѣхъ этихъ изліяній, самое естественное, по-моему, описаніе настроенія одинокаго охотника въ русскомъ дремучемъ лѣсу.

„Видъ огромнаго, весь небосклонъ обнимающаго бора, напоминаетъ видъ моря. И впечатлѣнія имъ возбуждаются тѣ же; та же первобытная, нетроутая сила разстгается широко и державно передъ лицомъ зрителя. Изъ нѣдра вѣковыхъ лѣсовъ, съ безсмертнаго лона воды поднимается тотъ же голосъ: „Мнѣ нѣтъ до тебя дѣла“, говоритъ природа человѣку, я царствую а ты хлопочи о томъ, какъ бы не умереть“. Но лѣсъ однообразнѣе и печальнѣе моря, особенно сосновый лѣсъ, постоянно одинаковъ и почти безшумный. Море грозитъ и ласкаетъ, оно играетъ веѣми красками, говоритъ веѣми голосами, оно отражаетъ небо, отъ котораго тоже вѣетъ вѣчностью, но вѣчностью какъ будто намъ не чуждой. Неизмѣнный, мрачный боръ угрюмо молчитъ или воетъ глухо—и при видѣ его еще глубже и неотразимѣе проникаетъ въ сердце людское сознаніе нашей ничтожности. Не однѣ дерзостныя надежды и мечтанья молодости смиряются и гаснутъ въ немъ, охваченныя ледянымъ дыханіемъ стихій,—нѣтъ, вся душа его никнетъ и замираетъ; онъ чувствуетъ, что послѣдній изъ его собратій можетъ исчезнуть съ лица земли—и ни одна игла не дрогнетъ на этихъ вѣткахъ; онъ чувствуетъ свое одиночество, свою слабость, свою случайность,—и съ торопливымъ тайнымъ испугомъ обращается онъ къ мелкимъ заботамъ и трудамъ жизни; ему легче въ этомъ мірѣ, имъ самимъ созданномъ; здѣсь онъ дома, здѣсь онъ смѣетъ еще вѣрить въ свое значеніе и силу“...

„Я присѣлъ на срубленный пенъ, оперся локтями на колѣни и послѣ долгаго безмолвія медленно поднялъ голову и оглянулся. О! какъ все кругомъ было тихо и сурово-печально,—нѣтъ, даже не

печально, а нѣмо, холодно и грозно въ то же время. Сердце во мнѣ сжалось. Въ одно мгновеніе на этомъ мѣстѣ я почувалъ вѣяніе смерти, я почти осязалъ ея непрестанную близость! Я слова почти со страхомъ опустилъ голову; точно я заглянуть куда-то, куда не слѣдуетъ заглядывать человѣку... Я закрылъ глаза рукою и, вдругъ, какъ бы повинуваясь таинственному повелѣнію, я началъ припоминать свою жизнь“...

„Возможно ли? Эта малость, эта бѣдная горсть пыльнаго пепла, вотъ все, что осталось отъ тебя? Это холодное, неподвижное, ненужное нѣчто—это я, тотъ прежній я? Какъ! душа жаждала счастья такого полнаго, она съ такимъ презрѣніемъ отвергала все мелкое, все недостаточное, она ждала вотъ-вотъ нахлынетъ счастье потокомъ—и ни одной каплей не смочило алкавшихъ губъ? О сердце! къ чему, зачѣмъ еще жалѣть, старайся забыть, если хочешь покоя, пріучайся къ смиренной послѣдней разлуки, къ горькимъ словамъ „прости и навсегда“. Не оглядывайся назадъ, не вспоминай, не стремись туда, гдѣ свѣтло, гдѣ смѣется молодость, гдѣ надежда вѣнчается цвѣтами весны, гдѣ любовь, какъ роза на зарѣ, сіяетъ слезами восторга, не смотри туда, гдѣ блаженство и вѣра и сила—тамъ не наше мѣсто!“

Кто устоитъ противъ неподдѣльной, глубокой поэзіи этого отрывка! Болѣзненно поражаетъ не то, что на поэта вообще находятъ такіе моменты: самый здоровый человѣкъ, самый ясный умъ въ извѣстныя минуты испытываетъ то же самое. Болѣзненная черта заключается въ томъ, что онъ не можетъ избавиться отъ этого настроенія; оно преслѣдуетъ его, какъ призракъ. Гете въ своемъ „Вертерѣ“ испытываетъ такое же состояніе—природа является ему въ образѣ всепожирающаго и непрерывно пережевывающаго чудовища. Но тотъ умѣлъ преодолѣть это чувство, заставить природу предстать передъ нимъ въ ея истинномъ, прекрасномъ образѣ.



## Этюдъ Георга Брандеса.

Надо знать русскій языкъ, основательно изучить исторію русской литературы и русскаго общества, чтобы вполне понять и оцѣнить Тургенева. Но чувствовать его величіе и восхищаться имъ можно и безъ этихъ познаній. Образованные классы германскихъ и романскихъ странъ почти исключительно обязаны этому человѣку всёмъ, что извѣстно въ наше время о внутренней жизни славянской народности. Ни одинъ изъ русскихъ писателей не читался такъ усердно по всей Европѣ, какъ Тургеневъ; его можно скорѣе считать писателемъ международнымъ, нежели русскимъ.

Онъ открылъ намъ новый міръ, до того времени неизвѣстный, но его произведенія не нуждались въ этомъ побочномъ интересѣ: Европа восхищается въ немъ художникомъ, а не простымъ изобразителемъ нравовъ. Хотя онъ едва-ли читался по-русски внѣ предѣловъ своего отечества, но критика всюду, даже въ странахъ, стоящихъ на самой высокой степени художественнаго развитія, ставила его на ряду съ лучшими своими писателями. Его читали въ переводахъ, конечно ослаблявшихъ и умалявшихъ его достоинства. Но совершенство оригинала, тѣмъ не менѣе, выступало такъ ярко, что заставляло относиться снисходительно къ недостаткамъ, неизбежнымъ въ переводѣ. Великіе поэты вообще всего сильнѣе дѣйствуютъ своимъ стилемъ: при посредствѣ его, они, такъ сказать, становятся лицомъ къ лицу съ читателемъ; Тургеневъ производилъ впечатлѣніе сильнѣе, чѣмъ кто-либо, хотя не русскій читатель и не зналъ въ совершенствѣ изящества его слога и далеко не могъ понимать всѣхъ намековъ его; мы, иностранцы, не были въ состояніи сравнить его описанія лицъ и воззрѣній съ дѣйствительностью. И все же онъ одержалъ побѣду на литературной аренѣ Европы, хотя явился на нее съ притупленнымъ мечомъ.

Онъ живо изобразилъ намъ народъ великой восточной имперіи. Ему мы обязаны тѣмъ, что узнали основныя душевныя черты ея мужчинъ и женщинъ. Хотя онъ покинулъ Россію всего 36 лѣтъ и никогда уже впоследствии не жилъ въ своемъ отечествѣ долгое время, но онъ описывалъ исключительно своихъ соотечественниковъ или же нѣмцевъ и французовъ, обрусѣвшихъ и соприкасавшихся съ русскими.

Онъ изображалъ лишь типы, близко знакомые ему съ дѣтства. Во время его долгаго житія за границей, патинутыя отношенія между славянофилами и сторонниками западничества повели къ тому, что въ извѣстныхъ кружкахъ вошло въ обычай относиться къ нему какъ къ иностранцу, упрекать его въ незнаніи отечества,—но это насъ не касается. Будь онъ менѣе космополитомъ, онъ едва ли приобрѣлъ бы такую широкую извѣстность во всемъ цивилизованномъ мірѣ.

Онъ даетъ намъ картины русскаго лѣса и степи, осени и весны, рисуетъ образы русскихъ людей всѣхъ сословій и различныхъ степеней образованія. Всѣхъ изобразилъ онъ: крѣпостнаго человѣка и княгиню, мужика и помѣщика, и студента и молодыхъ дѣвушекъ, съ нѣжной душой, полныхъ тонкой прелести, свойственной славянской расѣ, и холодныхъ, красивыхъ, себялюбивыхъ кокетокъ, которыя въ Россіи какъ будто еще безсердечнѣе, чѣмъ гдѣ-либо. Онъ далъ намъ богатую психологію цѣлой расы, написанную съ глубокимъ чувствомъ, которое, однако, нигдѣ не затемняетъ прозрачной ясности описанія.

Во всѣхъ твореніяхъ Тургенева пробивается глубокая струя меланхолиі. Его рассказы правдивы и объективны, и онъ никогда не придавалъ своимъ романамъ и повѣстямъ стихотворную форму, однако, его произведенія всегда трогаютъ насъ. Въ нихъ такъ много чувства, и это чувство всегда отзывается скорбью, своеобразной, глубокой скорбью, безъ единой капли сентиментальности. Никогда Тургеневъ не отдается всецѣло этому чувству; онъ осторожно дѣйствуетъ на читателя, но ни одинъ изъ западно-европейскихъ писателей не проникнуть такой поглощающей его печалью. Насколько образы великихъ меланхоликовъ латинской расы, какъ Леопарди или Флоберъ, отличаются грубою жесткостью контуровъ, настолько германская меланхолія отзывается рѣзкимъ юморомъ, сентиментальностью или паэсомъ. Тургеневская же меланхолія, по своему общему характеру, есть именно славянская скорбь, тихая и грустная, та самая нота, которая звучитъ во всѣхъ славянскихъ народныхъ пѣняхъ.

Говоря опредѣленнѣе, скорбь его—прежде всего скорбь мыслителя. Тургеневъ, глубоко проникнувъ въ сущность бытія, понялъ, что природа равнодушна ко всѣмъ идеаламъ людскимъ—справедливости, разуму, добру, общему благу, что они никогда не проявляются въ ней присущей имъ божественной силой. Въ своемъ предпоследнемъ произведеніи „Стихотворенія въ прозѣ“, онъ особенно ясно изложилъ свое міровоззрѣніе въ формѣ свидѣнія.

„Мнѣ снилось“, говоритъ онъ, „что я вошелъ въ огромную, подземную храмину съ высокими сводами. Ее всю наполнялъ какой-то толке подземный ровный свѣтъ“.

„По самой серединѣ храмины, сидѣла величавая женщина въ волнистой одеждѣ зеленого цвѣта. Склонивъ голову на руку, она казалась погруженной въ глубокую думу“.

„Я тотчас понялъ, что эта женщина—сама природа,—и мно-  
веннымъ холодомъ внѣдрился въ мою душу благоговѣнный страхъ“.

„Я приблизился къ сидящей женщинѣ—и, отдавъ почтительный  
поклонъ: „О, наша общая мать!“—воскликнулъ я.—„О чѣмъ твоя  
дума? Не о будущихъ-ли судьбахъ челоѣчества размышляешь ты?  
Не о томъ-ли, какъ ему дойти до возможнаго совершенства и  
счастья“?

„Женщина медленно обратила на меня свои темные грозные  
глаза. Губы ея шевельнулись—и раздался зычный голосъ, подобный  
лязгу желѣза“.

„— Я думаю о томъ, какъ бы придать большую силу мыш-  
цамъ ногъ блохи, чтобы ей удобнѣе было спасаться отъ враговъ  
своихъ. Равновѣсiе нападенiя и отпора нарушено... Надо его воз-  
становить.“

„— Какъ?—пролепеталъ я въ отвѣтъ.—Ты вотъ о чѣмъ ду-  
маешь? Но развѣ мы—люди, не любимыя твои дѣти?“

„Женщина чуть-чуть наморщила брови:—Всѣ твари мои дѣти—  
промолвила она—и я одинаково о нихъ забочусь—и одинаково ихъ  
истребляю“.

„— Но добро... разумъ... справедливость... пролепеталъ я  
снова“.

„— Это челоѣческiя слова,—раздался желѣзный голосъ.—Я не  
вѣдало ни добра, ни зла... Разумъ мнѣ не законъ—и что такое спра-  
ведливость?—Я тебѣ дала жизнь—я ее и отниму и дамъ другимъ,  
червямъ или людямъ... мнѣ все равно... А ты пока защищайся и  
не мѣшай мнѣ!“

Скорбь Тургенева въ одно и то же время скорбь патриота, пес-  
симиста и друга челоѣчества. Несмотря на свой кажущiйся космо-  
политизмъ, онъ былъ патриотъ, но патриотъ, грустящiй о своемъ оте-  
чествѣ и сомнѣвающiйся въ его судьбахъ. Онъ не раздѣлялъ энту-  
зiазма къ русскому народу своихъ болѣе наивныхъ и менѣе знаю-  
щихъ соотечественниковъ. Онъ находилъ, что у него нѣтъ великаго  
прошлаго. Когда авторъ этихъ строкъ стоялъ однажды на римскомъ  
форумѣ, ему пришла въ голову мысль, что тамъ у каждаго фута  
земли есть болѣе богатая исторiя, чѣмъ у всей русской имперiи.  
Хотя и русскiй челоѣкъ, Тургеневъ думалъ почти также. Онъ опи-  
сываетъ гдѣ-то печаль, охватившую его на всемирной выставкѣ,  
при видѣ ничтожности вклада Россiи въ общую сумму промышлен-  
ныхъ изобрѣтенiй челоѣчества.

Совсѣмъ еще молодымъ писателемъ онъ уже началъ выражать  
свое негодованiе по поводу крѣпостнаго права, въ формѣ, дозволен-  
ной цензурой. Послѣдняя несомнѣнно оказала благоприятное влiянiе  
на его талантъ, по необходимости развивъ въ немъ все изящное,  
аристократическое и сдержанное. Если онъ и имѣлъ въ ранней  
юности склонность къ грубому пафосу, къ декламации, къ рѣзкимъ  
эффектамъ,—хотя склонность эта не могла быть очень сильной—во  
всякомъ случаѣ эту склонность убили въ зародышѣ отношенiя къ  
цензурѣ. Желая возбудить жалость къ крѣпостнымъ, показать без-

правность, въ которой они проводили жизнь, изобразить картину  
той жестокости, которая даже безъ побоевъ и цѣпей часто замучи-  
вала ихъ до смерти,—онъ пользуется для этого отрывками изъ „За-  
писокъ Охотника“, посвященiями къ помѣщикамъ или врачу, и кое-  
гдѣ вставляетъ небольшую трогательную повѣсть, напр. такова исто-  
рiя мельничихи, которая дѣвухой выказала черную неблагодар-  
ность къ своей госпожѣ, пожелавъ выйти замужъ, хотя ее госпожа,  
дама ангельской доброты, не терпѣла замужнихъ служанокъ; не со-  
гласившись бросить связь со своимъ дружкоймъ, дѣвушка была на-  
казана тѣмъ, что насильно выдана замужъ за другого, послѣ того,  
какъ ее Петрушку сдали въ солдаты. Или, напримѣръ, исторiи глу-  
хонѣмого богатыря, дворника Герасима; барыня, ради потѣхи, вы-  
дала его возлюбленную замужъ за пьяницу; у несчастнаго осталось  
одно утѣшенiе, одинъ другъ въ жизни—собачка Муму, да и ту  
его заставляютъ утопить, потому что ея лай беспокоитъ барыню,  
когда та, плотно поужинавъ, страдаетъ бессонницей. Обѣ исторiи  
разсказаны безъ притязанiй, безъ разсужденiй. Грусть по поводу  
барской жестокости выражается только въ иронiи, а эта иронiя  
опять таки исчезаетъ въ скорби общаго настроенiя.

Основной тонъ Тургенева богатъ и своеобразенъ тѣмъ, что онъ  
въ одно и то же время и пессимистъ, и другъ челоѣчества, что  
онъ истинно любилъ родъ челоѣческiй, о которомъ имѣетъ такое  
низкое мнѣнiе и которому такъ мило довѣряетъ. Онъ глубоко убѣ-  
жденъ, что въ Россiи все какъ то идетъ всплывъ и вкось; никакая  
любовная исторiя не кажется ему чисто-русскою, если она не имѣетъ  
несчастнаго исхода, благодаря непостоянству мужчины или безсер-  
дечности женщины; никакое стремленiе не является въ его глазахъ  
чисто русскимъ, если оно не превышаетъ силу людей, предприняв-  
шихъ его, или не погибаетъ, встрѣтивъ равнодушiе тѣхъ, ради кого  
оно предпринято; но все же онъ не можетъ удержаться, чтобы снова  
и снова не описывать непрочную русскую любовь и бесплодныя рус-  
скiя стремленiя.

Въ его глазахъ современная Россiя—это страна, гдѣ все не  
удается, страна всеобщихъ крушенiй. И основное его чувство—это  
скорбное волненiе, смѣшанное чувство зрителя при видѣ корабле-  
крушенiя, въ которомъ виноваты сами потерпѣвшiе. Это сильное,  
затаенное чувство, постоянно сдерживаемое при каждомъ его по-  
рывѣ. Ни одинъ великiй и плодотворный писатель не былъ болѣе  
скромненъ въ выраженiи своихъ чувствъ, чѣмъ Тургеневъ.

Въ этомъ простомъ и благородномъ приѣмѣ есть гдѣ-то, указы-  
вающее на происхожденiе Тургенева. Онъ не только принадлежалъ  
къ дворянской семьѣ, но весь родъ его былъ замѣчательнъ: изъ  
него вышло много заслуженныхъ и уважаемыхъ людей. Какъ пи-  
сатель, онъ также сохранилъ дворянскiй отпечатокъ, хотя не въ  
томъ смыслѣ, какъ лордъ Байронъ или князь Пюклеръ, которые со-  
общали аристократическiй оттѣнокъ своимъ сочиненiямъ въ видѣ на-  
ружнаго клейма. У Тургенева незамѣтно и тѣни того, что прямо  
указывало бы на аристократа; но читатель выноситъ изъ его про-

изведеній то впечатлѣніе, что авторъ обладаетъ природной душевной деликатностью, и что онъ всегда жилъ въ хорошемъ обществѣ. Онъ былъ свѣтскій человѣкъ, и въ его сочиненіяхъ всюду чувствуется жизненный опытъ свѣтскаго человѣка, — черта вообще недостающая нѣмецкимъ писателямъ. Но этотъ опытъ не сдѣлалъ его холоднымъ или циничнымъ, какъ иныхъ французскихъ писателей. Хотя въ своихъ художественныхъ разказахъ онъ никогда не оскорбляетъ хорошаго тона, тѣмъ не менѣе, это не банальный свѣтскій тонъ. Даже презрѣніе его не есть холодное презрѣніе: въ его словахъ всегда сквозитъ душа.

Трудно выразить кратко и опредѣленно, что именно дѣлаетъ Тургенева художникомъ первостепеннымъ. Говоря въ общихъ словахъ, вѣроятно, это зависитъ отъ того, что его представленія, его образы такъ правдивы. Но и это слово требуетъ пространнаго поясненія.

Вопервыхъ, онъ въ высокой степени обладаетъ способностью воспроизводить живыхъ людей. Жизненность его образовъ не только наружная (они живы до конца ногтей), но онъ такъ умѣетъ проникнуть въ сокровенную духовную жизнь описываемаго лица, что мы узнаемъ ее вполне и всесторонне. Особенно доказываетъ преносность его художественнаго таланта ощущаемая читателемъ общность между интересомъ самого поэта къ описанной личности или его взглядомъ на разказанное, и тѣмъ впечатлѣніемъ, которое возноситъ читатель.

Именно въ этомъ пунктѣ — т. е. отношеніи автора къ изображаемымъ личностямъ — болѣе всего выступаетъ наружу малѣйшая слабость его, какъ писателя, или какъ человѣка.

Писатель можетъ обладать различными рѣдкими качествами, но если онъ заставляетъ насъ восхищаться тѣмъ, что недостойно восхищенія, если онъ желаетъ насильно исторгнуть наше сочувствіе къ какому-нибудь человѣку или жалость къ женщинѣ, или энтузіазмъ къ поступку, то это ослабляетъ его и вредитъ ему. Если романистъ, которому мы долгое время сочувствовали по доброй волѣ, вдругъ станетъ менѣе строгимъ или болѣе чувствительнымъ, нежели мы, то мы чувствуемъ недостатокъ правды въ картинѣ. Если онъ хочетъ выставить какую-нибудь личность неотразимо привлекательной, хотя мы ее не находимъ таковой, если онъ силится выставить ее болѣе талантливой и остроумной, нежели она выходитъ у него на самомъ дѣлѣ, если онъ заставляетъ дѣйствующее лицо совершать поступокъ болѣе смѣлый, нежели мы отъ него ожидали; или объясняетъ его дѣйствія великодушіемъ, въ которое мы не вѣримъ; если онъ поразжаетъ насъ произвольной, незрѣлой оцѣнкой или возмущаетъ холодностью, или раздражаетъ резонерствомъ, то читатель зачастую чувствуетъ неполноту художественнаго изображенія; намъ кажется, будто мы слышимъ фальшивую ноту и даже послѣ остается въ насъ глухое неприятное воспоминаніе.

Кому изъ читателей Бальзака, Диккенса или Ауэрбаха незнакомо это чувство! Когда Бальзакъ утопаетъ въ грубомъ энтузіазмѣ,

когда Диккенсъ становится дѣтски чувствительнымъ, а Ауэрбахъ аффективно-наивнымъ, читателя тотчасъ же отталкиваетъ эта неестественность.

У Тургенева никогда не встрѣчается такого недостатка художественности.

Задачи, которыя онъ поставилъ себѣ, самыя трудныя. Онъ не старается завлекать романтическими характерами и фагтастическими приключеніями. Не менѣе чуждается онъ приманки скабрзности. Почти никогда въ его романахъ не происходитъ ничего необычайнаго — такая катастрофа, какъ разрушеніе дома въ канцѣ „Степного короля Лира“ составляетъ исключеніе — и хотя онъ не избѣгаетъ изображенія низкихъ и грязныхъ характеровъ, и даже разсказываетъ происшествія, которыхъ не разскажетъ бы ни одинъ англійскій романистъ, однако, онъ не позволяетъ себѣ копаться въ грязи, какъ нѣкоторые писатели, которые разъ навсегда задались цѣлью пренебрегать приличіями. Какъ художникъ, онъ былъ рѣшительный, но стыдливый реалистъ.

Главное мѣсто въ сочиненіяхъ Тургенева принадлежитъ слабымъ, ничтожнымъ скитальцамъ, безпокойнымъ людямъ лишнимъ, и покинутымъ. Онъ поэтъ тѣхъ, кто покорился своей несчастной долѣ. Онъ съ поразительной художественностью изобразилъ внутреннюю сокровенную жизнь, несчастья.

Возьмемъ на примѣръ, „Переписку“. Здѣсь мы узнаемъ молодую дѣвушку, которая живетъ въ деревушкѣ, неопытная, одинокая, подавленная тупой окружающей средой. Она утратила всякія надежды на счастье, она приготовилась остаться старой дѣвой. Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ женихъ покинулъ ее. Она отказалась отъ всякихъ требованій къ жизни, она желаетъ одного — покоя, и стоитъ именно на пути обрѣсти покой. Но вотъ одинъ другъ ея юности завязываетъ съ ней переписку отчасти изъ желанія подѣлиться мыслями, а отчасти отъ праздности, скуки и чувства одиночества. Сперва она отталкиваетъ его. Но по полученіи новыхъ посланій, она даетъ ему позволеніе продолжать переписку. Онъ пишетъ ей, и она отвѣчаетъ длиннымъ, краснорѣчивымъ письмомъ. Такъ зарождается въ ея душѣ дружеское чувство, которое вскорѣ переходитъ въ любовь. Наступаетъ моментъ, когда любовь ихъ взаимна. Онъ мечтаетъ о ней, рвется ей на встрѣчу, день его пріѣзда уже назначенъ, — вдругъ переписка прерывается, героя увлекаетъ танцовщица, ея вульгарныя прелести заставляютъ его забыть все, а бѣдная дѣвушка погружается снова, на этотъ разъ еще глубже, въ свое страшно одиночество.

Въ весьма законченной повѣсти „Несчастная“, изображена жизнь другой молодой дѣвушки, которая такъ же молчаливо, такъ же безропотно покоряется своему несчастью. Изъ ранняго дѣтства у нея сохранилось воспоминаніе о томъ, какъ она со своей матерью, еврейкой, ежедневно садилась за столъ помѣщика, господина Колтовскаго. Колтовской важный старый баринъ; отъ него страшно развить духами, онъ постоянно нюхаетъ табакъ изъ золотой табакерки и не

внушает ребенку никакого чувства, кроме страха, даже когда онъ даетъ ей цѣловать свою жесткую, костлявую руку въ вышитой манжетѣ.

Мать убѣждаютъ согласиться на бракъ съ отвратительнымъ человекомъ, управляющимъ Рачемъ, и тутъ же ребенокъ узнаетъ, что помѣщикъ—ся отецъ. Никогда этотъ отецъ не высказывалъ ей ни тѣни любви, никогда не промолвилъ ласковаго слова. Съ напыщенной важностью, онъ зоветъ ее своей маленькой чтицей. Мать умираетъ. Нѣсколько лѣтъ спустя, умираетъ и старый безсердечный помѣщикъ. Отъ его брата Сусанна получаетъ маленькую сумму денегъ, которую захватываетъ отчимъ. Между тѣмъ она становится взрослой дѣвушкой; сердце ея пробуждается, она влюбляется безъ памяти въ своего двоюроднаго брата Михаила, молодого, честнаго офицера, который въ свою очередь любитъ ее такъ, какъ она этого заслуживаетъ. Едва успѣли узнать о сближеніи молодыхъ людей, какъ ихъ разлучаютъ. Михаила усылаютъ куда-то далеко, и онъ въ скорости умираетъ. Отецъ его, виновникъ ихъ разлуки, оскорбляетъ свою молодую племянницу постыдными предложеніями. Наконецъ, умираетъ и онъ, оставивъ ей пенсію—которую тоже прикарманиваетъ себѣ отчимъ. Проходитъ два три года... шесть семь лѣтъ... а съ ними и юность. Дѣвушка стала ко всему равнодушной. Но вотъ новый лучъ свѣта озаряетъ ея жизнь. Молодой человекъ, завоевавшій ея сердце, отвѣчаетъ ей взаимностью; но окружающіе люди, особенно въ корень испорченный ея сводный братъ, наговариваетъ жениху, такія грубыя клеветы о ея прошломъ, что онъ отказывается отъ ея руки и собирается уѣзжать. Дѣвушка лишаетъ себя жизни, приравъ яду.

Или прочтемъ „Дневникъ лишняго человека“. Самое заглавіе уже передаетъ содержаніе. Приговоренный къ смерти больной въ послѣдніе дни жизни рассказываетъ по порядку будничныя событія, изъ которыхъ сложилось его никому не нужное существованіе. Одинъ разъ въ жизни онъ любилъ, но лишь для того, чтобы испытать всѣ муки ревности и всѣ униженія отверженной страсти. Лиза любитъ не его, а молодого князя, пріѣзжаго изъ Петербурга. Онъ вызываетъ князя на дуэль, соперникъ падаетъ его жизнь на поединкѣ, и несчастный достигаетъ лишь новыхъ униженій: его считаютъ дурнымъ человекомъ, а его возлюбленная смотритъ на него, какъ на убійцу. Послѣ того, какъ князь бросилъ Лизу, соблазнивъ ее, онъ возобновляетъ свое предложеніе, но ему отказываютъ съ отвращеніемъ. Она отдаетъ свою руку другому, столь же великодушному другу. Даже и въ этомъ случаѣ герой повѣсти является лишнимъ, пятой спицей въ колесѣ. И все-таки чувствуешь какъ много души въ этомъ человекѣ, какъ онъ благороденъ, какъ добръ. Заключительныя страницы содержатъ прощанье съ жизнью чахоточнаго, уже оставленнаго докторами.

„Яковъ Пасынковъ“—повѣсть въ томъ же родѣ. Пасынковъ—одинъ изъ типовъ, которые Тургеневъ изображаетъ съ особенной любовью. Отъ природы онъ не одаренъ красотой—высокій, худо-

щавый, съ плоской грудью, даже съ красноватымъ носомъ, но форма лба благородная, голосъ тихій и пріятный: „въ его устахъ“, говоритъ о немъ авторъ, „слова—правда, добро, жизнь, знаніе, любовь никогда не отзывались фразой, съ какимъ бы энтузіазмомъ онъ ни произносилъ ихъ“. Въ его исторіи любимая тема Тургенева повторяется дважды. Онъ любитъ молодую дѣвушку, которая не удостоиваетъ его ни малѣйшаго вниманія; когда онъ умираетъ одинокой и забытый въ далекомъ уголку Сибири, на груди его находятъ какія-то бездѣлушки, сохраненныя на память отъ нея. Чтобы понравиться ей, ему не доставало кое-какихъ пороковъ, больше всего эгоизма и легкомыслія. Но куда онъ изнываетъ отъ безнадежной страсти, онъ не подозреваетъ, какъ горячо любитъ его сестра геронни, дѣвушка тоже молодая, но некрасивая собой и застѣнчивая; она никогда не измѣняетъ его памяти и ради него отказывается выйти за другого.

Но самый замѣчательный образчикъ этихъ тонкихъ и на столько законченныхъ, насколько простыхъ монографій несчастья—безъ сомнѣнія, одинъ изъ позднѣйшихъ рассказовъ „Живыя мощи“. Вся повѣсть собственно не болѣе, какъ монологъ, рассказъ когда-то прекрасной, но исхудавшей, какъ скелетъ, русской крестьянской дѣвушки о своей жизни. Авторъ застаетъ ее лежащей на полу въ уединенной хижинѣ. Такъ лежитъ она растянувшись на спинѣ въ продолженіи семи лѣтъ, съ тѣхъ поръ, какъ расшиблась при паденіи. Лицо ея высохло, бронзоваго цвѣта, носъ заострился, какъ лезвіе ножа, губы иссохли и только зубы да бѣлки глазъ блещутъ яркой бѣлизной; нѣсколько прядей свѣтло-желтыхъ волосъ падаютъ на лобъ. На одѣялѣ лежатъ худыя руки, тоненькіе темно-коричневые пальцы тихо движутся. Когда-то она была самой роскошной, самой стройной, самой веселой и красивой дѣвушкой въ окологдѣ, всегда смѣялась, раптвала и плясала. Она рассказываетъ, что было съ ней послѣ того, какъ она расшиблась. Она стала блекнуть, лицо ея потемнѣло, она потеряла силу ходить и стоять, потеряла аштитъ къ ѣдѣ и питью. Тщетно прижигали ей спину каленымъ желѣзомъ, тщетно сажали ее въ толченый ледъ. И обо всемъ этомъ она рассказываетъ веселымъ тономъ, нисколько не стараясь возбудить состраданія слушателя. Ея женихъ бросилъ ее и женился на другой. „Слава Богу“,—говоритъ она,—„онъ счастливъ въ своемъ бракѣ“. Она находитъ его поступокъ совершенно естественнымъ и справедливымъ. Она благодарна людямъ за то, что не оставляютъ ее, особливо маленькой дѣвочкѣ, которая приноситъ ей цвѣты, она не тоскуетъ и не жалуется. Есть другіе, гораздо болѣе несчастные, напримѣръ, слѣпые и глухіе; она же видитъ превосходно, слышитъ малѣйшій звукъ, ощущаетъ всякій запахъ, даже слабое благоуханіе гречихи, когда она цвѣтетъ далеко въ полѣ, даже аромат липоваго цвѣта въ саду.

Величайшя событія въ ея жизни—это когда къ ней заберется въ дверь или въ окно курица, или залетитъ воробей или бабочка. Съ большимъ удовольствіемъ она вспоминаетъ о визитѣ, который

однажды сдѣлать ей заяцъ. Лукерья напоминаетъ Тургеневу о томъ времени, когда она гдѣла пѣсни; изрѣдка она поетъ и теперь. Мысль, что это едва живое существо собиравъ заигать возбудило въ немъ какой-то страхъ, и вдругъ дрожащій, какъ тонкій столбикъ дыма, раздается ея тоненькій голосокъ, почти неслышными, но чистыми, ясными звуками. Она рассказываетъ дивныя сновидѣнія, посѣщающія ее во время тѣхъ рѣдкихъ часовъ, когда она можетъ заснуть,—сонъ о томъ, какъ шель ей на встрѣчу Иисусъ и протягивалъ ей руку; другой сонъ о женщинѣ, которая пропла мимо нея и которая была ея смертью. Женщина, проходя мимо, очень жалѣла, что не можетъ взять ее съ собою. Лукерья удивляется, что гостя поражаетъ ея терпѣніе. Чему тутъ восхищаться? Что такое она сдѣлала? Нѣтъ, вотъ та дѣва, которая въ далекой землѣ мечемъ своимъ прогнала неприятеля и затѣмъ сказала: „Сожгите меня, ибо такое мое предопредѣленіе, чтобы я умерла на кострѣ ради моего народа“!.. Вотъ эта дѣва и исполнила великій подвигъ!.. На прощанье Лукерья проситъ его замолвить словечко своей матери за крестьянъ; оброки, которыхъ отъ нихъ требуютъ, слишкомъ тяжелы; самой ей ничего не нужно, лично для себя она не имѣетъ никакихъ желаній.

Стоитъ прочесть его мелкіе очерки и рассказы изъ русской жизни. Но не эти произведенія доставили Тургеневу всемірную знаменитость. Въ предѣлахъ Россіи онъ сталъ извѣстенъ лишь послѣ появленія его большихъ повѣстей и романовъ, образцовыхъ твореній, какъ „Наканунъ“, „Рудинъ“, „Вешнія воды“, „Дымъ“, „Отцы и дѣти“, „Ночь“. Во всей европейской литературѣ трудно встрѣтить болѣе тонкую психологію, болѣе законченную обрисовку характеровъ, и вдобавокъ—явленіе почти неслыханное въ исторіи современной поэзіи,—образы мужчинъ и женщинъ доведены у него до одинаковой степени совершенства. Съ изумительной нѣжностью Тургеневъ рисуетъ молодыхъ дѣвушекъ, которыя пользуются его симпатіей, какъ Елена, Джемма. Здѣсь рука художника работаетъ съ такой любовью, что не требуется со стороны автора ни похвалъ выведеннымъ личностямъ, ни восхищеній. Каждое слово, сказанное ими, очерчиваетъ ихъ съ рельефностью. Одна по своимъ манерамъ, подвижности, по складу мыслей и чувства—истая итальянка; другая остается въ памяти читателя, какъ прекраснѣйшій типъ русской женственности. Лишь величайшіе поэты въ мірѣ создавали нѣчто столь жизненное и законченное. И вмѣстѣ съ тѣмъ поклоненіе прекрасному, ясно сквозящее въ этихъ произведеніяхъ, насколько не мѣшаетъ автору быть вѣрнымъ природѣ. Это не женщины, произвольно созданныя воображеніемъ поэта и принадлежащія къ фантастической области поэзіи, какъ многіе женскіе типы у другихъ писателей; это не продукты личныхъ мечтаній поэта о женщинахъ, это не одно лишь воплощеніе его идеаловъ, а этюды, исполненные на основаніи самаго точнаго пониманія дѣйствительности, самаго глубокаго изученія ея.

Въ изображеніи своихъ главныхъ мужскихъ характеровъ, Тур-

геновъ, благодаря самому свойству матеріала, встрѣчалъ большія трудности. Обыкновенно главная задача поэта заключается въ томъ, чтобы выдержать извѣстный характеръ и избѣжать въ немъ противорѣчій. Между тѣмъ, самые выдающіеся характеры у Тургенева именно и состоятъ изъ однихъ противорѣчій. Онъ сумѣлъ представить непостоятельность основной чертой своихъ героевъ, насколько не вредя цѣльности образовъ. У обыкновеннаго русскаго человѣка, какимъ онъ его описываетъ, нельзя съ достовѣрностью рассчитывать ни на что, кромѣ развѣ одного непостоянства. Какъ Алексѣй въ „Перепискѣ“ покидаетъ Марью Александровну, такъ Рудинъ покидаетъ Наталью, Санинъ въ „Вешнихъ водахъ“ Джемму, Литвиновъ въ „Дымѣ“ Татьяну и т. д. Всѣ они покидаютъ молодость, свѣжесть, красоту, счастье, чтобы отдаться опьяненію чувственности или униженію, или же просто изъ непостоянства, изъ слабости бросаютъ начатую игру. Но подобнымъ мужчинамъ, у которыхъ страсти такъ внезапно разгораются и также быстро проходятъ, соответствуютъ и женскіе характеры, съ которыми еще труднѣе совладать. Это женщины, которыя близки къ тому, чтобы полюбить, однако, полюбить не могутъ, какъ Одинцова въ „Отцахъ и дѣтяхъ“, женщины, которыя невольно дурачатъ мужчинъ, отдаются имъ и снова отступаютъ, какъ Ирина въ „Дымѣ“, наконецъ, холодныя вакханки, какъ Марья Николаевна, которая похитила Санина у Джеммы.

Порою непостоянство или измѣна можетъ показаться недостаточно мотивированной, какъ въ „Вешнихъ водахъ“, повидному, потому, что Тургеневъ предполагаетъ эту черту своихъ юношескихъ характеровъ, такъ сказать, заранее извѣстной. Въ одной изъ его большихъ повѣстей, въ Рудинѣ, изображеніе неустойчивости такъ глубоко и такъ полно, что на основаніи одного этого слабого характера научаешься понимать слабую сторону русскаго характера вообще. Но всего замѣчательнѣе проявляется художественная сила писателя въ томъ, что онъ сумѣлъ возбудить не малую симпатію къ герою-фразеру; Рудинъ говоритъ съ горячностью, рассказываетъ обаятельно, вообще владѣетъ всей „музыкой краснорѣчія“, но въ то же время онъ лѣнивъ, властолюбивъ, всегда разыгрываетъ какую-нибудь роль, вѣчно живетъ на чужой счетъ и болѣе всего неспособенъ ко всякой дѣятельности именно въ ту минуту, когда отъ него ждутъ дѣла. И все-таки Тургеневъ доказалъ, что онъ заслуживаетъ скорѣе состраданія, нежели отвращенія и что онъ не безъ основанія оказываетъ большое вліяніе на молодежь.

Люди съ твердой душой и непоколебимой волей почти не встрѣчаются въ качествѣ главныхъ лицъ въ тургеневскихъ произведеніяхъ ранняго періода. Если онъ и выводитъ лицо, которое вполне можно назвать человѣкомъ и которымъ можетъ гордиться женщина, то онъ избираетъ, какъ въ „Наканунѣ“,—словно желая пристыдить своихъ соотечественниковъ,—иностранца болгарина, обладающаго именно тѣми качествами, которыхъ недостаетъ русскимъ, отъ перваго до послѣдняго. Или же онъ вскользь касается людей, которыми самъ восхищается; онъ ставитъ ихъ на задній

плачь или пользуется ими как контрастами, чтобы еще яснее отбросить неустойчивость и слабость главных типов. Подобной личностью является, например, в „Рудинѣ“ Покорскій, о котором Лесневъ отзывался въ такомъ восторженномъ тонѣ; не есть ли этотъ Покорскій портретъ знаменитаго критика Бѣлинскаго \*), друга юности Тургенева и его учителя, памяти котораго онъ посвятилъ „Отцы и дѣти“ и рядомъ съ которымъ онъ пожелалъ быть погребеннымъ?.. Вотъ что говорится о немъ: „Покорскій былъ на видѣ тихъ и мягокъ, даже слабъ, любилъ женщинъ до безумія, любилъ покутить и не дался бы никому въ обиду. Покорскій казался полнымъ огня, смѣлости, жизни, а въ душѣ холоденъ и чуть ли не робокъ, пока не задѣвалось его самолюбіе: тутъ онъ на стѣны лѣзъ. Онъ всячески старался покорить себѣ людей, но покорялъ онъ ихъ во имя общихъ началъ и идей, и, дѣйствительно, имѣлъ вліяніе сильное на многихъ... Его иго носили... Покорскому все отдавались сами собой... Эхъ! славное было время тогда, и не хочу я вѣрять, чтобы оно пропало даромъ! Да оно и не пропало, не пропало даже для тѣхъ, которыхъ жизнь опошлела потомъ... Сколько разъ мнѣ случалось встрѣчать такихъ людей, прежнихъ товарищей. Кажется, совсѣмъ звѣремъ сталъ человекъ, а стоитъ только произнести при немъ имя Покорскаго, и все остатки благородства въ немъ зашевеливаются, точно ты въ грязной и темной комнатѣ раскупорилъ позабытую склянку съ духами“... Въ „Отцахъ и дѣтяхъ“ (1861) Тургеневъ впервые представилъ типическое изображеніе русской силы характера и духовнаго превосходства въ современномъ тогда образѣ.

Личность Базарова вводитъ натурализмъ въ назидательную литературу. До тѣхъ поръ Тургеневъ въ своихъ произведеніяхъ направлялъ свои коня противъ славянофиловъ, которые видятъ благо Россіи въ разрывѣ съ западно-европейской культурой; теперь же онъ выставилъ наружу ограниченное и безыдейное поклоненіе молодого поколѣнія утилитаризму, хотя вообще онъ всегда признавалъ дѣльность этого молодого поколѣнія и отдавалъ ей справедливость. Благодаря гениальности, съ которой очерченъ главный типъ, благодаря впечатлѣнію, вызванному имъ, и недоразумѣніямъ, которыя возбудила эта книга, появленіе ея было настоящимъ событіемъ въ русскомъ обществѣ, да и въ жизни самого автора. Это безукоризненное произведеніе—образецъ для всехъ современныхъ романовъ различныхъ странъ, гдѣ изображается молодое и отжившее поколѣніе въ своихъ взаимныхъ отношеніяхъ и въ борьбѣ. Въ „Дымѣ“ (1867 г.), уступающемъ „Отцамъ и Дѣтямъ“ въ достоинствахъ, съ ѣдкой прозой очерчены болтливые, воображаемые реформаторы Россіи. Манера Тургенева напоминаетъ здѣсь манеру норвежскаго поэта Генрика Ибсена, когда онъ въ своихъ драмахъ казнитъ мнимыхъ передовыхъ людей. Въ „Нови“ (1876), послѣднемъ большомъ произведеніи Тургенева и самомъ многостороннемъ, поэтъ довелъ

до конца свою критику на общество съ глубокой, непристрастной справедливостью. Здѣсь онъ поровну, съ полной правдивостью, распредѣляетъ свѣтъ и тѣни между всеми сословіями, стремленіями и словами общества въ своемъ обширномъ отечествѣ. „Новь“—самое широкое, самое богатое выраженіе гуманности и жизненной мудрости, любви автора къ свободѣ и правдѣ.

Здѣсь обнаруживаются, быть можетъ, самымъ положительнымъ образомъ его личные чувства къ Россіи, его уваженіе къ русской молодежи, если могло придти въ голову иностранцу, что Тургеневъ недостаточно высоко цѣнилъ молодое поколѣніе; но здѣсь, по крайней мѣрѣ, онъ высказываетъ открытый взглядъ на высокій идеализмъ этой молодежи. Разуется, и здѣсь дѣло разыгрывается неудачей. Въ тургеневскихъ романахъ все стремленія не удаются, все безъ исключенія должно имѣть такой исходъ въ Россіи. Старшему поколѣнію, съ его сипягинскимъ либерализмомъ, надо дать полную отставку; у молодого поколѣнія, хотя и благія намѣренія, хотя осуществляются они съ большимъ безкорыстіемъ, но средства и цѣли слишкомъ широко расходятся.

Неждановъ хочетъ идти въ народъ раздавать брошюры и книги, но крестьяне понимаютъ его по-своему: они хотятъ только пьянствовать съ нимъ, и несчастнаго народнаго апостола привозятъ домой мертвецки пьянаго. Много правды въ заключительной картинѣ стихотворенія Нежданова „Сонъ“.

„И штофъ съ очищенной всей нитерней сжимаю,  
„Дбомъ въ полюсъ упершихъ, а пятками въ Кавказъ,  
„Спать непробуднымъ сномъ отчизна, Русь святая...“

И все-таки въ этомъ послѣднемъ большомъ произведеніи рисуется будущность въ далекихъ, неясныхъ очертаніяхъ. Эта будущность подготавливается дѣвушками, какъ Маріанна и Машуринна, молодыми людьми, какъ Маркеловъ, Соломинъ и Неждановъ.

Отношенія Тургенева къ Германіи и Франціи были совершенно различнаго свойства. Уже въ силу старыхъ русскихъ традицій, онъ стоялъ ближе къ Франціи, нежели къ Германіи. Въ молодости онъ изучалъ философію, физиологію и исторію въ Берлинѣ, поклонялся Гете, котораго ставилъ выше всего, нѣкоторое время въ дни юности беззаветно увлекался Гейне, всегда поддерживалъ дружескія отношенія съ нѣмецкими поэтами и писателями (Пауль, Гейзе, Лудвигъ Пичъ), говорилъ по-нѣмецки, какъ нѣмецъ, былъ искреннимъ поклонникомъ величія германской науки, высоко отзывался о знаніяхъ и предпримчивомъ духѣ нѣмцевъ,—тѣмъ не менѣе, въ его произведеніяхъ, какъ почти во всехъ русскихъ романахъ, нѣмцы выведены въ крайне сатирическомъ и мѣстами даже въ ненавистномъ свѣтѣ. Я нахожу слабостью со стороны нѣмецкой критики то, что она открыто не сознается въ этомъ фактѣ, бросающемся въ глаза. Безъ сомнѣнія, вообще говоря, каждая нація рисуетъ другую безъ энтузіазма. Напримеръ, у Виктора Шербиолье или у Пауля Гейзе русская женщина рѣдко играетъ благородную роль. Несмотря на всю симпатію

\*) Намъ кажется болѣе вѣрнымъ другое предположеніе, существующее въ русской критической литературѣ, что Покорскій—портретъ Станкевича.

къ отдѣльнымъ прѣмцамъ, въ душѣ Тургенева какъ будто остался осадокъ бессознательной національной ненависти.

Съ другой стороны, хотя онъ, конечно, сознавалъ недостатки французской природы и французской культуры, но онъ легче ужинался съ ними. Онъ былъ вполне понятъ и оцененъ въ Парижѣ, гдѣ обыкновенно такъ недовѣрчиво относятся ко всему чужеземному; у него были горячіе поклонники и между старѣйшими писателями (Меримэ) и между писателями позднѣйшаго поколѣнія (Ожье, Тэнъ, Флоберъ, Гонкуръ) и, наконецъ, между самыми современными (Зола, Додэ, Мопассанъ). Съ кружкомъ писателей, собиравшимся у Флобера, онъ стоялъ на короткой дружеской ногѣ, какъ ни съ кѣмъ изъ другихъ иностранныхъ писателей.

Отношенія его къ своему собственному отечеству измѣнялись не разъ. Онъ началъ свою литературную карьеру романтикомъ и послѣдователемъ Байрона, но безъ оригинальности и успѣха. Вотъ, можетъ быть, почему въ первомъ періодѣ его дѣятельности Герценъ считалъ его аффектированнымъ (мигъ рассказывалъ нѣкто, что Герценъ выражался о Тургеневѣ, будто онъ такъ аффектированъ, что даже бѣсъ не можетъ безъ аффектаціи). Бѣлинскій оторвалъ его отъ Байрона, Гейне и романтиковъ и вывелъ на надлежащій путь. Послѣ появленія романа „Отцы и дѣти“, Тургенева довольно рѣзко и безтолково обвиняли въ томъ, что онъ измѣнилъ своимъ юношескимъ идеаламъ. Но при послѣднемъ его посѣщеніи Россіи, недоразумѣніе было устранено, его лучше поняли и оценили, и эта поѣздка была его триумфальнымъ шествіемъ. Въ послѣдніе годы своей жизни онъ пользовался одинаковымъ благоговѣйнымъ поклоненіемъ во всѣхъ цивилизованныхъ странахъ.

Могъ ли онъ искренно радоваться этому общему поклоненію? Едва-ли. Восхищеніе его творчествомъ пріятно трогало его, но онъ никогда не наслаждался имъ, такъ какъ оно не въ силахъ было разсѣять его меланхолію. Эдмонъ Гонкуръ рассказываетъ, что Тургеневъ, съ которымъ онъ встрѣтился въ мартѣ 1882 года на обѣдѣ у Флобера, былъ въ очень пасмурномъ настроеніи и говорилъ между прочимъ: „Вы знаете, какъ иногда комната бываетъ пропитана запахомъ мускуса, и этотъ запахъ ничѣмъ не уничтожишь. Точно также я всегда чувствую вокругъ себя запахъ тлѣнія, вѣяніе смерти и разрушенія“. Въ его послѣднихъ произведеніяхъ, прелестной и оригинальной повѣсти „Клара Миличъ“, гдѣ повторяется его любимая тема—неудавшаяся любовь, и въ замѣчательныхъ „Стихотвореніяхъ въ прозѣ“, звучитъ еще болѣе глубокая меланхолія, нежели въ юношескихъ его работахъ; эти произведенія проникнуты высокой поэзіей съ примѣсью лирически-фантастическаго элемента. Здѣсь онъ въ послѣдній разъ заглядываетъ въ тайны жизни и съ глубокой грустью пытается изобразить ее въ въ символическомъ образѣ. Природа жестка и холодна; тѣмъ болѣе обязаны люди любить другъ друга и природу! Тамъ есть сцена, какъ авторъ, во время одинокаго переѣзда на пароходѣ изъ Гамбурга въ Лондонъ, по цѣлымъ часамъ держалъ въ своей рукѣ лапку бѣдной, печальной, привя-

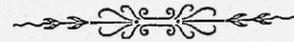
занной на цѣль обезьянки: геній, постигшій міровыя истины, рука объ руку съ маленькимъ звѣрькомъ, какъ два добрыхъ товарища, два дѣтища одной и той-же матери—въ этомъ заключается больше истиннаго назиданія, нежели въ любой глубокомысленной книгѣ.

Людская неблагодарность всегда глубоко поражала Тургенева. Кто читалъ „Стихотворенія въ прозѣ“, тотъ никогда не забудетъ одного разсказа. Приглашены всѣ добродѣтели—однѣ только добродѣтели; мужчинъ нѣтъ въ числѣ приглашенныхъ, исключительно дамы. Явилось много добродѣтелей, великихъ и малыхъ; малыя скромнѣе и пріятнѣе, нежели большія; всѣ очень дружны между собою и ласково разговариваютъ, какъ подобаетъ родственникамъ. Но вдругъ Богъ замѣчаетъ двухъ хорошенькихъ женщинъ, которыя какъ будто незнакомы другъ съ другомъ. Хозяинъ дома подаетъ руку одной изъ нихъ, подводитъ ее къ другой и представляетъ ихъ другъ другу: благотворительность—благодарность.

Впервые съ самаго сотворенія міра встрѣтились эти двѣ добродѣтели!

Какая грусть въ этомъ остроуміи и горькой ироніи!

Меня поражаетъ, что и моя благодарность по отношенію къ этому великому благодѣтелю проявляется лишь теперь, когда онъ уже не въ состояніи слышать никакихъ словъ признательности!



### Очеркъ Мельхиора де-Вогюз.

Бываютъ въ жизни мелочи—тѣни, звуки, которые надолго поражаютъ нашъ глазъ или слухъ и остаются у насъ въ душѣ. Помню разъ,—это было лѣтнимъ вечеромъ, на почтовой станціи въ Украинѣ, пока мнѣ перемѣняли лошадей, я попросилъ выпить у дочери почтоваго зрителя, маленькой малороссіянки, одѣтой въ живописный національный нарядъ, съ монистами на шеѣ, между которыми болтался, привѣшенный на ленточкѣ, старинный серебряный рубль; дѣвушка взяла графинъ и стала палить воду, ленточка нечаянно свѣсилась къ графину, монета ударила объ хрустальное горлышко: раздался серебристый звукъ, такой чистый, такой звонкій. Дѣвушка, въ восторгѣ, раземѣялась и попробовала повторить этотъ звонъ, ради забавы; уѣзжая, я еще долго слышалъ эти звонкіе переливы, постепенно замиравшіе, словно трель соловья, въ дремотѣ лѣтняго вечера, среди затихшей природы.

На-дняхъ, перечитывая Тургенева, почему-то вспомнилъ я этотъ самый звонъ серебряной монеты объ хрусталь. Именно такой-же звонъ издавала душа великаго человѣка, когда ея касалась какая нибудь мысль. И вотъ разбитъ дивный инструментъ! Русская земля похитила его у насъ, его, который былъ почти нашимъ; она унесла его въ свое глубокое безмолвіе; приближающаяся зима покроетъ его своимъ тяжелымъ сѣрнымъ саваномъ. О! Русская земля—суровая, необъятная, съ ея льдами, быстро скрывающимися могилами, съ ея снѣгами, разоблачающими мертвыхъ отъ шума и суеты живыхъ,—мнѣ кажется, она скорѣе всякой другой заглушаетъ память объ усопшихъ!... Не у нея надобно просить, какъ въ знаменитой эпитафії молодой гречанки, чтобы она была легка для праха. А между тѣмъ Иванъ Сергѣевичъ пришелъ-бы въ отчаяніе отъ одной мысли покоиться въ иномъ мѣстѣ; онъ такъ любилъ свою родную Русь! Талантъ этого писателя, въ лучшихъ его произведеніяхъ, былъ лишь непосредственнымъ дыханіемъ этой русской почвы; въ нихъ сосредоточивалась вся поэзія ея; нѣтъ ни одной страницы въ его сочиненіяхъ, гдѣ-бы не чувствовался, какъ говорится, „дымъ отечества“.

За то, съ какою страстностью его народъ вдыхалъ этотъ „дымъ“ изъ его сочиненій! Правда, мы приняли Тургенева и сроднились съ нимъ, какъ будто онъ принадлежалъ къ нашей семьѣ; ни одного

иностраница не читали такъ усердно въ Парижѣ, ни однимъ не упивались такъ, какъ Тургеневымъ. Эта великая слава обращена была одной стороною къ Франціи; но мы требовали отъ его творчества лишь того, что требуемъ вообще отъ всякаго произведенія искусства, при томъ состояніи цивилизаціи, до котораго мы дошли: т. е. пріятнаго, утонченнаго времяпрепровожденія, отвлеченія отъ насущныхъ интересовъ жизни, впечатлѣній мимолетнаго и поверхностнаго; мы читаемъ книги такъ, какъ прохожій любитъ на картину, выставленную въ окнѣ магазина, мимоходомъ, однимъ глазомъ, сбѣгая къ своимъ дѣламъ. А если бъ вы знали, какъ читаютъ поэтовъ, тамъ, въ Россіи! Что для насъ не болѣе какъ баловство, предметъ роскоши, для нихъ составляетъ насущный хлѣбъ для души. Это золотой вѣкъ для великой литературы, тотъ золотой вѣкъ, который она переживала у всѣхъ юныхъ народовъ—въ Азій, въ Греціи, въ средніе вѣка. Писатель—вождь своего племени, вмѣститель множества смутныхъ идей, отчасти даже создатель своего родного языка; поэтъ,—въ древнемъ и полномъ смыслѣ этого слова, vates, поэтъ, пророкъ. Читатели наивные и серьезные, новички, только что вступившіе въ міръ идей, жаждущіе руководства, полные иллюзій на счетъ могущества человѣческаго гения,—требуютъ отъ своего уметвеннаго вождя извѣстной доктрины, извѣстныхъ мировоззрѣній, полнаго откровенія идеала. Въ Россіи небольшой кружокъ избранныхъ давно догналъ и, быть можетъ, уже перегналъ нашъ дилетантизмъ: но нисше классы только еще начали читать, они читаютъ съ жаромъ, съ вѣрою и надеждою, вродѣ того, какъ мы зачитывались Робинзономъ въ 12 лѣтъ,—„новъ“... говорилъ великій романистъ. Чувствительныя воображенія схватываютъ цѣликомъ впечатлѣнія романа; это впечатлѣніе не ослабляется, какъ у насъ отъ обширной интеллектуальной жизни. Газетная литература еще не успѣла разбѣять мысли и силу вниманія; тамъ не сравниваютъ,—слѣдовательно, вѣрять слѣпо. Прочтавъ „Отцы и дѣти“, „Дворянское гнѣздо“, мы говоримъ,—это романъ, не болѣе. Но для московскаго торговца, для сельскаго священника, для мелкаго помѣщика, на этажеркѣ которыхъ нѣсколько томовъ Пушкина, Гоголя и Некрасова составляютъ всю энциклопедію человѣческаго разума,—этотъ романъ есть одна изъ главъ національной библии; онъ получаетъ значеніе и эпическую важность, какую имѣли исторія Эсфири для еврейскаго народа, исторія Улисса для афинскаго, романъ „Розы“ нѣкогда для французовъ.

Три года тому назадъ, при открытіи памятника Пушкина въ Москвѣ, Тургеневъ, въ своей рѣчи, привелъ характерное словечко, сказанное однимъ крестьяниномъ въ толпѣ около памятника. Товарищъ спросилъ его, кто такой этотъ бронзовый вельможа, а мужичекъ отвѣчалъ: это — учитель. Ораторъ объяснилъ и развилъ это слово, справедливо говоря, что этотъ прохожій, въ своемъ невѣжествѣ, нашелъ настоящее названіе героя торжества. Первый русскій поэтъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ народнымъ учителемъ своихъ согражданъ, онъ поднималъ на значительную высоту ихъ языкъ и ихъ мысли. Въ тотъ день—и, вѣроятно, онъ скоро настанетъ—когда воздвигнутъ въ

Москвѣ памятникъ Тургеневу, мужичекъ можетъ снова повторить свой отзывъ: и этотъ былъ также учителемъ.

Его поколѣніе внимало ему по преимуществу передъ другими. Было-бы ошибкой искать исключительно въ томъ, что мы называемъ талантомъ, причины этого духовнаго сродства съ народомъ; развѣ многіе, среди этихъ первобытныхъ и страстныхъ читателей, заботятся о талантѣ, объ изысканности формы, объ утопченности мысли? Въ литературѣ, какъ и въ политикѣ, народъ слѣдуетъ инстинктивно за тѣми людьми, которые, по его мнѣнію, принадлежать ему всецѣло, которые созданы изъ его плоти и изъ его гениа, которые проникнуты его качествами и его недостатками. Иванъ Сергѣевичъ воплощалъ въ себѣ исконныя добродѣтели русскаго народа: наивную доброту, чистосердечіе, простодушіе, смиреніе, покорность судьбѣ. Это была, какъ говорится, душа Божья; этотъ могучій умъ совмѣщался съ незлобивымъ сердцемъ ребенка. Глядя на него, я вполне понималъ чудный смыслъ евангельскаго слова: блаженни нище духомъ; понималъ, какъ это состояніе души можетъ соединяться съ наукой, съ дивнымъ даромъ художника. Преданность, великодушіе, щедрость, братская любовь—все эти качества были его природженными, органическими свойствами. Въ нашемъ хитромъ, сложномъ мірѣ, гдѣ всякій вооруженъ для борьбы съ жизнью,—онъ казался словно пришлымъ изъ какого-нибудь пастушескаго, патриархальнаго племени съ Урала: большой ребенокъ, кроткій, разсѣянный, любовно охраняющій свои идеи, какъ пастырь своихъ овецъ. По внѣшности даже, этотъ высокій, спокойный старикъ, съ крупными, грубоватыми чертами лица, съ выразительной пластической головой и глубокимъ взоромъ, напоминалъ русскаго крестьянина,—дѣдушку, сидящаго во главѣ патриархальнаго стола, но только облагороженнаго и преображеннаго работой мысли, точно тѣ крестьяне стараго времени, которые дѣлались иноками, святыми и изображенія которыхъ красуются на церковныхъ иконостасахъ. Въ первый разъ, когда я встрѣтилъ этого добраго великана,—символическій образъ его отечества,—я затруднялся опредѣлить свое впечатлѣніе: мнѣ казалось, что я вижу передъ собою русскаго мужика, на котораго упала искра гениа, который вознесенъ на духовную высоту, не утративъ по пути своего природнаго простодушія. Я знаю, онъ бы не обидѣлся этимъ сравненіемъ,—вѣдь онъ такъ страстно любилъ свой народъ!

А теперь, когда пришло время говорить о его литературной дѣятельности, у меня выпадаетъ перо изъ рукъ. Я уже сказалъ, что этотъ человекъ былъ безукоризненно добръ; къ чему же, Боже мой, прибавлять другія похвалы, и что такое значать изощренія ума, которыхъ мы такъ высоко цѣнимъ? Но это сердце перестало биться; мало кто знаетъ его, да и тѣ люди скоро позабудутъ о немъ и умрутъ. Надо показать другимъ, всему міру, какъ много это угасшее сердце вложило самого себя въ творенія фантазіи. Этотъ трудъ значительный, онъ свидѣтельствуетъ о неустанной работѣ. Последнее полное изданіе бр. Салаевыхъ, въ Москвѣ, заключаетъ въ себѣ не менѣе 10 томовъ; тутъ романы, повѣсти, драматическія произведенія, кри-

тика. Изъ этихъ 10 томовъ все наиболѣе выдающееся было переведено на французскій языкъ, подъ руководствомъ автора; Тургеневъ единственный русскій писатель, о которомъ можно съ удовольствіемъ говорить во Франціи, передъ посвященной публикой. Будемъ же говорить о писателѣ, но потише, вполголоса, какъ подобаетъ говорить о мірекомъ, о суетномъ, на свѣжей могилѣ. Кто знаетъ, доволенъ-ли онъ самъ, передъ высшимъ Судіей, тѣмъ, что писалъ, что дѣйствовалъ на общественномъ поприщѣ этими страшными и невѣрными орудіями,—идеями?

## I.

Имя Тургеневыхъ въ теченіи всего столѣтія занимало собою русскую публику. Дядя романиста, Николай Ивановичъ, служившій на государственной службѣ при Александрѣ I, за участіе въ заговорѣ декабристовъ въ 1825 году, былъ изгнанъ Императоромъ Николаемъ; остатокъ дней своихъ онъ провелъ въ Парижѣ, гдѣ и издалъ свое большое сочиненіе „Россія и Русскіе“. Это былъ умъ прямой, честный, благородный, немного узкій и вдававшійся въ иллюзіи, словомъ, одинъ изъ наиболѣе искреннихъ людей въ средѣ богато одареннаго поколѣнія, очутившагося либеральнымъ послѣ 1812 года. Известно какъ оно потерпѣло неудачу: гвардейскимъ полковникамъ грезился во снѣ бѣлый конь и конституціонный султанъ Лафайета; эти космополиты, опьяненные чтеніемъ „Contrat Social“, теоремами физиократовъ, мечтали надѣлать свою обширную, тяжеловѣсную Россію какимъ-либо крупнымъ механизмомъ издѣлія аббата Сіэса. Они разыграли роль заговорщиковъ, какъ пылкіе юноши; игра окончилась трагически; за свою химеру, декабристы заплатились ссылкою въ Сибирь, или изгнаніемъ изъ отечества. Николай Тургеневъ особенно горячо ратовалъ за великое дѣло освобожденія крестьянъ; его молодой родственникъ только поддерживалъ семейную традицію, возставъ противъ крѣпостнаго права въ своемъ первомъ сочиненіи.

Тургеневы жили помѣщиками въ своемъ имѣніи, Орловской губерніи. Тамъ въ 1818 году родился Иванъ Сергѣевичъ, тамъ онъ и выросъ въ тиши, на свободѣ. Орловскій край, такъ часто и съ такой любовью описываемый романистомъ,—благодатный край. Это еще Великороссія, но чувствуется уже близость южнаго неба; сѣверная природа, суровая и непривѣтливая, тутъ приходитъ въ соприкосновеніе съ югомъ; она нѣсколько смягчается и дѣлаетъ усилія, чтобы улыбнуться. Начинается черноземъ; всюду тянутся на безконечныхъ пространствахъ тучныя поля, превращающіяся лѣтомъ въ море пшеницы. Появляется дубъ и придаетъ болѣе мощный, здоровый видъ топкимъ березовымъ рощамъ. На востокъ со стороны Ельца и устьевъ Дона, есть прелестныя долины, гдѣ почью пылаютъ костры, слышится ржаніе и топотъ коней: Орель—одинъ изъ центровъ коннозаводства; крестьяне съ ихъ ребятами круглое лѣто бродятъ по пастбищамъ и болотамъ. На западѣ, Десна врѣзывается въ старые черниговскіе лѣса; живописная рѣчка отражаетъ въ своихъ водахъ Брянскіе

монастыри, а затѣмъ вѣковыя сосны и осины на безконечномъ протяженіи вереть. На влажной почвѣ тѣхъ лѣсовъ, весной появляется такое обиліе травъ и цвѣтовъ, какого я пугдѣ не видывалъ. Едва успѣетъ растаять снѣгъ подъ лучами солнца, какъ съ землею дѣлается словно любовный бредъ,—соки приливаютъ изъ нѣдръ ея на поверхность, какъ кровь къ молодымъ артеріямъ; торжествующая жизнь кипитъ подъ сѣнью деревъ, пышетъ красками, ароматами, звуками; опьяненіе природы отуманиваетъ человѣка; охотникъ или дровосѣкъ, заблудившіеся въ этихъ чащахъ, кажутся такими тщедушными, такими жалкими!.. Тамъ и сямъ, среди воздѣланныхъ пашенъ показываются усадьбы—„дворянскія гнѣзда“, почти всегда одинаковыя; корпусъ зданія деревянный или кирпичный, съ башенкой сбоку, или же покромнѣе—съ флигелькомъ; если помѣщикъ побогаче, зданіе сіяетъ бѣлизной, подъ ярко-зеленой крышей. Обыкновенно домъ и угодыя заложены въ губернскомъ банкѣ; долги сѣдаютъ и барина, и его усадьбу, что замѣтно по трещинамъ, испещряющимъ кирпичныя или сосновыя стѣны, по сорной травѣ и крапивѣ, которыя преслѣдуютъ другъ друга вплоть до ступенекъ крыльца. Позади дома, липовая аллея примыкаетъ къ большой дорогѣ; впереди садъ, поросшій ракитникомъ и ивами, спускается по отлогому скату къ пруду, къ неизмѣнному пруду стоячей воды; такъ и кажется, что вѣтерокъ никогда не рябитъ этихъ водъ, заросшихъ по берегамъ осокой; тихій и безмолвный, какъ жизнь семьи, прозябающей въ усадьбѣ, прудъ отражаетъ въ себѣ тѣни облаковъ—утромъ розовыхъ, днемъ сѣрыхъ; исчезни домъ, и тогда, пожалуй, это старое, застывшее въ землѣ зеркало, сохранить его образъ по памяти, сохранить воспоминанія и мысли дѣтей, выросшихъ на его берегахъ. Вотъ почему, можетъ быть, русскій человѣкъ такъ крѣпко привязывается къ своей скромной колыбели; впоследствии, когда онъ рыскаетъ по свѣту, хотя бы у него и была душа склонная къ скитальчеству—что то невѣдомое всегда тянетъ его къ монотонному горизонту.

Дѣтство Тургенева протекло въ одномъ изъ такихъ „дворянскихъ гнѣздъ“, которыя служатъ рамкой почти всѣхъ его романовъ. Были у него, согласно тогдашней модѣ, гувернеры французы и нѣмцы, бѣдняки, подобранные на удачу, и учившіе тому, чего сами не знали; обыкновенно подобныхъ гувернеровъ держали въ помѣщичьихъ домахъ, гдѣ они играли роль чуть-ли не прислуги. Родной языкъ былъ не въ чести; мальчикъ впервые прочелъ русскіе стихи тайкомъ, со старымъ лакеемъ. Къ счастью для него, настоящее воспитаніе онъ получилъ въ чащахъ лѣса, на поляхъ и болотахъ, у тѣхъ самыхъ охотниковъ, рассказы которыхъ впоследствии превратились въ его рукахъ въ драгоценныя перлы. Бродя по лѣсамъ и дебрямъ за рябчиками, поэтъ дѣлалъ запасы художественныхъ образовъ, накапливалъ, помимо своего вѣдома, тѣ образы, въ которыя въ одинъ прекрасный день онъ долженъ былъ облечь свои идеи. Въ дѣтскомъ воображеніи, когда мысль еще дремлетъ, впечатлѣнія ложатся капля за каплей, какъ роса за ночь,—взойдетъ солнце, и, при первыхъ лучахъ его, капли заискрятся, какъ алмазы.

Въ пору серьезныхъ занятій, Иванъ Сергѣевичъ посѣщалъ университеты Московскій и Петербургскій. Русскіе университеты въ то время были тощими кормилицами: они только разохочивали къ наукѣ, но не удовлетворяли потребностей молодежи; лучшіе воспитанники покидали ихъ разочарованными и отправлялись требовать болѣе существенной пищи у германскихъ кафедръ. Это была тоже мода; существовало такое убѣжденіе, что, для остепененія легковѣсныхъ славянскихъ мозговъ, необходимо подбавить къ нимъ малую толику нѣмецкаго свинцу. Само министерство народнаго просвѣщенія на свой счетъ посылало кандидатовъ въ Берлинъ или Геттингенъ. Молодые люди возвращались, напичканные гуманитарной философіей и либеральной закваской, вооруженные идеями, непримѣнными на ихъ родинѣ, недовольные и озлобленные. Министерство съ удивленіемъ убѣждалось, что курица высидила утокъ. Тогда этихъ подозрительныхъ миссіонеровъ съ запада отдавали подъ присмотръ жандармовъ, а другихъ отправляли въ ту-же школу. Однимъ изъ любимыхъ типовъ русской литературы, былъ молодой бурштъ, вернувшійся изъ Германіи и принесшій своимъ братьямъ незрѣлый виноградъ изъ обѣтованной земли. Пушкинъ, съ обычной своей легкой ироніей, нарисовалъ такой типъ въ своемъ „Онѣгинѣ“, въ образѣ Ленскаго.

... Владимиръ Ленскій,  
 Съ душою прямо геттингенской,  
 Красавецъ, въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ,  
 Поклонникъ Канта и поэтъ—  
 Онъ изъ Германіи туманной  
 Привезъ учености плоды,  
 Вольнолюбивыя мечты,  
 Духъ пылкій и довольно странный,  
 Всегда восторженную рѣчь,  
 И кудри черныя до плечъ.



Тургеневъ далъ намъ впоследствии законченные портреты—въ этомъ родѣ. Онъ могъ изучить ихъ съ природы, такъ какъ, во время пребывания своего въ Берлинѣ, въ 1838 г., онъ имѣлъ товарищемъ знаменитаго социалиста Бакунина. Иванъ Сергѣевичъ изобразилъ свое тогдашнее состояніе духа въ автобіографическомъ отрывкѣ, помѣщенномъ въ началѣ его сочиненій; подъ нѣсколько смутными формами, свойственными русской мысли, когда она ввѣряетъ печати извѣстныя щекотливыя признанія, этотъ отрывокъ открываетъ намъ тайну цѣлаго поколѣнія, и объясняетъ въ какомъ лагерѣ писатель намѣренъ былъ водрузить свое знамя:

„Стремленіе молодыхъ людей—моихъ сверстниковъ—за границу напоминало пеканіе Славянами пачальниковъ у заморскихъ Варяговъ. Каждый изъ насъ точно такъ же чувствовалъ, что его земля (я говорю не объ отечествѣ вообще, а объ нравственномъ и умственномъ достояніи каждаго) велика и обильна, а порядка въ ней нѣтъ. Могу сказать о себѣ, что лично я весьма ясно сознавалъ всѣ невыгоды подобнаго отторженія отъ родной почвы, подобнаго насильственного перерыва всѣхъ связей и нитей, прикрѣплявшихъ меня

къ тому быту, среди котораго я выросъ... но дѣлать было нечего. Тотъ бытъ, та среда и особенно та полоса ея, если можно такъ выразиться, къ которой я принадлежалъ—полоса помѣщичья, крѣпостная—не представляли ничего такого, что могло бы удерживать меня. Напротивъ: почти все, что я видѣлъ вокругъ себя, возбуждало во мнѣ чувство смущенія, негодованія,—отвращенія наконецъ. Долго колебаться я не могъ. Надо было покориться и смиренно побрести общей колеей, по избитой дорогѣ; либо отвернуться разомъ, оттолкнуть отъ себя „всѣхъ и вся“, даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я такъ и сдѣлалъ... я бросился внизъ головой въ „Нѣмецкое море“, долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я наконецъ вынырнулъ изъ его волнъ, я все-таки очутился „западникомъ“ и остался имъ навсегда... Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставался рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ; для этого у меня, вѣроятно, не доставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мнѣ необходимо было удалиться отъ моего врага за тѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшился бороться до конца,—съ тѣмъ я поклялся никогда не примиряться... Это была моя Аннибаловская клятва; и не я одинъ далъ ее себѣ тогда. Я и на западъ ушелъ для того, чтобы лучше ее исполнить...“

Вотъ и произнесено великое слово: писатель будетъ „западникомъ“, онъ будетъ стоять за Иафета противъ Сима, за методу Петра Великаго противъ соотечественниковъ, укрѣпившихся и засѣвшихъ за великой китайской стѣной. Надо прослѣдить за русскими полемиками, надо знать терминологию партій, чтобы понять, какія бури можетъ вызвать это безобидное названіе, какіе потоки чернилъ и желчи оно заставляетъ проливаться ежедневно. „Западникъ“—это слово означаетъ,—смотря потому, въ какомъ лагерѣ оно произносится, — или сынъ свѣта или проклятый измѣнникъ. Я, конечно, не стану пускаться въ разсужденіе на счетъ этого, тѣмъ болѣе, что, по моему, тутъ споръ только о кличкахъ; бойцы, ослѣпленные дымомъ, легко пришли бы въ соглашеніе, еслибъ могли оставаться хладнокровными; разсудокъ, справедливые законы, великая литература не имѣютъ опредѣленнаго отечества; каждый беретъ свое добро тамъ, гдѣ находится его, въ общемъ достоинствѣ человѣчества и устраиваетъ его по своему. Читая этотъ отрывокъ исповѣди, является нѣкоторое безпокойство за будущность поэта; за этими фразами чувствуется какъ бы зловѣщее рокотаніе политики; неужели великая развратница, политика отвлечетъ поэта отъ его пути? Къ счастью, ничего подобнаго не случилось. У Тургенева была натура слишкомъ созерцательная, слишкомъ литературная, слишкомъ отрѣшенная, чтобы онъ могъ кинуться въ эту борьбу, куда люди попадаютъ съ убѣжденіями, а оттуда выходятъ защитниками личныхъ интересовъ. На счетъ одного только пункта онъ сдержалъ свою клятву: онъ нанесъ ударъ, и

страшный ударъ крѣпостному праву; война противъ этого врага была священная война, и всѣ были уже почти готовы къ ней, начиная съ императора Николая; государь предвидѣлъ освобожденіе крестьянъ, онъ желалъ бы привести его въ исполненіе, по отчего онъ этого не сдѣлалъ? Это любопытная глава психологической исторіи, которая слишкомъ далеко отвлекла бы насъ отъ нашего предмета.

Вернувшись въ Россію, Тургеневъ сталъ помѣщать въ тогдашнихъ журналахъ свои первые опыты, разумѣется, стихи. Онъ заслужилъ поощреніе и дружбу Вѣлинскаго, знаменитаго критика, притворы котораго считались закономъ для общественнаго мнѣнія. Впрочемъ, голосъ молодой музы скоро замеръ; писатель принесъ геройскую жертву, жертву безусловную: въ окончательныхъ изданіяхъ своихъ сочиненій, этотъ великій мастеръ прозы не далъ мѣста ни одному изъ своихъ юношескихъ стихотвореній. Менѣе строго онъ отнесся къ нѣкоторымъ драматическимъ опытамъ и комедіямъ въ прозѣ, наименѣе саннимъ въ ту же эпоху; но, разрѣшивъ издателямъ печатать ихъ, онъ скромно предупреждаетъ читателей, что не признаетъ въ себѣ драматическаго таланта. Признаніе основательное: этотъ сдержанный голосъ, полный тонкихъ оттѣнковъ, столь краснорѣчивыхъ въ интимномъ чтеніи, не созданъ для громкихъ театральныхъ эффектовъ. Кое-какія пьесы его игрались въ свое время, но ни одна не осталась въ репертуарѣ. Уѣхавъ снова въ чужія страны, Иванъ Сергѣевичъ отъ времени до времени посылалъ въ петербургскіе журналы первые изъ небольшихъ рассказовъ, которые должны были прославить его имя подъ заглавіемъ: „Записки охотника“.

Маленькіе брандеры проскользнули невзначай одинъ за другимъ отъ 1847 до 1851 года безъ всякой задней мысли подъ флагомъ поэзіи; публика сперва не раскусила ихъ затаеннаго смысла; сама бдительная цензура попала въ просакъ\*). Въ этихъ рассказахъ увидѣли только литературныя попытки крупнаго таланта, нѣчто новое для Россіи. Безъ сомнѣнія, влияніе Гоголя ясно чувствовалось въ стилѣ молодого писателя, въ его способѣ понимать природу: „Вечера на хуторѣ“ служили ему образцомъ жанра. Это была та-же великая, грустная симфонія русской земли; но на этотъ разъ художественная передача была совсѣмъ иная. Это уже не грубый юморъ Гоголя, откровенно народный характеръ его картинъ, горячія вспышки энтузіазма, внезапно прерываемыя горькой ироніей. У Тургенева нѣтъ ни ликованій, ни энтузіазма; у него преобладаетъ нота менѣе рѣзкая, чувство болѣе скрытое, люди и ландшафты освѣщены блѣднымъ вечернимъ свѣтомъ, представлены сквозь идеальную дымку, впрочемъ, очерчены отчетливо и словно сосредоточены въ зрачкѣ неутомимаго наблюдателя. Языкъ тоже болѣе богатый, болѣе гибкій, мягкій, языкъ доведенный до такой степени выразительности, какъ ни у кого изъ русскихъ писателей до того времени. Это уже не гладкая, чистая проза Пушкина, много начитавшагося Вольтера.

\*) См. Т. Ганжулевичъ. „Записки охотника“ И. С. Тургенева, изданіе „Прогрессъ Нашей Жизни“, 1908 г., 196 стр. Цѣна 75 коп.

Фраза Тургенева течет медленно, с плавной гибкой, как воды великих русских рек в лесах, замедляющаяся в тростниках, ушедшая плавучими цветами, ушедшими по пути гирьдами, полная благоуханий, отражающая в себя мирские небеса и ландшафты и внезапно снова теряющаяся в тенистых чащах; так и речь его: она останавливается на пути и все захватывает с собою — и жужжание пчелы, и крик ночной птицы, и тихое, заморающее дуновение ветра. Она передает самые мимолетные звуки великой гармонии природы, передает их с бесконечно-разнообразными оттенками, гибкими эпитетами, словами, связанными между собою по прихоти поэта, народными звукоподражаниями. Я напираю на все то, что именно составляет силу этой книги: мы ясно слышим пение земли и шепот нескольких бедных душ; писатель перенес нас в самое сердце своей родной земли, он оставляет нас наедине с нею, сам он как будто исчезает. Однако, если не он, то кто же извлечет из действительности и сосредоточит на поверхности эту скрытую в ней таинственную поэзию, которая тут же ясно открывается перед нами?.. „Записки Охотника“ восхитили не мало французских читателей; а между тем, как они обезличены сквозь двойной покров перевода и незнания страны! Представляю себя какого-нибудь киевского или казанского жителя, никогда не бывшего за границей и читающего по русски сельские романы Жюль Занда, пьющего некоторое сродство с Тургеневскими: что может он вынести из таких вещей, как „La Petite Fadette“ или „Francois le Champri?“ Способен ли он ощущать благоухание нашей беррийской почвы? Надо самому видеть деревни, описанные Иваном Сергеевичем, чтобы вполне оценить, как верно он передает на каждой странице наше собственное переживание, как он запечатлевает в нашей душе малейшее испытанное ощущение, как он заставляет наши чувства проникаться малейшим, самым тонким благоуханием этой земли.

С этой точки зрения, следует, прежде всего, указать на маленький рассказ, озаглавленный „Божья луг“. Божья луг — пастбище, куда крестьянские ребята сгоняют пастись табуны лошадей в жаркие летние ночи. Наш охотник заблудился в вечерней мгле, долго бродил по пустынным дебрям, и, наконец, видит огонь среди болота, это привал маленьких пастухов, охотник ложится отдохнуть, под кустиком, у их костра, и притворившись спящим, прислушивается к их болтовне. Прикурнув вокруг костра, дети рассказывают друг другу истории, такие истории, которые обыкновенно рассказываются в ночную пору. Мальчики не трусят, о нет! но разные сомнительные звуки заставляют их задумываться — ночные голоса, поднимающиеся с реки, крики сов, вой собак, когда к лошадям подрадаются волки. Присутствие невидимого действует на эти простые души, и вот они перебирают все деревенские русские поверья — и русалок, и лешего, и домового, вспоминают и про своего товарища Васю, что утонул прошлым годом и заманивает маленьких рыбаков к

себя, в глубину воды. Это нечто среднее между нянинскими сказками и сказками Гофмана, но опять-таки это что-то иное, больше естественное, больше серьезное. Поэт с необыкновенным искусством привел нас к желаемому диапазону: он заставил говорить землю, прежде чем заговорили дети, и оказывается, что земля и дети говорят одно и то же. Эти мальчики не больше, как толкователи старого славянского мира; они по-своему перефразируют „Слово о полку Игореве“, эту пантеистическую эпопею древних влгов, откуда исходит вся русская поэзия. Между тем, минует ночь, разливается свет и облегчает душу; чудное описание солнечного восхода бросает блестящую ноту в конце этой фантастической симфонии в минорном тоне.

Предпочитаете вы, быть может, больше человеческую, больше интимную струну? Прочтите в таком случае „Живые мощи“. Случайно зайдя в покинутый сарайчик, охотник видит жалкое существо, безформенное, неподвижное; он узнает прежнюю крепостную девушку своей матери, когда-то первую красавицу в деревне, плясунью, хохотунью, а теперь разбитую параличом, страдающую каким-то неизвестным недугом. Этот скелет, забытый в развалине, уже ничем не связан с миром, никто не заботится о несчастной; правда, добрые люди наливает иной раз святой воды в ее кувшин; да у нее и нет других потребностей; она живет, если только это можно назвать жизнью, только взглядом, да слабым, как дуновение, голосом. В этих бренных останках живет душа, очищенная страданиями, божественно смиренная, парящая на высотах полного самоотречения, не утратившая тем не менее своей деревенской наивности. Лукерья рассказывает свою беду, как неизвестный педуг овладел ею после того, как она упала и расшиблась ночью, слушая соловьев, рассказывает, как мало-по-малу все радости жизни покинули ее одна за другою. Жених ее сперва очень печалился, но потом, разумеется, утешился, женился на другой; что же он мог сделать иного? Она надеется, что он счастлив. Целые долгие годы лежать она недвижимо: единственное ее развлечение — слушать благовест церковного колокола, да жужжание пчел в соседней пасеке. Порою заметит ласточка под крышу — это уж и такое событие, о котором она думает несколько недель. А какие добрые те люди, что приносят ей воду, как она им благодарна! Тихо, почти весело перебирает она с молодым баринком воспоминания о былом, не без гордости напоминает, что она была первая в деревне плясунья, пловунья; наконец, она с усилием начинает напевать песенку.

„Мысль, что это полумертвое существо готовится запыть, возбудила во мне невольный ужас. Но прежде, чем я мог промолвить слово, в ушах моих задрожал протяжный, едва слышимый, но чистый и верный звук... за ним последовал другой, третий. „Во лугах“ глас Лукерья. Она глас, не изменив выражения своего окаменелого лица, уставив даже глаза. Но так трогательно звенял этот бедный, как струйка дыма, колебавшийся

голосокъ, такъ хотѣлось ей всю душу вылить... Уже не ужасъ чувствовалъ я: жалость не сказанная стеснула мнѣ сердце“...

Лукерья рассказываетъ свои сны, какъ являлась ей смерть; и не страшна она ей: напротивъ, ей жалко, что смерть проходила мимо и отказывалась освободить ее. Больная отклоняетъ всѣ предложенія барина оказать ей помощь; она ничего не желаетъ, ни въ чемъ не нуждается; она довольна всѣмъ и всѣмъ. Въ ту минуту, когда посетитель уже собирается уходить, она удерживаетъ его еще однимъ послѣднимъ словомъ, проникнутымъ женственностью; несчастная сознаетъ ужасное впечатлѣніе, которое она должна производить на барина, она ищетъ скрасить его какимъ-нибудь воспоминаніемъ о ея былой привлекательности. „Помните, баринъ, какая у меня была коса?.. Помните, до самыхъ колѣнъ!.. Я долго не рѣшалась... да гдѣ было расчесывать такіе волосы въ моемъ-то положеніи? Такъ ужъ я ихъ и отрѣзала. Да... Ну, простите, баринъ“. Все это ничего не даетъ анализу, все это нѣжно, какъ крылья бабочки; самая основа рассказа такъ незатѣйлива, такъ проста; это бездѣлица, а между тѣмъ это перлъ, въ силу всего, что въ немъ заключается; вѣрнѣе же—въ силу того, что въ немъ есть невысказаннаго. Если дать этотъ сюжетъ,—представляю себѣ какъ различныя литературныя школы взяли бы за него? Романтикъ добраго стараго времени показалъ бы намъ рока, неумолимо преслѣдующій несчастное существо; онъ выставилъ бы это существо живымъ протестомъ противъ мирового порядка, жалкимъ уродомъ, какимъ-то женскимъ квазимодо. Другіе писатели, знаменитые друзья Тургенева въ его старости \*), не преминули бы прочесть намъ по этому поводу курсъ паталогіи; они съ наслажденіемъ анатомировали бы эти одеревенѣлыя члены, открыли бы тайныя раны, указали бы на всѣ упраздненныя органы въ нервной системѣ и пришли бы къ заключенію, что больная впала въ идиотическое состояніе. Писатель, горячо вѣрующій, преобразилъ бы по-своему эту мученицу; она явилась бы намъ въ ореолѣ, погруженная въ мистическое созерцаніе, поддерживаемая единственно силами небесными. Ничего подобнаго нѣтъ у Тургенева; онъ едва касается физическихъ немощей, говорить о нихъ полу-словами, словно дымкой покрываетъ трупъ; мы ясно понимаемъ, что это въ сущности трупъ, увидѣвъ эту душу обнаженной, отрѣшившейся отъ плоти. Никакихъ разглазгованій, никакихъ антитезъ; авторъ нисколько не старается преувеличить факта и поразить наше воображеніе; это случай изъ жизни—вотъ и все. Что касается Бога, то смиренная дѣвушка знаетъ, что у Него есть много дѣлъ поважнѣе этого маленькаго несчастія, она молится Ему по обыкновенію, не предъявляя особыхъ требованій, съ привычной набожностью крестьянки, вполне чуждой мистицизма. Но что въ этомъ рассказѣ, какъ и почти во всѣхъ другихъ особенно ярко освѣщено—это стонческая, пемного

\*) Очевидно, рѣчь идетъ о писателяхъ-натуралистахъ, съ которыми былъ друженъ Тургеневъ.

животная покорность судьбѣ, свойственная русскому мужику, всегда готовому страдать. Талантъ выражается именно въ соблюденіи удивительной пропорціи между реальнымъ и идеальнымъ; каждая подробность остается въ области реализма, въ средѣ человѣческой, а цѣлое, все вмѣстѣ взятое, плаваетъ въ области идеала. Взгляните и на другой ангельскій образъ больного, являющійся въ эпизодѣ „Уѣзднаго Лекаря“: тутъ то же самое—человѣкъ остается въ своемъ естественномъ положеніи, погами касается земли, а очи устремлены къ небу.

Когда эти отрывки были собраны въ цѣлый томъ, публика, до тѣхъ поръ находившаяся въ перѣшности, поняла значеніе этого произведенія: явился человѣкъ, дерзнувшій развить тайный смыслъ мрачной шутки Гоголя о „мертвыхъ душахъ“. Какъ иначе назвать эту галерею портретовъ, собранныхъ охотникомъ: мелкопомѣстные дворяне, наивно эгоистическіе и черствые, утрюпые управляющіе, алчные чиновники, слоняющіеся безъ дѣла, и подъ ихъ желѣзнымъ гнетомъ забытые плоты, рабы, утратившіе всякое человѣческое достоинство, трогательные своимъ убожествомъ и своей покорностью? Приемъ автора вездѣ почти одинаковый: онъ заставляетъ двигаться передъ нами въ своемъ фонарѣ и показываетъ намъ подъ разными видами это жалкое существо, и трагическое, и смѣшное, безъ потребности, безъ рессурсовъ, осужденное на прозябаніе; на ряду съ крѣпостнымъ рабомъ является его господинъ—полу-цивилизированный субъектъ, въ сущности добрый малый, неосознающій сдѣланное имъ зло, развращенный роковой средою. Эта картина, которая должна по настоящему казаться уродливой, отталкивающей, между тѣмъ, облечена авторомъ какой-то особой прелестью и граціей, нѣкоторымъ образомъ помимо его воли, въ силу тайнаго свойства его поэзіи. Почему же разбита жизнь у всѣхъ героевъ этой книги? Отчего происходитъ эта болѣзнь, охватывавшая русскую деревню? Какъ имя этой чумы? Читателю предоставлялось отвѣчать самому на этотъ вопросъ. Было бы неточнымъ сказать, что Тургеневъ напалъ на крѣпостничество; русскіе писатели, вслѣдствіе условій, въ которыя они поставлены, а также вслѣдствіе особенности ихъ генія, никогда не нападаютъ открыто: они не аргументируютъ, не разсуждаютъ, они рисуютъ, не дѣлая выводовъ и зываютъ скорѣе къ состраданію, нѣжели къ гнѣву читателей. Двадцать лѣтъ спустя, когда Достоевскій обнародовалъ „Записки изъ мертваго дома“, свои страшныя воспоминанія о десятилѣтнемъ пребываніи въ Сибири, онъ поступилъ точно такъ же:—ни единого слова негодованія, ни капли желчи, словно находя естественнымъ все, что описывалъ, но только немного грустнѣе. Эта національная черта проявляется во всемъ. Однажды я ночевалъ на постояломъ дворѣ, въ Орловской губерніи, на родинѣ нашего писателя. Меня разбудилъ барабанный бой; гляжу въ окно, на рыночную площадь, среди взвода солдатъ и толпы народа, возвышается большой черныи столбъ съ платформой, какъ на эшафотѣ, къ столбу привязывали трехъ бѣдняковъ, съ ярлыками на шеѣ, гласящими объ ихъ проступкахъ. Эти злодѣи

имѣли очень смрѣнный видъ и, казалось, не сознавали, что съ ними происходитъ; привязанные къ столбу они были даже трогательны, съ своими красивыми славянскими лицами. Выставка продолжалась долго; наконецъ, духовенство благословило ихъ, и когда ихъ посадили на телегу, чтобы вести обратно въ тюрьму, солдаты и народъ бросались за ними, одѣвая ихъ мелкой монетой и разными гостинцами и отъ души сожалѣя о нихъ \*). Въ Россіи, писатель, который желаетъ произвести переворотъ, дѣйствуетъ также, какъ и правосудіе, наглядно выставляя на видъ печальныя явленія, но съ отъѣнкомъ снисходительности къ недостаткамъ, которые онъ разоблачаетъ. Публика понимаетъ съ полу-слова \*\*).

На этотъ разъ голосъ писателя былъ услышанъ: крѣпостная Россія съ ужасомъ взглянула на себя въ зеркало, которое ей подставляли; взглянула и содрогнулась; на другой же день авторъ сталъ знаменитъ, и его дѣло до половины выиграно. Цензура послѣ всѣхъ поняла въ чемъ суть, но тѣмъ не менѣе также поняла. Быть можетъ, удивятся ея щекотливости: я уже сказалъ, что крѣпостное право было осуждено чуть не всѣми, даже въ сердцѣ Императора Николая. Но надо замѣтить, что цензура не всегда желаетъ того, что государь, по крайней мѣрѣ, она всегда отстаётъ, иногда на цѣлое царствованіе. Хотя она не стала преслѣдовать книгу, за то подкарауливала автора. Въ это время умеръ Гоголь. Тургеневъ посвятилъ покойному горячую статью. Эта статья показалась бы безобидной въ теперешнее время, она включена въ полное изданіе его сочиненій, и мы не нашли бы въ ней ничего подозрительнаго, если бъ самъ авторъ не открылъ намъ тайны въ шутливой замѣткѣ: „По поводу этой статьи мнѣ вспоминается слѣдующее: одна очень высокопоставленная дама—въ Петербургѣ—находила, что наказаніе, которому я подвергся за эту статью, было незаслуженно—и во всякомъ случаѣ слишкомъ строго, жестоко... Словомъ, она горячо заскупалась за меня“.

— „Но вѣдь вы не знаете, доложилъ ей кто-то,—онъ въ своей статьѣ называетъ Гоголя великимъ человѣкомъ!—Не можетъ быть!—Увѣрю васъ.—А! въ такомъ случаѣ, я ничего не говорю: «Je regrette, mais je comprends, du'on ait sévir». За такое дерзкое наименованіе, данное простому писателю, Тургеневъ высидѣлъ мѣсяць подъ арестомъ; затѣмъ ему посоветовали удалиться для размышленій въ свое помѣстье. Вѣроятно, онъ находилъ тогда, что общество очень дурно устроено,—вотъ до какой степени мы несправедливы къ власти, желающей намъ добра. Надо впрочемъ сознаться, что эта власть порою лучше насъ самихъ служить нашимъ интересамъ, и приказы объ изгнаніи обыкновенно согласуются съ путями провидѣнія. Тридцать лѣтъ ранѣе ссылка спасла Пушкина, оторвавъ поэта отъ пе-

\*) Таково отношеніе къ преступникамъ уголовнымъ, о которыхъ въ данномъ случаѣ, очевидно, и говорится. На политическихъ—народъ всегда смотрѣлъ и смотритъ, какъ на героевъ. Ихъ не показывали толпѣ, а наоборотъ, тщательно скрывали отъ нея.

\*\*\*) См. статью Л. Н. Толстого „Не могу молчать“.

тербургскихъ развлеченій, гдѣ онъ растрчивалъ свой геній, пославъ его подъ жаркое небо Юга, гдѣ геній этотъ долженъ былъ расцвѣсти. Если-бъ Тургеневъ устался въ столицѣ, пылъ юности, опасныя связи, быть можетъ, увлекли бы его въ какое-нибудь безплодное, политическое предпріятіе; но вернувшись въ уединеніе своихъ лѣсовъ, онъ прожилъ тамъ нѣсколько лѣтъ въ трудѣ, изучая скромную русскую жизнь въ провинціи и намѣчая черты ея въ первыхъ своихъ большихъ романахъ.

## II.

Романъ нравовъ и характеровъ—за послѣднія тридцать лѣтъ—сталъ любимой формой русскихъ писателей, удобной оболочкой, которую они даютъ своимъ философскимъ или политическимъ идеямъ. Тургеневъ—отецъ этой безчисленной семьи писателей: до него и въ первой половинѣ столѣтія я затруднился бы указать на какое-нибудь произведеніе, отвѣчающее требованіямъ этого рода литературы, какъ мы разумѣемъ его на Западѣ. Мелкія повѣсти въ прозѣ Пушкина, съ сюжетами, заимствованными большей частью изъ исторіи, принадлежатъ скорѣе къ старой повѣствовательной школѣ; это образцы классическаго сочиненія, эпизоды, отличающіеся живымъ вымысломъ, а не этюды современной дѣйствительности. Лермонтовъ, въ „Герои нашего времени“, болѣе приблизился къ нашему современному идеалу; его Печоринъ воплотилъ въ себѣ душу цѣлаго поколѣнія, какъ нашъ Ренэ; но, подобно Ренэ, онъ только скрежеталъ зубами, не удостоивая изучать окружающій его міръ; три повѣсти, соединенныя въ одно цѣлое подъ этимъ названіемъ,—быть можетъ, образцовыя произведенія романтизма въ Россіи, но это лишь бѣглые наброски; поэтъ, умершій 27 лѣтъ, не имѣлъ времени развить ихъ. Наконецъ, явился Гоголь и приложилъ къ русскому обществу свой удивительный даръ наблюдательности; „Мертвыя души“—родъ эпопеи, траги-комической одиссеи; эта книга была бы единственной въ своемъ родѣ, не будь „Донъ-Кихота“, и я не сомнѣваюсь, что потомство поставитъ этого талантливо писателя на одну доску съ Сервантесомъ; „Мертвыя души“—болѣе нежели романъ; это не романъ, потому что не представляетъ изображенія страсти, дѣйствующей на данный характеръ. Гораздо ниже этихъ талантовъ стоитъ Марлинскій и его подражатели, наивные романисты, имѣвшие способность исторгать слезы у русскихъ барышень между 1830 и 1840 годами; всегда найдется кто-нибудь—кто заставляетъ плакать молодыхъ дѣвушекъ, но для этого не нужно генія. Марлинскій взялъ себѣ образцами Дюкрэ-Дюменили и виконта д'Арленкура; его—сантиментальныя писанія не идутъ дальше, и чтобы имѣть силу перечитать ихъ нынче, надо сохранить ту свѣжесть иллюзій, которую можно встрѣтить развѣ въ какомъ-нибудь глухомъ, провинціальномъ городкѣ Россіи.

Послѣ 1840 года, Россія, всегда стремящаяся не отстать отъ Запада, ждала появленія своего Джоржъ Занда или Вальзака. Тургеневъ далъ себѣ обѣщаніе стать тѣмъ и другимъ, и это удалось ему.

Иванъ Сергѣевичъ увѣрялъ, что онъ не долюбиваетъ Бальзака; можетъ быть, это и такъ, — вѣдь не всегда любятъ своихъ учителей, но ручаюсь въ томъ, что онъ близко изучалъ его. Русскій писатель тоже задался цѣлью создать человѣческую комедію своей страны; при осуществленіи этой обширной задачи, онъ проявилъ менѣе терпѣливости, менѣе цѣлостности и методы, нежели французскій романистъ, но за то больше сердца больше искренней вѣры, и въ добавокъ обнаружилъ даръ слога, увлекательное краснорѣчіе, — чего именно не доставало Бальзаку. Если справедливо, что во Франціи никакой историкъ не можетъ изобразить жизнь нашихъ отцовъ, не перечитавъ и не изучивъ Бальзака, то еще вѣрнѣе можно сказать то же самое о Тургеневѣ по отношенію къ Россіи. Тамъ современная исторія была безсмысленна, и не безъ причины. Когда историки будущаго захотятъ воскресить Россію Николая Павловича и первыхъ годовъ царствованія Александра II, они останутся въ уныніи передъ пустотою и безсодержательностью положительныхъ документовъ. Одинъ лишь свидѣтель поможетъ имъ вызвать тѣни умершихъ, — писатель, съумѣвшій подмѣтить теченія нарождающихся идей въ эту переходную эпоху, воплотить въ отвлеченные типы различныя состоянія духа, наиболѣе часто встрѣчающіяся у его современниковъ. Отъ 1850 до 1860 года Россія подвигалась ощупью, истомленная и безпокойная, какъ путникъ, заблудившійся въ послѣдніе часы ночи: на горизонтѣ загорались блѣдные лучи разсвѣта, смутно виднѣются концы какихъ-то дорогъ, очертанія высотъ; всюду царитъ путаница, свойственная этимъ переходнымъ часамъ въ ожиданіи зари; у однихъ замѣтна необдуманная торопливость, у другихъ утомленіе и страхъ. Надо было имѣть хорошее зрѣніе, чтобы среди этой подвижной толпы различать и срисовывать и тѣ фигуры, которыя выступаютъ изъ мрака, и тѣ, которыя добровольно скрываются во тьмѣ и которыхъ уже не застанешь разсвѣтъ. Тургеневъ уловилъ нѣсколько такихъ образовъ. Судьбаемъ бѣглый осмотръ этой галереи, перелистывая романы, написанные въ ту эпоху.

Въ первомъ изъ нихъ, въ „Рудинѣ“, авторъ изучаетъ темпераментъ, принадлежащій собственно всѣмъ временамъ и всѣмъ странамъ, по который какъ будто особенно акклиматизировался въ Россіи. Рудинъ, герой романа, — краснорѣчивый идеалистъ, ловкій на словахъ, неспособный къ дѣйствию. Онъ опьяняетъ себя и другихъ своей многорѣчивостью, бросается въ жизнь, какъ рьяный потокъ великодушныхъ и свѣтлыхъ идей; но каждое испытаніе жизни обращается противъ него, вслѣдствіе отсутствія въ немъ характера. Съ лучшими принципами въ мірѣ, не имѣя иныхъ пороковъ, кромѣ наивнаго тщеславія, онъ совершаетъ тѣмъ не менѣе поступки, недостойные честнаго человѣка. Его можно принять за циника, видя, какъ онъ живетъ на счетъ одурченныхъ имъ жертвъ, соблазняетъ молодую дѣвушку, выноситъ оскорбленіе отъ своего соперника. А между тѣмъ онъ же первый является своей собственной жертвой: душа его въ глубинѣ своей слишкомъ честна, чтобы онъ могъ пользоваться до конца представляющимися случаями. Не имѣя мужества

ни для добра, ни для зла, онъ безпрестанно впадаетъ въ пустоту и нищету; старѣясь, онъ начинаетъ сознать свое непоправимое безсиліе; кончаетъ онъ самымъ плачевнымъ образомъ. Первые пятьдесятъ страницъ романа — образецъ экспозиціи. Авторъ вводитъ насъ въ маленькій помѣщичій кружокъ, бѣгло намѣчая мѣсто и характеръ каждаго лица. Внезапно появляется ожидаемый Мессія въ этой тусклой средѣ, и водворяется въ ней и бдителямъ; все блѣднѣетъ передъ фейерверкомъ его краснорѣчія; одинъ лишь старый брюзгливый скептикъ возражаетъ ему, представляя собою прозаическую дѣйствительность жизни въ ея вѣчной борьбѣ съ идеальнымъ энтузіазмомъ. Мало-по-малу мракъ разсѣивается, практическіе люди перестаютъ довѣрять феномену, соблазненные молодыя особы во-время спохватываются. Всѣ эти скромные люди терпѣливо создаютъ свою мелкую жизнь и кончаютъ тѣмъ, что наживаютъ хорошіе доходы, добрыхъ женъ, добрыхъ друзей, между тѣмъ какъ феноменъ, не смотря на все свое уметвенное превосходство, падаетъ все ниже и ниже. Проза восторжествовала надъ идеаломъ. Для начала, романистъ коснулся смѣло одного изъ величайшихъ недостатковъ русскаго духа и далъ своимъ соотечественникамъ полезный урокъ; онъ объяснилъ имъ, что великихъ стремленій недостаточно, что надо соединять съ ними практическій смыслъ, умѣнье владѣть собою.

Въ „Рудинѣ“, нравственномъ и философскомъ этюдѣ, романистъ затронулъ идеи и заинтересовалъ умы; явился вопросъ — въ такой же ли степени способенъ онъ изобразить чувства, волновать сердца? „Дворянское гнѣздо“ разрѣшило эти сомнѣнія. Этотъ романъ не безъ недостатковъ: экспозиція въ немъ не такъ жива и блестяща, какъ въ предъидущемъ, авторъ останавливается на родословныхъ дѣйствующихъ лицахъ, интересъ ослабляется; но какъ только завязывается дѣйствіе, оно ведется съ несравненнымъ искусствомъ. „Дворянское гнѣздо“ — одинъ изъ старыхъ провинціальныхъ домовъ, гдѣ прожило одно за другимъ нѣсколько поколѣній. Въ этой средѣ растетъ молодая дѣвушка, которая отнынѣ должна была служить прототипомъ для всѣхъ героинь русскаго романа — душа простая, честная, безъ блестящихъ внѣшнихъ качествъ, безъ особенно выдающихся свойствъ ума, но за то проникнутая тонкой прелестью и вооруженная желѣзной волей. Эта твердая воля, въ которой Тургеневъ отказывалъ мужчинамъ, является у него общей чертой всѣхъ дѣвушекъ, созданныхъ его воображеніемъ; эта воля ведетъ ихъ къ самымъ разнообразнымъ исходамъ, смотря по направленію, по какому толкаетъ ихъ судьба. Лизѣ двадцать лѣтъ; она остается равнодушной къ прелестьямъ красиваго чиновника, за котораго прочитъ ее мать; однако, утомившись борьбой, она уже готова отдать ему свою руку, какъ вдругъ является одинъ дальній родственникъ, Лаврецій. Онъ женатъ, но давно разошелся съ женой, недостойной женщиной, прожигающей жизнь гдѣ-то на водахъ за границей. Въ немъ нѣтъ ничего похотливаго на героя романа: это человѣкъ спокойный, добрый и несчастный, серьезнаго ума, и въ лѣтахъ. Всѣ эти люди существуютъ, ихъ не мало встрѣчаешь въ дѣйствительной жизни. Таин-

ственное влечение сближает Лаврецкаго съ Лизой. Въ ту минуту, когда первый, какъ болѣе опытный, съ ужасомъ узнаетъ какого рода ихъ взаимное чувство, газетная статья извѣщаетъ его о смерти жены. Онъ свободенъ, и въ тотъ же вечеръ, въ саду стараго дома, признаніе вырывается изъ обонхъ сердецъ, какъ спѣлый плодъ, падающій съ дерева. Какъ эта сцена прелестна, естественна и далека отъ банальности! Счастье ихъ длится всего часъ; извѣстіе оказалось ложнымъ: на другой же день жена Лаврецкаго является врасплохъ. Легко угадать всѣ перенетія положенія, но нельзя угадать одного—это нѣжности, тонкости, съ которой романистъ проводитъ эти двѣ безусловно честныя души сквозь опасность. Жертва принесена съ обѣихъ сторонъ, рѣшительно—со стороны молодой дѣвушки, и съ мучительной борьбой—со стороны мужчины. И вотъ мы начинаемъ надѣяться, что исчезнетъ помѣха въ лицѣ жены, достойной презрѣнія: наименѣе увлекающійся читатель—и тотъ умоляетъ автора дать ей умереть. Увы! любители благополучныхъ развязокъ могутъ закрыть книгу. Г-жа Лаврецкая не умираетъ, она продолжаетъ жить и живетъ очень весело; Лиза узнала въ жизни одну лишь возможность любви, появившуюся и исчезающую вмѣстѣ со звѣздами короткой майской ночи; она и не требуетъ вознагражденія въ жизни, она возноситъ къ Богу свое раненое сердце и жаливо погребаетъ себя въ монастырѣ.

Вотъ добродѣтельная исторія для дѣвицъ во вкусѣ г-жи Котенъ, скажутъ, пожалуй, нѣкоторые. Разказанная вкратцѣ тема дѣйствительно имѣетъ нѣсколько старосвѣтскій характеръ; но надо прочесть развитіе этой темы, чтобы видѣть съ какимъ повымъ искусствомъ, съ какой заботой о дѣйствительности, романистъ обновилъ свой сюжетъ въ широкомъ теченіи человѣческой правды. Ни малѣйшей сантиментальной пошлости въ этой грустной повѣсти, никакихъ эффектныхъ вельшекъ страсти; преобладаетъ тонъ цѣломудреннѣй, сдержанный, глубокое, скрытое чувство, которое постепенно возрастаетъ и отъ котораго сжимается сердце. Романъ заканчивается эпилогомъ въ нѣсколько страницъ; этотъ эпилогъ есть и всегда будетъ однимъ изъ образцовъ русской литературы. Прошло восемь лѣтъ. Въ одно весеннее утро Лаврецкій возвращается въ дворянское гнѣздо. Новое поколѣніе поселяетъ его; существа, которыхъ мы оставили дѣтьми, стали въ свою очередь молодыми женщинами и юношами съ новыми чувствами, съ новыми интересами. Лаврецкій, какъ выходецъ съ того свѣта, попадаетъ къ нимъ въ самый разгаръ игры и забавъ. Точно также начался разказъ; кажется, какъ будто мы начали читать его съизнова. Лаврецкій садится на скамью, гдѣ когда-то онъ сидѣлъ рядомъ съ любимой дѣвушкой, и жаль ту руку, которая теперь перебираетъ четки въ обители; юныя птички стараго гнѣзда не знаютъ, что отвѣчать на вопросы этого чуждаго человѣка, помѣшавшаго ихъ веселью: онѣ позабыли исчезающую Лизу, у нихъ много своихъ дѣлъ, и онѣ снова принимаются за игры. Между тѣмъ, какъ одиночество и горе иссушили это человѣческое сердце, тѣ-же выраженія рисуютъ ту-же неизмѣнно юную природу.

новыя и всегда одинаковыя радости новаго поколѣнія дѣтей; словно слышишь повтореніе начальной мелодіи въ финалѣ Шопеновской сонаты. Никогда, быть можетъ, никто не сумѣлъ передать такъ осязательно, живымъ примѣромъ грустный контрастъ между вѣчностью природы и бренностью человѣка; никто еще, съ помощью такихъ удачно выбранныхъ примѣровъ, не давалъ намъ такъ жестоко почувствовать безпощадное дѣйствіе времени. Авторъ такъ тѣсно привязалъ насъ къ людямъ прошлаго, что эти дѣти, новыя пришлецы на пиру жизни, кажутся намъ почти ненавидимыми. Я желалъ бы цѣликомъ цитировать эти страницы, но, отдѣльно отъ предидущаго, онѣ утрачиваютъ свой смыслъ; онѣ имѣютъ цѣпу только благодаря постепенному развитію и подготовленію всего разказа, который увеличиваетъ ихъ силу. Прочитавъ ихъ, такъ и хочется примѣнить къ самому Тургеневу то, что онъ сказалъ въ другомъ мѣстѣ объ одномъ изъ своихъ героевъ. „Онъ обладалъ великой тайной той музыки, которая зовется краспорѣчіемъ; онъ умѣлъ, касаясь извѣстныхъ струнъ сердца, заставить глухо звучать всѣ остальные“.

„Дворянское гнѣздо“ установило репутацію писателя. Свѣтъ такъ странно устроенъ, что поэтъ, какъ и побѣдитель, какъ и женщина, приобретаетъ расположеніе людей не иначе, какъ заставивъ ихъ плакать и страдать. Вся Россія проливали слезы надъ этой книгой; несчастная Лиза сдѣлалась идеаломъ всѣхъ молодыхъ дѣвушекъ. Трудно найти другое романическое произведеніе, которое оказало бы такое громадное вліяніе на цѣлое поколѣніе и на цѣлую страну; подобный примѣръ мы видимъ только съ романомъ Бернарден де-Сенъ Пьера „Paul et Virginie“. Казалось, самого автора долго преслѣдовали созданный имъ могучій типъ. Елена, героиня романа „Наканунъ“, одарена такой же неумолимой женской волей; это та же самая серьезная, сосредоточенная, настойчивая дѣвушка, выросшая какъ попало, въ одиночествѣ, не поддающаяся никакимъ вліяніямъ, свободно располагающая собою, съ полнымъ презрѣніемъ къ препятствіямъ. На этотъ разъ обстоятельства измѣнились: любимый человѣкъ свободенъ, но его отвергаетъ семья дѣвушки. Какъ Лиза идетъ въ монастырь, несмотря на мольбы родныхъ, такъ Елена идетъ къ своему возлюбленному и отдается ему. Она не подозреваетъ ни на минуту, что ея поступокъ можетъ быть дурнымъ, и къ тому же она искушаетъ его постоянствомъ своей преданности, въ теченіе цѣлой жизни, полной испытаній. Въ обрисовкѣ этихъ характеровъ преобладаетъ одна черта, и она выхвачена прямо изъ національнаго темперамента: мужичья слабыхарактеренъ, женщина полна рѣшимости; она идетъ наперекоръ всему, она твердо знаетъ чего хочетъ и поступаетъ по-своему. То, что, по нашимъ понятіямъ, было бы излишней смѣлостью и нескромностью, передано авторомъ съ такой простотой и цѣломудренностью, что поневолѣ видишь въ этихъ поступкахъ лишь свободный порывъ мужественной души; прямодушныя и страстныя дѣвушки, которыхъ онъ создаетъ, способны на все, но не способны трепетать, измѣнять и лгать.

Въ своемъ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, Иванъ Сергѣевичъ выразилъ

ственное влечение сближает Лаврецкого с Лизой. В ту минуту, когда первый, как болѣе опытный, съ ужасомъ узнаетъ какого рода ихъ взаимное чувство, газетная статья извѣщаетъ его о смерти жены. Онъ свободенъ, и въ тотъ же вечеръ, въ саду стараго дома, признаніе вырывается изъ обоихъ сердецъ, какъ спѣлый плодъ, падающій съ дерева. Какъ эта сцена прелестна, естественна и далека отъ банальности! Счастье ихъ длится всего часъ; извѣстіе оказалось ложнымъ: на другой же день жена Лаврецкаго является врасплохъ. Легко угадать всѣ перипетіи положенія, но нельзя угадать одного—это вѣжності, тонкости, съ которой романистъ проводитъ эти двѣ безусловно честныя души сквозь опасность. Жертва припесена съ обѣихъ сторонъ, рѣшительно—со стороны молодой дѣвушки, и съ мучительной борьбой—со стороны мужчины. И вотъ мы начинаемъ надѣяться, что исчезнетъ помѣха въ лицѣ жены, достойной презрѣнія: наименѣе увлекающійся читатель—и тотъ умоляетъ автора дать ей умереть. Увы! любители благополучныхъ развязокъ могутъ закрыть книгу. Г-жа Лаврецкая не умираетъ, она продолжаетъ жить и живетъ очень весело; Лиза узнала въ жизни одну лишь возможность любви, появившуюся и исчезнувшую вмѣстѣ со звѣздами короткой майской ночи; она и не требуетъ вознагражденія въ жизни, она возноситъ къ Богу свое раненое сердце и заживо погребаетъ себя въ монастырѣ.

Вотъ добродѣтельная исторія для дѣвицъ во вкусѣ г-жи Котенъ, скажутъ, пожалуй, нѣкоторые. Разказапная вкратцѣ тема дѣйствительно имѣетъ нѣсколько старосвѣтскій характеръ; но надо прочесть развитіе этой темы, чтобы видѣть съ какимъ новымъ искусствомъ, съ какой заботой о дѣйствительности, романистъ обновилъ свой сюжетъ въ широкомъ теченіи человѣческой правды. Ни малѣйшей сантиментальной пошлости въ этой грустной повѣсти, никакихъ эффектныхъ вспышекъ страсти; преобладаетъ тонъ цѣломудренный, сдержанный, глубокое, скрытое чувство, которое постепенно возрастаетъ и отъ котораго сжимается сердце. Романъ заканчивается эпилогомъ въ нѣсколько страницъ; этотъ эпилогъ есть и всегда будетъ однимъ изъ образцовъ русской литературы. Прошло восемь лѣтъ. Въ одно весеннее утро Лаврецкій возвращается въ дворянское гнѣздо. Новое поколѣніе населяетъ его; существа, которыхъ мы оставили дѣтьми, стали въ свою очередь молодыми женщинами и юношами съ новыми чувствами, съ новыми интересами. Лаврецкій, какъ выходецъ съ того свѣта, попадаетъ къ нимъ въ самый разгаръ игръ и забавъ. Точно также начался разсказъ; кажется, какъ будто мы начали читать его слышова. Лаврецкій садится на скамью, гдѣ когда-то онъ сидѣлъ рядомъ съ любимой дѣвушкой, и жаль ту руку, которая теперь перебираетъ четки въ обители; юныя птички стараго гнѣзда не знаютъ, что отвѣчать на вопросы этого чужаго человѣка, помѣнавшаго ихъ веселью: онѣ позабыли исчезнувшую Лизу, у нихъ много своихъ дѣлъ, и онѣ снова принимаются за игры. Между тѣмъ, какъ одиночество и горе иссушили это человѣческое сердце, тѣ-же выраженія рисуютъ ту-же неизмѣнно юную природу.

новыя и всегда одинаковыя радости новаго поколѣнія дѣтей; словно слышишь повтореніе начальной мелодіи въ финалѣ Шопеновской сонаты. Никогда, быть можетъ, никто не сумѣлъ передать такъ осязательно, живымъ примѣромъ грустный контрастъ между вѣчностью природы и бренностью человѣка; никто еще, съ помощью такихъ удачно выбранныхъ примѣровъ, не давалъ намъ такъ жестоко почувствовать безпощадное дѣйствіе времени. Авторъ такъ тѣсно привязалъ насъ къ людямъ прошлаго, что эти дѣти, новыя приплесцы на пиру жизни, кажутся намъ почти ненавидными. Я желалъ бы цѣлкомъ цитировать эти страницы, но, отдѣльно отъ предъидущаго, онѣ утрачиваютъ свой смыслъ; онѣ имѣютъ цѣну только благодаря постепенному развитію и подготовленію всего разсказа, который увеличиваетъ ихъ силу. Прочитавъ ихъ, такъ и хочется пригнѣпить къ самому Тургеневу то, что онъ сказалъ въ другомъ мѣстѣ объ одномъ изъ своихъ героевъ. „Онъ обладалъ великой тайной той музыки, которая зовется краснорѣчіемъ; онъ умѣлъ, касаясь извѣстныхъ струнъ сердца, заставить глухо звучать всѣ остальные“.

„Дворянское гнѣздо“ установило репутацію писателя. Свѣтъ такъ странно устроенъ, что поэтъ, какъ и побѣдитель, какъ и женщина, приобретаетъ расположеніе людей не иначе, какъ заставивъ ихъ плакать и страдать. Вся Россія проливала слезы надъ этой книгой; несчастная Лиза сдѣлалась идеаломъ всѣхъ молодыхъ дѣвушекъ. Трудно найти другое романическое произведеніе, которое оказало бы такое громадное вліяніе на цѣлое поколѣніе и на цѣлую страну; подобный примѣръ мы видимъ только съ романомъ Бернарда де-Сенъ Пьера „Paul et Virginie“. Казалось, самого автора долго преслѣдовалъ созданный имъ могучій типъ. Елена, героиня романа „Наканунѣ“, одарена такой же неумолимой женской волей; это та же самая серьезная, сосредоточенная, настойчивая дѣвушка, выросшая какъ попало, въ одиночествѣ, не поддающаяся никакимъ вліяніямъ, свободно располагающая собою, съ полнымъ презрѣніемъ къ препятствіямъ. На этотъ разъ обстоятельства измѣнились: любимый человѣкъ свободенъ, но его отвергаетъ семья дѣвушки. Какъ Лиза идетъ въ монастырѣ, несмотря на мольбы родныхъ, такъ Елена идетъ къ своему возлюбленному и отдается ему. Она не подозреваетъ ни на минуту, что ея поступокъ можетъ быть дурнымъ, и къ тому же она искупаетъ его постоянствомъ своей преданности, въ теченіе цѣлой жизни, полной испытаній. Въ обрисовкѣ этихъ характеровъ преобладаетъ одна черта, и она выхвачена прямо изъ національнаго темперамента: мужчина слабохарактеренъ, женщина полна рѣшимости; она идетъ наперекоръ всему, она твердо знаетъ чего хочетъ и поступаетъ по-своему. То, что, по нашимъ понятіямъ, было бы излишней смѣлостью и нескромностью, передано авторомъ съ такой простотой и цѣломудренностью, что поневолѣ видишь въ этихъ поступкахъ лишь свободный порывъ мужественной души; прямодушныя и страстныя дѣвушки, которыхъ онъ создаетъ, способны на все, но не способны трепетать, измѣнять и лгать.

Въ своемъ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, Иванъ Сергѣевичъ выразилъ

интимную сторону своего сердца, излил тайный источник накопившихся в его сердце слез за время его молодости, тот источник, который мучит поэта до тех пор, пока не выльется в его творении. Затѣмъ онъ принялся снова изучать общественную жизнь, и среди великаго умственного движенія, которое потрясло Россію около 1860 года, наканунѣ освобожденія крестьянъ, написалъ романъ „Отцы и дѣти“. Известно, что эта книга составила эпоху в исторіи русской мысли. Романисту выпало на долю рѣдкое счастье—подмѣтить новое состояніе духа и воплотить его въ незабвенномъ типѣ, а еще болѣе рѣдкое счастье—окрестить это состояніе духа тѣмъ именемъ, котораго всѣ напрасно донскивались; это былъ успѣхъ Христофора Колумба, соединенный съ успѣхомъ Америко Веспуччи. „Что такое Базаровъ? спрашиваетъ одинъ изъ отцовъ, хорошій человѣкъ стараго поколѣнія. „Ты желаешь знать?“ отвѣчаетъ ему его сынъ, другъ и ученикъ ужаснаго медицинскаго студента: Онъ нигилистъ.—Нигилистъ?.. проговорилъ Николай Петровичъ. Это отъ латинскаго nihil, ничего, сколько я могу судить; стало быть, это слово означаетъ человѣка, который ничего не признаетъ?—Скажи, который ничего не уважаетъ, подхватилъ другой старикъ.—Который ко всему относится съ критической точки зрѣнія, замѣтилъ молодой Кирсановъ.—А это не все равно?—Нѣтъ ни все равно. Нигилистъ, это человѣкъ, который не склоняется ни передъ какими авторитетами, который не принимаетъ ни одного принципа на вѣру, какимъ бы уваженіемъ ни былъ окруженъ этотъ принципъ“.

Добрѣтъ Кирсановъ, классикъ 20-хъ годовъ, не шелъ дальше латыни. Но чтобы лучше понять въ чемъ дѣло, мы доберемся до самаго корня этого слова и до той философіи, которую оно резюмируетъ. Нигилизмъ—это то же, что индусская *нирвана*,—когда первобытный человѣкъ, сознавая могущество материн и туманность нравственнаго міра, въ отчаяніи впадаетъ въ отрицаніе. Нирвана необходимо порождаетъ ярое противодѣйствіе побѣжденнаго, слѣное усиліе уничтожить эту вселенную, которая давитъ и смущаетъ его. Максъ Мюллеръ, возвращаясь къ опредѣленію Бюрнуфа, увѣряетъ, что *нирвана* означаетъ по настоящему: „задуть горящую свѣчу“. Развѣ это не вѣрно по отношенію къ этимъ несчастнымъ, которые стремятся погасить въ Россіи свѣтъ и цивилизацію?\*) Но я не стану увлекаться вопросомъ, который требовалъ бы обширныхъ разсужденій. Нигилизмъ, какимъ онъ далъ себя знать въ послѣдствіи, находится лишь въ зародышномъ состояніи въ знаменитомъ романѣ Тургенева.

Я хочу только обратить вниманіе читателя еще на другое слово романиста, удивительно мѣткое и, быть можетъ, болѣе краснорѣчивое, нежели первое, получившее такую громкую извѣстность. Какъ

\*) Слово „нигилизмъ“ и ходячія мнѣнія о русскихъ нигилистахъ привели Де-Вогюэ къ ошибочному выводу. Прекрасной иллюстраціей того, какъ понимался у насъ нигилизмъ могутъ служить статьи Писарева. Русскіе нигилисты были не тасителями, а носителями свѣта, расчищающими своимъ отрицаніемъ засоренный путь нашей исторической жизни.

и во всѣхъ романахъ этого автора, и тутъ молодой дѣвушка принадлежитъ прекрасная роль, полная чувства и разсудка. Однажды, бесѣдуя съ другомъ Базарова, наивнымъ мальчикомъ, считающимъ себя инглистомъ, потому только, что онъ повторяетъ афоризмы своего учителя, эта дѣвушка вдругъ обращается къ нему: „А знаете-ли, я чувствую, что вамъ Базаровъ и мнѣ чужой, и я ему чужая... да и вы ему чужды.—Почему?—Какъ вамъ сказать?.. Онъ хищный, а мы съ вами ручные“. Это сравненіе объясняетъ лучше цѣлыхъ томовъ разсужденій, отънютъ, отдѣляющій нигилизмъ отъ однородныхъ умственныхъ болѣзней, отъ которыхъ страдало человѣчество, начиная отъ временъ Экклезиаста и кончая нашимъ вѣкомъ. Базаровъ, циническій, озлобленный престолюдишъ, испровергающій все и вся односложными приговорами, языкомъ на половину ученымъ, на половину мужицкимъ, человѣкъ, впрочемъ, честный, не способный на низкій поступокъ, подавляющій въ себѣ изъ гордости всѣ сердечные инстинкты,—въ сущности дикарь, сразу цивилизовавшійся и похитившій у насъ оружіе. Герой Тургенева имѣетъ много общихъ чертъ съ краснокожимъ Фениморомъ Куэра, но только это краснокожий, охъяненный не „огненной водой“, а тирадами Гегеля и Бюхнера и прогуливающейся въ цивилизованномъ мірѣ съ медицинскимъ инструментомъ вмѣсто томагавка. Когда сыновья Базарова будутъ распространять пропаганду дѣломъ, они покажутся съ виду совершенно такими же, какъ наши революціонеры на Западѣ; но приглядитесь къ нимъ поближе, и васъ снова поразитъ разница между дикимъ животнымъ и животнымъ ручнымъ. Посмотрите, какъ русский нигилизмъ ведетъ себя въ двухъ великихъ испытаніяхъ—въ любви и смерти. Кокетка, женщина красивая, скучающая, привлеченная оригинальностью подобной побѣды—сама отчасти волчица, какъ многія изъ героинь Тургенева,—начинаетъ заигрывать съ дикимъ человѣкомъ. И вотъ онъ раненъ въ сердце, онъ, ироническій хулиатель идеала, онъ, который при первой встрѣчѣ съ этой женщиной, чтобы выразить свое восхищеніе, не нашелъ иного слова, кромѣ грубаго восклицанія: „Роскошное тѣло, ей-ей! какъ бы оно было хорошо въ анатомическомъ музеѣ!“—Базаровъ возмущается противъ чувства, непримѣнимаго ни къ одному изъ его двухъ методовъ—критическому изслѣдованію или полному отрицанію. Затѣмъ побѣжденный горемъ, онъ дѣйствуетъ по способу волка, подстерегающаго добычу, удаляется съ недоверіемъ, потомъ приближается, опестившись, мрачный и распаленный. Въ этихъ уловкахъ онъ пропускаетъ удобные моменты, которыми другой воспользовался бы съ успѣхомъ, и вдругъ, совершенно нестати, кидается на свою добычу, какъ животное; кокетка ускользаетъ отъ него, и онъ уходитъ, похутивъ голову, скрывая въ себѣ уязвленную гордость. А смерть Базарова! Онъ умираетъ отъ зараженія трупнымъ ядомъ, онъ знаетъ, что нѣтъ ему спасенія; эта мрачная, безмолвная, надменная агонія, опять-таки агонія дикаго звѣря, издыхающаго отъ пули въ чащѣ лѣса; это точь въ точь „Смерть волка“, съ его отчаяннымъ стоицизмомъ, описанная у Виньи.

Романистъ употребилъ все свое искусство, чтобы создать лич-

ность, достойную жалости, но отнюдь не отталкивающую. Уничтожьте одну только черту картины, и это презрѣніе ко всему, что мы уважаемъ, это отсутствіе человѣчности, покажутся намъ нестерпимыми. У домашняго животнаго это было бы развращенностью, забвеніемъ заученныхъ правилъ; у дикаго животнаго—это инстинктъ, врожденная необузданность. Авторъ искусно обезоруживаетъ нашу мораль передъ этой жертвой рока, передъ этимъ умомъ, слишкомъ быстро наполненнымъ наукой, словно апоплексіей. Чувствительность поэта вознаграждаетъ себя въ изображеніи типовъ „отцовъ“; это добрые люди стараго закала, робко наблюдающіе, какъ бурлитъ новый потокъ, и старающіеся сдерживать его силой свой нѣжности. Никогда еще Тургеневъ не доводилъ до такой высоты творческую силу, даръ тонкой наблюдательности. Миѣ хотѣлось бы привести нѣсколько примѣровъ, а у него это трудное дѣло, такъ какъ онъ пренебрегаетъ бравурными описаніями, бьющими на эффектъ; каждая подробность драгоценна лишь въ связи съ цѣлымъ. Впрочемъ, возьмемъ два эпизодическихъ силуэта, промелькнувшіе въ рассказѣ съ поразительной правдой. Вотъ, во-первыхъ, личность, вполне принадлежащая той странѣ и тому времени, высокопоставленное лицо изъ С.-Петербурга, будущій государственній человѣкъ, пріѣхавшій въ провинцію развивать администрацію:

„Матвѣй Ильичъ былъ изъ „молодыхъ“, то-есть ему недавно минуло сорокъ лѣтъ, но онъ уже мѣтилъ въ государственные люди и на каждой сторонѣ груди носилъ по звѣздѣ. Одна, правда, была иностранная, изъ плохенькихъ. Подобно губернатору, котораго онъ пріѣхалъ судить, онъ считался прогрессистомъ и, будучи уже тузомъ, не походилъ на большую часть тузовъ. Онъ имѣлъ о себѣ самое высокое мнѣніе; тщеславіе его не знало границъ, но онъ держался просто, глядѣлъ одобрительно, слушалъ снисходительно и такъ добродушно смѣялся, что на первыхъ порахъ могъ даже прослыть за „чуждаго малаго“. Въ важныхъ случаяхъ онъ умѣлъ, какъ говорится, задать пыли, „Энергія необходима, говаривалъ онъ тогда, „l'énergie est la première qualité d'un homme d'état“, а со всѣмъ тѣмъ онъ обыкновенно оставался въ дуракахъ, и всякій нѣсколько опытный чиновникъ садился на него верхомъ. Матвѣй Ильичъ отзывался съ большимъ уваженіемъ о Гизо и старался внушить всѣмъ и каждому, что онъ не принадлежитъ къ числу рутинеровъ и отсталыхъ бюрократовъ, что онъ не оставляетъ безъ вниманія ни одного важнаго проявленія общественной жизни... Всѣ подобныя слова были ему хорошо извѣстны. Онъ даже слѣдилъ, правда, съ небрежной величавостью, за развитіемъ современной литературы: такъ взрослый человѣкъ, встрѣтивъ на улицѣ процессію мальчишекъ, иногда присоединяется къ ней. Въ сущности Матвѣй Ильичъ не далеко ушелъ отъ тѣхъ государственныхъ мужей Александровскаго времени, которые, готовясь идти на вечеръ къ г-лѣ Свѣчиной, дивившей тогда въ Петербургѣ, прочитывали поутру страницу изъ Кондильяка; только пріемы у него были другіе, болѣе современные. Опъ былъ ловкій придворный, большой хитрецъ, и больше ничего; въ дѣлахъ толку

не зналъ, ума не имѣлъ, а умѣлъ вести свои собственные дѣла: тутъ ужъ никто не могъ его осѣдлать, а вѣдь это главное“.

А вотъ еще замѣчательно толкій и характерный эпизодъ женщины, княгини Р.:

„Она слыла за легкомысленную кокетку, съ увлеченіемъ предавалась всякаго рода удовольствіямъ, танцевала до упаду, хохотала и пугила съ молодыми людьми, которыхъ принимала передъ обѣдомъ въ полумрачѣ гостиной, а по ночамъ плакала и молилась, не находила нигдѣ покою, и часто до самаго утра металась по комнатѣ, тоскливо ломая руки, или сидѣла, вся блѣдная и холодная, надъ псалтыремъ. День наступалъ, и она снова превращалась въ свѣтскую даму, снова выѣзжала, смѣялась, болтала и точно бросалась на встрѣчу всему, что могло доставить ей малѣйшее развлеченіе... Даже тогда, когда она отдавалась безвозвратно, все еще какъ будто оставалось что-то завѣтное и недоступное, куда никто не могъ проникнуть. Что гнѣздилося въ этой душѣ—Богъ вѣсть! Казалось, она находилась во власти какихъ-то тайныхъ, для ней самой невѣдомыхъ силъ; онѣ играли ею, какъ хотѣли; небольшой умъ не могъ сладить съ ихъ прихотью. Все ея поведеніе представляло рядъ несообразностей; единственные письма, которыя могли бы возбудить справедливыя подозрѣнія ея мужа, она написала къ чело-вѣку почти ей чужому, а любовь ея отзывалась печалью; она уже не смѣялась и не шутила съ тѣмъ, кого избирала, а слушала его и глядѣла на него съ недоумѣніемъ. Иногда, болышею частью, внезапно это недоумѣніе переходило въ холодный ужасъ; лицо ея принимало выраженіе мертвенное и дикое; она запиралась у себя въ спальнѣ, и горничная ея могла слышать, прижавъ ухомъ къ замку, ея глухія рыданія“.

Занимаясь своими крупными произведеніями, Иванъ Сергѣевичъ отъ времени до времени возвращался къ бѣглымъ и простымъ очеркамъ, которые составили его славу въ „Запискахъ Охотника“. Въ эти трудолюбивые годы имъ были написаны прелестныя повѣсти, столь различныя по источнику вдохновенія: „Муму“, „Затишьѣ“, „Три встрѣчи“, „Первая любовь“ и много другихъ; это легкія акварели, повѣшанныя въ промежуткахъ между большими картинами въ богатой картинной галлерей. Это—эскизы, часто созданные изъ пустяка, изъ ничего, изъ какой-нибудь черты крестьянскихъ нравовъ, мимолетной встрѣчи, внутренняго видѣнія; тонкій художникъ превосходитъ въ передачѣ этихъ полутоновъ, этихъ тонкихъ чертъ, которыя нѣжно рисуютъ какой-нибудь образъ, какое-нибудь горе, движеніе сердца. Я не знаю ничего столь законченнаго въ этомъ родѣ, какъ маленькая повѣсть „Ася“, въ шестьдесятъ страницъ, не болѣе. Это—воспоминаніе изъ студенческой жизни въ Германіи, робкая любовь, едва сознающая самое себя. Ася—русская дѣвушка, ребенокъ дикій, причудливый, живой, какъ птичка; разъ прочитавъ эту повѣсть, невозможно забыть эту странную дѣвушку. Студентъ встрѣчается съ ней, влюбляется въ нее, но она этого не знаетъ, и, покуда онъ колеблется—отнести-ли къ ней серьезно, оскорбленный

ребенокъ вдругъ исчезаетъ; человекъ, понявшій ее лишь тогда, когда потерялъ ее, оплакиваетъ эту исчезнувшую тѣнь. Привожу на удачу нѣсколько строкъ изъ этой поэмы въ прозѣ, именно начало зарождающагося чувства: молодые люди возвращаются вечеромъ съ прогулки на берегахъ Рейна:

„Я глядѣлъ на нее, всю облитую яснымъ солнечнымъ лучемъ, всю успокоенную и кроткую. Все радостно сіяло вокругъ насъ, внизу, надъ нами,—небо, земля и вода; самый воздухъ, казалось, былъ насыщенъ блескомъ.

— Посмотрите, какъ хорошо!—сказалъ я, невольно понизивъ голосъ.

— Да, хорошо!—такъ же тихо отвѣчала она, не смотря на меня. Еслибъ мы съ вами были птицы—какъ-бы мы взвились, какъ-бы полетѣли... Такъ-бы и утонули въ этой синевѣ... Но мы не птицы.

— А крылья могутъ у насъ вырасти,—возразилъ я.

— Какъ такъ?

— Поживите—узнаете. Есть чувства, которыя поднимаютъ насъ отъ земли. Не беспокойтесь, у васъ будутъ крылья.

— А у васъ были?

— Какъ вамъ сказать... кажется, до сихъ поръ я еще не леталъ.

Ася задумалась. Я слегка наклонился къ ней.

— Умѣете вы вальсировать?—спросила она вдругъ.

— Умѣю,—отвѣчалъ я нѣсколько озадаченный.

— Такъ пойдемте, пойдемте... Я попрошу брата сыграть намъ вальсъ... Мы вообразимъ, что мы летаемъ, что у насъ выросли крылья.

Она побѣжала къ дому. Я побѣжалъ влѣдъ за нею—и нѣсколько мгновеній спустя мы кружились въ тѣсной комнатѣ, подъ сладкіе звуки Ланнера... Я ушелъ поздно. Выѣхавши на средину Рейна, я попросилъ перевозчика пустить лодку внизъ по теченію. Старикъ поднялъ весла—и царственная рѣка понесла насъ. Глядя кругомъ, слушая, вспоминая, я вдругъ почувствовалъ тайное безпокойство на сердцѣ... поднялъ глаза къ небу, но и въ небѣ не было покоя; испещренное звѣздами, оно все шевелилось, двигалось, содрогалось; я склонился къ рѣкѣ... но и тамъ, въ этой темной, холодной глубинѣ, тоже колыхались, дрожали звѣзды; тревожное оживленіе мнѣ чудилось повсюду—и тревога росла во мнѣ самомъ. Я облокотился на край лодки!.. Шопотъ вѣтра въ моихъ ухахъ, тихое журчанье воды за кормою меня раздражали и свѣжее дыханье волны не охлаждало меня; соловей запѣлъ на берегу и заразилъ меня сладкимъ ядомъ своихъ звуковъ. Слезы закипали у меня на глазахъ, но то не были слезы безпредметнаго восторга. Что я чувствовалъ, было не то смутное, еще недавно испытанное ощущеніе всеобъемлющихъ желаній, когда душа ширится, звучитъ, когда ей кажется, что она все понимаетъ и все любитъ... Нѣтъ! во мнѣ зажглась жажда счастья. Я еще не смѣлъ назвать его по

имени,—по счастью до пресыщенія—вотъ чего хотѣлъ я, вотъ о чемъ томился... А лодка все неслась и старикъ перевозчикъ сидѣлъ и дремалъ, наклонясь надъ веслами“.

### III.

Славное время наступило влѣдъ за 1860 годомъ! Освобожденіе крестьянъ,—мечта Тургенева,—стало свершившимся фактомъ, а это было только зарей великихъ реформъ. Отовсюду новый свѣтъ потоками врывается въ темную, заросшую мохомъ машину; всюду слышится звукъ новыхъ пружинокъ, приводящихъ ее въ движеніе, всюду веселое пробужденіе долго сдерживаемыхъ силъ и надеждъ. Эти годы, столь рѣшительные въ исторіи страны, имѣли не менѣе рѣшительное значеніе въ частной жизни Ивана Сергѣевича: тогда онъ отдалъ всю свою жизнь, какъ дѣвственницы отдаютъ свою, безвозвратно, до самой смерти. Отторгнутый отъ родины всецѣлной привязанностью къ женщинѣ, онъ покинулъ Россію, куда возвращался лишь въ рѣдкіе промежутки, и поселился въ Баденѣ, потомъ въ Парижѣ, среди насъ. Судьба осуществила всѣ желанія его, какъ человека, какъ писателя, какъ патриота; онъ присутствовалъ при возрожденіи своего отечества, слава преслѣдовала его и на Западѣ, сочиненія его переводились на всѣ языки. Можно было бы подумать, что если мы услышимъ его голосъ снова, послѣ этихъ лѣтъ, проведенныхъ въ молчаніи и покоѣ, онъ заговоритъ словами Симеона Богопріимца. Но не такова наша жалкая человѣческая природа, а въ особенности ненасытная душа поэта. Отрада нашего сердца состоитъ въ томъ, чтобы лелѣять мечту въ теченіе всей молодости, а не въ томъ, чтобы видѣть ее осуществленною въ годы старости. Что намъ дѣлать съ обездѣвченною дѣйствительностью? Тургеневъ слова выступилъ на арену въ 1868 году съ повѣстью „Дымъ“. Въ ней видѣнъ тотъ же талантъ, но еще болѣе созрѣвшій и обаятельный; за то въ этомъ новомъ произведеніи уже не сквозитъ прежняя кроткая и вѣрующая душа, какъ прежде. Съ первыхъ же страницъ книги сказывается разочарованіе. Еслибъ дѣло шло о другомъ человѣкѣ, мы сказали бы, что у него разлилась желчь; по говоря о Тургеневѣ, это выраженіе преувеличено: въ его темпераментѣ не было желчности. Это горькія насмѣшки и выходы обманутаго идеалиста, удивляющагося, что его завѣтныя идеи, примѣненныя къ людямъ, не сдѣлали ихъ совершенствами. Раздраженіе, вызванное этимъ разочарованіемъ, доходитъ иногда до несправедливости; нѣкоторыя фигуры очерчены слишкомъ мрачными красками и менѣе правдивы, нежели образы, выведенные въ прежнихъ произведеніяхъ. Въ „Дымѣ“ представленъ особый міръ и русскіе, проживающіе за границей и не всегда приносящіе съ собою на чужбину лучшія качества своего отечества: тутъ и вельможи, и двусмысленныя женщины, и студенты, и конспираторы. Дѣйствіе происходитъ въ Баденѣ, гдѣ авторъ могъ на досугъ изучить это общество. Правда, въ этой комической галлерей „генераловъ курзала“, княгинь, проводящихъ время въ пикни-

какъ, хвастливыхъ славянофиловъ, революціонныхъ агентовъ, есть много чертъ, схваченныхъ живьемъ съ натуры, но общая картина нѣсколько страдаетъ шаржемъ; отсутствіе мѣры тѣмъ болѣе чувствительно, что по мысли автора, эти личности вовсе не исключительныя типы, но именно вѣрный сколокъ съ высшего и низшаго русскаго общества.

Кромѣ того, манера автора измѣнилась. Прежде, раскрывая передъ нами борьбу идей, онъ оставлялъ насъ судьями на полѣ сраженія; теперь же онъ самъ становится на наше мѣсто и осторожно навязываетъ свое мнѣніе. Для романиста и для драматурга есть два способа изложенія нравственныхъ тезисовъ: съ личнымъ вмѣшательствомъ и безъ него. Возьмемъ примѣры, всѣмъ знакомые. Въ романѣ „les Misérables“ два противоположныхъ воззрѣнія на долгъ и добродѣтель, олицетворенные Жапомъ Вальжапомъ и Жаверомъ; мы, пожалуй, могли бы поколебаться въ ихъ оцѣнкѣ, но авторъ клонитъ на одну сторону всей тяжестью своего краснорѣчія: онъ обоготворяетъ одно изъ этихъ воззрѣній и унижаетъ другое, онъ насилуетъ нашъ приговоръ. Напротивъ того, въ комедіи „Le gendre de Mr. Poirier“, два различныхъ способа пониманія чести, два совершенно различныхъ міра идей—у маркиза Преля и у его тестя; но авторъ ступешвывается: онъ совершенно одинаково освѣщаетъ эти двѣ личности, ихъ достоинства, ихъ смѣшныя стороны, слабые и сильные пункты ихъ тезисовъ; до самаго конца мы колеблемся, на чью сторону встать. Интересъ драмы протекаетъ изъ этого столкновенія понятій. Я предпочиталъ этотъ второй способъ; по-моему, онъ требуетъ больше искусства, онъ ближе къ дѣйствительной жизни, гдѣ истина никогда не бываетъ ясна, гдѣ добро и зло тѣсно переплетаются во всѣхъ лагерьяхъ. Тургеневъ держался этой справедливой методы въ своихъ первыхъ этюдахъ общественной жизни; въ послѣднихъ же, въ „Дымѣ“ и „Нови“ явно протлидываетъ личность автора. Въ „Дымѣ“, одному изъ второстепенныхъ дѣйствующихъ лицъ, Потугину, поручена задача высказывать мысль писателя и заключать дебаты. Сдѣлавъ эти оговорки, я признаю, что замѣчанія Потугина, по большей части блещутъ остроуміемъ и здравымъ смысломъ. „Западникъ“ издѣвается надъ своими bêtes noires славянофилами, выставляетъ въ смѣшномъ видѣ національныя слабости и въ особенности манію утверждать, что вещи, самыя обыкновенныя, принимаютъ какое-то мистическое свойство, коснувшись русской почвы. Истопивъ свой запасъ стрѣлъ, романистъ завязываетъ любовную интригу, и здѣсь, какъ и всегда, является знатокомъ человѣческаго сердца. Но и въ этомъ нашъ авторъ измѣнилъ свою манеру. Прежде, онъ описывалъ съ любовью исключительно дѣвственныя, чистыя чувства; женщина интересовала его только въ образѣ молодой дѣвушки; онъ изображалъ честную любовь, идущую въ жизнь, высоко поднимая голову, даже если противъ нея возстановляется мнѣніе свѣта. Впервые, въ „Отцахъ и дѣтихъ“ онъ далъ роль кокетки молодой вдовѣ, да и то съ какими предосторожностями! Теперь же, въ „Дымѣ“ и „Вешнихъ водахъ“, онъ рисуетъ бурныя страсти съ ихъ терза-

ніями, съ ихъ ложью, съ ихъ бездонными пропастями. И тамъ есть тоже молодая дѣвушка; авторъ держитъ ее въ резервѣ, чтобы при развязкѣ спасти раскаявагося грѣшника; но это уже не болѣе, какъ блѣдная фигура, отодвинутая на задній планъ. Найдутся, можетъ быть, читатели, которые предпочтутъ эти шумныя бури чудной гармоніи первыхъ романовъ. Это дѣло вкуса, и я не хочу умалять достоинства „Дыма“, который остается образцовымъ произведеніемъ въ своемъ родѣ; скажу только, что на склонѣ лѣтъ ясная душа поэта отражала въ себѣ тяжелыя тучи и пасмурныя небеса. Въ концѣ „Вешнихъ водъ“, послѣ дивной сцены обольщенія, правдивой какъ сама жизнь, въ которой такъ вѣрно выразилась слабость мужчины и дьявольское могущество женщины, слѣдуютъ нѣсколько страницъ, полныхъ такой горечи, что чувствуешь жалость къ писателю, который могъ создать ихъ.

Въ 1877 году Тургеневъ помѣстилъ въ „Вѣстникѣ Европы“ свой послѣдній большой романъ „Новь“. Если память не измѣняетъ мнѣ, онъ сперва появился во французскомъ переводѣ въ газетѣ „Temps“, какъ будто для того, чтобы ощупать почву; затѣмъ и оригиналъ отважился появиться въ Россіи, и не встрѣтилъ препятствій. Вотъ гдѣ удобно можно измѣрить разстояніе, пройденное съ того дня, какъ цензура такъ сильно взволновалась статьей о Гоголѣ\*). Въ своемъ новомъ произведеніи, романистъ рѣшился ступить на горячую золу, на путь, зачастую ведущій въ Сибирь. У него явилось неудержимое желаніе описать подпольный міръ, уже начинавшій въ то время треволжить имперію; когда-то онъ первый заговорилъ о немъ въ литературѣ и въ теченіе двадцати пяти лѣтъ изслѣдовалъ всѣ теченія идей, излившіяся изъ русской почвы. Теперь наблюдатель долженъ былъ продолжать свою задачу, показавъ намъ логическій исходъ всѣхъ этихъ теченій; а такъ какъ они скрывались подъ землю, приходилось слѣдовать за ними и храбро спуститься въ преисподнюю. Попытка была не вполне счастлива—она оказалась преждевременной. Въ ту эпоху, когда писалъ Тургеневъ, десять лѣтъ тому назадъ, этотъ міръ былъ еще слишкомъ скрытъ, слишкомъ недоступенъ; его стремленія были еще слишкомъ смутны, чтобы можно было дать имъ осязательную форму: очертанія терялись въ потемкахъ и не могли быть выведены на свѣтъ Божій. Даже и теперь я не думаю, чтобы этотъ трагическій сюжетъ былъ достаточно зрѣлъ для писателя, заботящагося о правдѣ и справедливости. Пока еще онъ принадлежитъ бульварнымъ драматургамъ,— пусть они ищутъ въ немъ животрепещущихъ фикцій; къ этому искусству низшаго разбора относятся не такъ строго, отъ него не требуютъ точности,

\*) Послѣ смерти Гоголя—1852 г.—цензура запрещала говорить въ печати о нашемъ писателѣ-сатирикѣ, „Ревизорѣ“ котораго она выносила только потому, что онъ былъ одобренъ Высочайшимъ смѣхомъ Николая I. Возмущенный постыднымъ молчаніемъ Тургеневъ написалъ статью, посвященную памяти Гоголя и помимо петербургской цензуры, послалъ въ Москву, гдѣ она и была напечатана. Но авторъ ея попался за это арестомъ и былъ высланъ изъ столицы.

лишь бы оно позабавило на минуту. Для романиста-психолога школы Тургенева, для того, кто изучает нравственные задачи, кто добивается до самых тайников души, — остается только сознаться в своем бессилии перед этими невидимыми существами, как сдѣлала когда-то тайная полиція имперіи; тамъ, гдѣ этушь съ природы рѣдко бываетъ возможенъ, тамъ, гдѣ надо дѣйствовать путемъ индукціи, тамъ нечего искать пластическихъ образовъ.

Вотъ почему „Новъ“, по крайней мѣрѣ, въ первой части, отличается какимъ-то сѣрымъ, блеклымъ колоритомъ, составляющимъ рѣзкій контрастъ съ яркими, рельефными образами предъидущихъ сочиненій. Авторъ вводитъ насъ въ кружокъ заговорщиковъ въ Петербургѣ. Одинъ изъ молодыхъ людей поступаетъ въ качествѣ домашняго учителя къ богатому должностному лицу, который увозитъ его въ провинцію. Неждановъ встрѣчаетъ тамъ молодую дѣвушку, дворянку, раздраженную долгими униженіями, такъ какъ хозяйка дома обходится съ ней, какъ съ бѣдной родственницей. Она воспламеняется идеями еще сильнѣе, чѣмъ самой личностью апостола. Оба бѣгутъ въ одинъ прекрасный день и образуютъ родъ свободнаго общества, коммуны, гдѣ люди живутъ, какъ братья съ сестрами, работая надъ великимъ социальнымъ дѣломъ. Они „идутъ въ народъ“ со своими едпомышленниками. Но Неждановъ не подготовленъ для страшной борьбы; это слабый человекъ, мечтатель, поэтъ, тайкомъ проводящій ночи за тетрадкой стиховъ. Истерзанный сомнѣніями и разочарованіями, онъ скоро убѣждается, что онъ жертва недоразумѣній: онъ не любитъ дѣла, ради котораго жертвуетъ собой, не умѣетъ служить ему. Онъ слабо любитъ женщину, которая приноситъ себя въ жертву ему, онъ чувствуетъ, что падаетъ во мнѣніи этого преданнаго существа. Утомленный жизнью, слишкомъ гордый, чтобы отступить, настолько великодушный, что желаетъ во что бы то ни стало избавить отъ себя свою подругу, прежде чѣмъ въ минуту увлеченія она не сдѣлалась его любовницей, Неждановъ лишаетъ себя жизни. Онъ угадалъ, что одинъ изъ его друзей, болѣе стойкій, нежели онъ самъ, втайнѣ любитъ Маріанну и что она съ своей стороны полюбитъ его; умирая, онъ соединяетъ руки этихъ двухъ существъ, одушевленныхъ одинаковымъ мужествомъ. Романъ заканчивается неудавшимся предпріятіемъ, которое доказываетъ все бессиліе, все ребячество революціонной пропаганды въ народѣ\*). Этотъ Неждановъ, какъ бы невѣроятенъ онъ ни казался намъ, — тѣмъ не менѣе, самый живой и самый правдивый характеръ въ романѣ; онъ списанъ прямо съ природы, выхваченъ изъ глубины нравственныхъ немощей русской молодежи.

Другія фигуры революціонеровъ витаютъ въ полумракѣ, проходятъ мимо, шепча непонятныя вещи. Представителей высшихъ классовъ, официальнаго міра авторъ третируетъ съ еще большей жестокостью, чѣмъ въ „Дымѣ“; они одарены самонадѣянностью, все-

\*) Т. е. той пропаганды, съ которой русская интеллигенція, въ кампаторванная отъ народа, подходила къ нему въ 70 годы. Фед.

возможными смѣнными сторонами и ни однимъ достоинствомъ. Изъ этой предвзятой мысли автора рождаются каррикатуры, отступенчество равновѣсія и фальшивое освѣщеніе въ дѣломъ. За то апостолы по-вой вѣры окружены ореоломъ великодушія и преданности. Между эгоизмомъ обыденной жизни, съ одной стороны, и между живой вѣрой и яркимъ самоотреченіемъ — съ другой, писатель-идеалистъ не могъ сдѣлать иного выбора. Пылкость его сердца увлекаетъ его безъ всякой осторожности на ту сторону, гдѣ безкорыстіе болѣе очевидно. Онъ придаетъ этимъ грубымъ, дѣльнымъ натурамъ нѣжность чувства, которая сообщаетъ имъ поэтическій характеръ; онъ скрываетъ отъ насъ, да и отъ самого себя, возмутительные контрасты, грубые инстинкты. Онъ былъ ближе къ дѣйствительности, изобразивъ фигуру энергическаго Базарова, смахивающаго на волка, который рыщетъ по лѣсамъ. Мнѣ кажется, что Тургеневъ, рисуя характеры пшпистовъ, былъ введенъ въ заблужденіе своей чувствительностью; онъ поступалъ разсудительнѣе, отдавая справедливость ихъ идеямъ, ихъ пустымъ разглагольствованіямъ, ихъ смѣлымъ надеждамъ. Лучшія страницы романа тѣ, гдѣ авторъ доказываетъ намъ фактами невозможность, несбыточность соприкосновенія пропагандистовъ съ народомъ. Отвлеченныя разсужденія развиваются о крѣпкія мужичьи головы. Неждановъ хочетъ проповѣдывать въ кабацѣ, мужики подпавляютъ его; онъ пьянѣетъ при второмъ стаканѣ водки и позорно удаляется, преслѣдуемый насмѣшками и бранью. Другой пропагандистъ, попробовавшій было устроить возмущеніе въ своей деревнѣ, схваченъ крестьянами и отданъ въ руки правосудія. Въ иные моменты Тургеневъ касается самаго принципа революціоннаго заблужденія. Его нигилисты, въ необдуманномъ порывѣ, хотятъ сразу поднять невѣжественную чернь до своего собственнаго умственнаго уровня. Они забываютъ, что одно лишь время способно совершить это чудо; они льстятъ себя увѣренностью, что могутъ замѣнить дѣйствіе времени своими кабалическими формулами; они только надрываются въ этомъ бесполезномъ усилии. Поэтъ все это видитъ, и даетъ намъ это понять, но такъ какъ онъ поэтъ, то онъ соблазняется нравственной прелестью жертвы, независимо отъ ея цѣли, и его снисходительность удваивается въ силу явной бесполезности жертвы.

Здѣсь будетъ кстати коснуться щекотливаго пункта, котораго я не хочу избѣгнуть. Увѣряютъ, что нѣкоторые политическія воспоминанія, возбужденныя чуть-ли не на самой могилѣ писателя, произвели большой переполохъ въ Россіи, и что національная скорбь рискуетъ быть оскверненной горькими упреками. Какъ и слѣдовало ожидать крайняя партія старается перетянуть на свою сторону эту великую тѣнь. Такъ упоминали о поддержкѣ, оказанной Тургеневымъ одной вредной газетѣ\*). Это совершенно неправдоподобно. У Ивана Сергѣевича

\*) Де Вогюэ, прибѣгая здѣсь къ нашему официальному языку, задача котораго пройти черезъ цензурные тиски — вообще довольно трудная, имѣлъ очевидно въ виду поддержку, оказанную Тургеневымъ нелегальному изданію „Впередъ“.

рука была щедрая и открытая, как и сердце его; онъ безъ разбору жертвовалъ всёми немущимъ: достаточно было носить имя русскаго, чтобы быть принятымъ въ его домѣ, чтобы найдти его кошелекъ открытымъ и слышать изъ его устъ ласковое слово, но если онъ и помогаль людямъ, онъ, безъ сомнѣнія, не сочувствовалъ ихъ политикѣ\*). Какъ могъ онъ участвовать въ дикихъ, бесплодныхъ заговорахъ, онъ—западнѣйшій человѣкъ, сторонникъ утонченной цивилизаціи и изящества мысли? Его убѣжденія всегда витали въ эфирномъ либерализмѣ, усвоенномъ въ двадцать лѣтъ изъ нѣмецкихъ университетовъ, и болѣе склонномъ ублаживать себя мечтами, нежели искать примѣненія ихъ на практикѣ. Кромѣ того, достаточно прочесть внимательно „Новъ“, чтобы опредѣлить градусъ, на которомъ Тургеневъ намѣренъ былъ удержаться. Тамъ есть нѣкій Соломинъ, молодой управляющій заводомъ; онъ является представителемъ умѣренныхъ идей и очевидно говорить отъ лица автора. Соломинъ былъ увлеченъ пропагандистами, но его здравый смыслъ указываетъ ему тщетность ихъ усилій. Если онъ и не чувствуетъ влеченія къ чиновникамъ, управляющимъ русскою землею, то онъ не имѣетъ также никакого довѣрія къ этимъ дѣтямъ, которыя ведутъ свою подпольную работу; онъ мало-по-малу отдѣляется отъ нихъ, выходитъ невредимымъ изъ заклочительной катастрофы и отправляется на Уралъ, гдѣ основываетъ заводъ „на кооперативныхъ началахъ“. Не будемъ нескромны, не станемъ спрашивать у добраго Ивапа Сергѣевича—какія это начала. Авторъ желалъ, чтобы его социалистъ былъ послѣдователемъ и интересенъ до конца: онъ пускаетъ его въ кооперацию и предоставляетъ ему вышутываться, какъ знаетъ. Русскіе читатели не требуютъ большаго и всё довольны. Но, право, я слишкомъ распространяюсь о политикѣ поэта. Онъ въ столькихъ отношеніяхъ былъ наивнымъ человѣкомъ, въ благороднѣйшемъ смыслѣ этого слова,—развѣ не могъ онъ быть такимъ же и по части политики? Тѣ, кто стануть спорить на счетъ дѣла его знаменіи, сами рискуютъ заслужить названіе простяковъ. Не слѣдуетъ ни удивляться, ни волноваться, если нѣжная лира звучитъ фальшиво, когда ея струны коснутся грубыя руки политики; остается только не слушать этихъ звуковъ, сохранить надлежащую середину между республикой Платона, изгопявшею поэтовъ, и республикой 1848 года, предлагавшею имъ президентскіе посты.

Тургеневъ написалъ около того же времени еще пять-шесть

\*) Напечатанная въ журналѣ „Минувшіе годы“ кн. VIII за 1908 г. переписка Тургенева съ Лавровымъ открываетъ намъ степень этого согласія и несогласія. „Со всѣми главными положеніями я согласенъ—я имѣю только одно возраженіе и одну apprehension. Мнѣ, кажется, что вы напрасно такъ жестоко нападаете на конституціоналистовъ, либераловъ и даже называете ихъ врагами, мнѣ кажется, что переходъ отъ государственной формы, служащей имъ идеаломъ къ вашей формѣ, ближе и легче, чѣмъ переходъ отъ существующаго абсолютизма, чѣмъ болѣе, что вы сами плохо вѣрите въ насильственные перевороты и отрицаете ихъ пользу“

повѣстей, изъ которыхъ одна—„Степной король Лиръ“ напоминаетъ силой чувства лучшія страницы „Записокъ охотника“. Я не могу останавливаться дольше на этихъ матеріалахъ: пора вернуться назадъ и бросить общій взглядъ на творенія Тургенева. Иванъ Сергѣевичъ помѣстилъ въ нихъ все русское общество; онъ резюмировалъ свои взгляды на это общество въ нѣсколькихъ главныхъ типахъ, которые у него все время не сходятъ со сцены. Разсмотримъ ихъ внимательно. Вся позднѣйшая литература вернулась къ этимъ типамъ, почти не измѣняя ихъ: надо полагать, что они вѣрно передаютъ фязіономію этого общества, по крайней мѣрѣ, какъ само общество смотритъ на себя. Прежде всего выступаетъ крестьянинъ—кроткій, покорный, сонливый, трогательный въ своихъ страданіяхъ, какъ ребенокъ, не знающій, за что онъ страдаетъ; впрочемъ, хитрый и себѣ на умѣ, когда онъ не притупленъ пьянствомъ, порою способный на порывы животной ярости. Потомъ слѣдуютъ интеллигентные и средніе классы, мелкіе помѣщики и между ними представители двухъ поколѣній: старый баринъ, необразованный, съ старыми почтенными традиціями и вмѣстѣ съ тѣмъ съ грубыми пороками, суровый къ рабамъ по старой привычкѣ, самъ раболѣпный, но хоропій человѣкъ въ другихъ отношеніяхъ жизни. Совсѣмъ инымъ представленъ молодой человѣкъ того-же класса: часто онъ бросается въ nihilizmъ, очертя голову, вслѣдствіе слишкомъ быстрога умственнаго роста. Въ большинствѣ случаевъ онъ образованъ, грустенъ, богатъ идеями и бѣденъ дѣйствіями, вѣчно готовится къ работѣ, мучится идеаломъ общественнаго блага, идеаломъ смутнымъ и великодушнымъ, — это любимый типъ русскаго романа. Герой, котораго обожаютъ молодыя дѣвушки и котораго осариваютъ у нихъ романческія женщины—это не блестящій офицеръ, не артистъ, не великолѣпный вельможа: нѣтъ, это почти всегда буржуазный Гамлетъ, честный, образованный, съ спокойнымъ умомъ и слабой волей, возвратившійся изъ-за границы съ научными теоріями объ улучшеніи земли и крестьянской судьбы, жаждущій примѣнить эти теоріи въ своемъ имѣніи. Это самый главный пунктъ: герой романа, который желаетъ приобрести общую симпатію, долженъ непременно возвратиться въ свое имѣніе, чтобы улучшить положеніе земли и быть крестьяннъ. Русскій угадываетъ, что въ этомъ, исключительно въ этомъ, заключается будущность, весь секретъ силы, но, по его собственному признанію, онъ не знаетъ какъ за это взяться. Перейдемъ къ женщинамъ того же класса. О матеряхъ говорить почти нечего. Въ силу какой-то странной, предвзятой мысли, изблччающей какою-нибудь застарѣлую сердечную рану, всѣ матери въ романахъ Тургенева, безъ исключенія, женщины дурныя или смѣшныя. Всѣ сокровища своей поэзіи онъ посвящаетъ молодымъ дѣвушкамъ. Для него краеугольный камень общества—это провинціальная дѣвушка, свободно воспитанная въ скромной средѣ, прямодушная, любящая, вовсе не романтическая, менѣе умная, нежели мужчина, за то болѣе рѣшительная: въ каждомъ романѣ женская воля руководитъ первшностью мужчинъ. Вотъ, въ крупныхъ чертахъ, міръ, изображен-

ный писателемъ, и съ такой жизненной правдой, что читатель восклицаетъ, закрывая книгу: „Если эти люди дѣйствительно жили, они не могли жить иначе!“ Это восклицаніе всегда будетъ лучшей похвалою твореніямъ фантазіи.

Для полноты картины недостаетъ только высшихъ классовъ. Тургеневъ касался ихъ лишь случайно въ своихъ послѣднихъ произведеніяхъ, рисовалъ ихъ бѣглыми набросками и не иначе, какъ въ черныхъ краскахъ. Глазъ его не былъ изощренъ въ этомъ направленіи и умъ былъ предубѣжденъ. Та самая молодая дѣвушка, которую онъ послѣ изображаетъ совершенствомъ, какъ только судьба поставитъ ее въ высокое общественное положеніе, становится женщиной легкомысленной, развращенной, съ причудливымъ умомъ и сумасброднымъ темпераментомъ; мужчина, который достигаетъ высокихъ постовъ и соприкасается съ общественными дѣлами, непременно соединяетъ съ природной нерѣшимостью хвастливость и глупость. Все это, очевидно, сужденія слишкомъ поспѣшныя и исключительныя. Чтобы составить себѣ понятіе объ этихъ классахъ, надо обратиться къ Льву Толстому: онъ не измѣнилъ типовъ, намѣченныхъ своимъ предшественникомъ въ высшихъ и низшихъ слояхъ, но онъ изучилъ самыя сокровенныя извилины сложной души государственнаго человѣка, царедворца, великосвѣтской женщины; онъ закончилъ зданіе, которому Тургеневъ положилъ фундаментъ, не позаботившись о вершнѣхъ.

Безполезно ожидать отъ нашего романиста сложныхъ интригъ, необычайныхъ приключеній, до которыхъ такъ падаютъ старый французскій романъ. Онъ не показываетъ намъ волшебнаго фонаря, онъ изображаетъ самую жизнь. Факты сами по себѣ мало интересуютъ его; онъ видитъ ихъ лишь сквозь душу человѣческую и цѣнитъ ихъ по ихъ вліянію на нравственное существо. Все наслажденіе его въ изученіи характеровъ и чувствъ, насколько возможно простыхъ, взятыхъ изъ вседневной дѣйствительности; но только—и въ этомъ вся его тайна—онъ смотритъ на эту дѣйствительность съ такимъ личнымъ чувствомъ, что портреты его никогда не бываютъ прозаическими, оставаясь вмѣстѣ съ тѣмъ безусловно правдивыми. Онъ говорилъ о Неждановѣ въ „Нови“: „это романтикъ реализма“. Эти слова можно обратить къ нему самому. Таково-же было настроеніе духа у Флобера, котораго такъ любилъ Тургеневъ; но у русскаго писателя была, кромѣ того, необыкновенная тонкость вкуса, пѣдность, какая-то трепетная грація, разлитая на каждой страницѣ и напоминающая утреннюю росу. Ни у кого не было столько чувства такого отвращенія къ сантиментальности; никто не умѣлъ лучше его однимъ словомъ выразить состояніе души, кризисъ сердца. Эта сдержанность дѣлаетъ его феноменомъ, единственнымъ въ русской литературѣ, всегда расплывчатой. Онъ имѣлъ право смѣяться надъ писателями, своими соотечественниками, которые, желая сказать, что свойство курицы—нести яйца, требуютъ цѣлыхъ двадцати страницъ, чтобы развить эту великую истину, да и то не успѣваютъ въ этомъ. Въ каждомъ мельчайшемъ произведеніи Ивана Сергѣевича

можно угадать усиленное стараніе достигнуть возможной сжатости, заботливость о художественности, какъ ее понимали классики. Подобныя качества, усиленные волшебной прелестью слога, чистотой языка, всегда точнаго, порою великолѣпнаго, доставили Тургеневу первенствующее мѣсто въ современной литературѣ. Англійская критика, съ ея холоднымъ взглядомъ, не способная преувеличивать, признала за нимъ первое мѣсто; мнѣ такъ и хочется подтвердить этотъ приговоръ, перечитывая его волшебныя страницы, но я воздерживалось, вспомнивъ объ удивительномъ Львѣ Толстомъ. Мнѣ кажется, въ этихъ вопросахъ о первенствѣ слѣдуетъ оставить послѣднее слово за будущимъ.

Послѣ „Нови“, начался отдыхъ на склонѣ жизни. Талантъ вполне уцѣлѣлъ; сохранился мощный, любознательный умъ, но онъ какъ будто виталъ въ пространствѣ, словно ища потеряннаго пути, какъ это случается съ другими въ началѣ жизни. Много было причинъ для такого упадка духа. Изъ своего долготѣнаго пребыванія среди насъ, русскій писатель извлекъ большія преимущества, но и нѣкоторыя неудобства. Въ началѣ изученіе нашихъ великихъ авторовъ, дружба и совѣты Меримэ оказали ему драгоценную помощь; этимъ литературнымъ связямъ онъ, быть можетъ, обязанъ умственной выдержкой, ясностью и точностью, достоинствами столь рѣдкими у русскихъ прозаиковъ. Позднѣе онъ проникся энтузиазмомъ къ Флоберу; въ полномъ собраніи его сочиненій я встрѣтилъ превосходные переводы „Иродіады“ и „Легенды о св. Юліанѣ Милостивомъ“. Наконецъ, послѣ отцовъ натурализма, онъ сблизился съ ихъ второстепенными послѣдователями: онъ невинно вообразилъ себѣ, что принадлежитъ къ ихъ школѣ, онъ слушалъ ихъ ученія и дѣлалъ тревожныя усилія, чтобы примирить эти доктрины съ своимъ заветнымъ идеаломъ. Съ другой стороны, онъ чувствовалъ себя все болѣе и болѣе отчужденнымъ отъ своей родины, такъ сказать, оторваннымъ отъ настоящей почвы своихъ идей. Въ Россіи его часто осыпали упреками, называли его дезертиромъ, отщепенцемъ. Тенденціи его послѣднихъ романовъ возбудили искренніе укоры и пристрастныя клеветы. Когда онъ изрѣдка появлялся въ Москвѣ или Петербургѣ, молодежь встрѣчала его оваціями, но другіе кружки оказывали ему холодность. Онъ сознавалъ, что часть публики ускользаетъ отъ него, гонится за новыми кумирами, за грубымъ реализмомъ, торжествующимъ въ русской литературѣ. Даже когда передъ нимъ почтительно преклонялись, какъ передъ уважаемымъ дѣдомъ, этотъ парижанинъ по уму и по языку не разъ, вѣроятно, думалъ про себя: „На меня смотреть какъ на стараго бонзу! Ахъ, какъ скоро становишься бонзой въ литературѣ!“ Въ послѣднее его посѣщеніе Россіи, на празднествахъ въ честь Пушкина, московскіе студенты отпрягли лошадей изъ его экипажа. Но я помню, что разъ въ Петербургѣ, возвращаясь отъ одного высокопоставленнаго лица, онъ сказалъ намъ шутивымъ тономъ, не лишенымъ, однако, горечи: „Представьте, онъ назвалъ меня Иваномъ Николаевичемъ“. Эта оплошность показала бы пустой у

часъ, гдѣ къ счастью, никто не обязанъ знать, какъ звали вашего отца; но по русскимъ обычаямъ и по отношенію къ національной знаменитости, подобная ошибка оскорбительна; она доказывала, что его начинаютъ забывать. Около этого времени, я имѣлъ счастье провести вечеръ съ Тургеневымъ и Скобелевымъ. Молодой генераль говорилъ со своимъ обычнымъ жаромъ и краснорѣчіемъ; онъ разсказывалъ о своихъ обширныхъ надеждахъ, излагалъ свои мысли; старый писатель слушалъ его молча, остановивъ на немъ свой кроткій, отуманенный взоръ, который какъ будто обладалъ свойствомъ притягивать образы, краски. Не трудно было замѣтить, что модель позировала для художника и что художникъ изучалъ эту оригинальную физиономію, чтобы запечатлѣть ее въ какомъ-нибудь новомъ твореніи. Но смерть сторожила у дверей—она не дала ни герою пережить свой романъ, ни поэту написать его.

Въ эту весну, въ послѣдній разъ, когда я имѣлъ честь видѣть Ивана Сергѣевича, мы заговорили объ этихъ воспоминаціяхъ, и онъ сказалъ мнѣ: „Скоро и я послѣдую за нимъ“. Я почувствовалъ, что онъ говоритъ правду, глядя на это тѣло, изможденное жестокими страданіями. Вся жизнь какъ будто отхлынула и сосредоточилась въ головѣ, великолѣпной и увѣнчанной тѣсомъ бѣлыхъ волосъ, которые онъ порою встряхивалъ гордымъ движеніемъ раненаго льва. Глаза его часто останавливались на картинѣ Руссо, которую онъ любилъ больше всѣхъ, потому что Руссо понималъ одинаково съ нимъ душу и силу природы: старый, лишенный верхушки дубъ, изможденный годами, потрясенный октябрьскими вѣтрами, которые развѣиваютъ его послѣдніе порыжелые листья. Между этой картиной и этимъ благороднымъ старикомъ была словно братская связь, была одинаковая покорность приговорамъ судьбы.

Уже страдая отъ своей ужасной и рѣдкой болѣзни—рака въ спинномъ мозгу, Тургеневъ написалъ еще три повѣсти: „Пѣснь торжествующей любви“, блестящая фантазія во вкусѣ Боккаччіо, отдѣланная съ тонкимъ искусствомъ, какъ флорентинская золотая вещица; „Клара Милнчъ“, гдѣ авторъ разсказываетъ добровольную смерть молодой актрисы и старается объяснить, почему эпидемія самоубійства свирѣпствуетъ среди русской молодежи въ такихъ ужасающихъ пропорціяхъ; въ третьей повѣсти, озаглавленной „Отчаянный“, писатель пытается сосредоточить въ нѣсколькихъ страницахъ національную скорбь, которую онъ изучилъ и воспроизвелъ во всѣхъ своихъ произведеніяхъ. Опъ здѣсь обнаружилъ безсознательный фатализмъ, управляющій нѣкоторыми славянскими натурами и сообщающій этимъ нравственнымъ скитальцамъ нѣкоторое родственное сходство съ жертвами древняго фатума у Эсхила и Софокла. Какая мрачная пропія судьбы—послѣднее произведение романиста носить названіе „Отчаянный!“ Онъ произнесъ свое послѣднее слово объ этой русской душѣ, которую онъ изучалъ 40 лѣтъ и затѣмъ умолялъ. Однако, художникъ пережилъ человѣка. Во время своихъ предсмертныхъ страданій, весь пропитанный опиумомъ и морфіемъ, онъ передавалъ своимъ друзьямъ страшные сны и жалѣлъ, что не

можетъ записать ихъ: „Это вышла бы любопытная книга“, говорилъ опъ. За два дня до смерти, онъ еще взялъ перо въ руки и написалъ трогательное завѣщаніе, письмо къ своему другу, Льву Толстому. Въ этомъ прощальномъ посланіи умирающій Тургеневъ поручалъ своему сопернику, своему наслѣднику честь русской литературы; онъ умолялъ автора „Войны и Мира“ продолжать свои труды. Какъ воинъ, раненый на смерть, Иванъ Сергѣевичъ передалъ свою власть надъ душами въ руки другого вождя; ничто уже не удерживало его на землѣ; онъ отлетѣлъ въ иную область, гдѣ ему будутъ сниться другіе сны, болѣе безмятежные, болѣе прекрасные.

Тѣ сны, что видѣлъ онъ здѣсь на землѣ, были печальные, тяжелые. Вотъ они всѣ собранные въ нѣсколькихъ томахъ,—изображеніе въ ракурсѣ долгой, могучей человѣческой жизни. Собраніе литературныхъ твореній—это цѣлая жизнь, и подобно тому, какъ въ каждой жизни есть дни, которые хотѣлось бы вычеркнуть, такъ и въ каждомъ литературномъ трудѣ есть страницы, которыя лучше бы уничтожить. И у Тургенева попадаетъ нѣсколько такихъ страницъ, но въ цѣломъ весь завѣщанный имъ трудъ прекрасенъ и благодѣтеленъ. Въ заключеніе скажемъ съ особеннымъ удареніемъ—такъ какъ, вопреки всѣмъ противоположнымъ возрѣшамъ, одно это важно, одно это составляетъ честь писателя—что почти во всѣхъ произведеніяхъ покойнаго чувствуется какое-то особенное вѣяніе благородства, возвышающее и согрѣвающее сердце. Это—бездѣлица, а вмѣстѣ съ тѣмъ, великое дѣло, это—легкое вѣяніе, оставшееся отъ тѣни, вѣяніе, которое всегда будетъ питать многія тысячи душъ. Говоря о смерти Ивана Сергѣевича, мнѣ вспомнились орловскіе мужички, которые сѣютъ хлѣбное зерно на осеннихъ пашняхъ. Поле обширно, черныя борозды тянутся до безконечности, человѣкъ проходитъ по полю, фигура его уменьшается мало-по-малу, исчезаетъ во мглѣ, и изнуренный усталостью пахарь садится отдохнуть тамъ далеко, за холмомъ. Если онъ слишкомъ старъ, если какой-нибудь недугъ приключится съ нимъ въ эту зиму, его положить въ сырую землю, о немъ позабудутъ. Что за бѣда? Исчезаетъ бѣдный труженикъ, но сѣмя остается и не умираетъ; когда пригрѣетъ его солнышко, будущимъ лѣтомъ, взойдетъ колосъ, созреетъ, покроетъ пашню золотистыми волнами и надѣлитъ народъ добрымъ хлѣбомъ дающимъ силу и бодрость.



## Воспоминаніе Людвиг Пича.

### I.

23 августа 1883 г., Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ скончался, въ своемъ прекрасномъ загородномъ домѣ, въ паркѣ виллы ле-Фрепъ (Les Fresnes), Въ Буживалѣ, на Сенѣ (между Парижемъ и Сенъ-Жерменомъ). Впродолженіе всего прошедшаго года, Тургеневъ страдалъ отъ болѣзни, на излеченіе которой не имѣлъ надежды. Съ начала текущаго года, страданія его до того усилились, что онъ сталъ ожидать смерти, какъ избавительницы отъ невыносимыхъ мученій, той смерти, которой онъ прежде такъ боялся. Свѣдѣнія о его страданіяхъ сообщали мнѣ его близкіе, съ того времени, когда онъ самъ не только не могъ писать ко мнѣ, но даже и продиктовать письма. Эти описанія были такого рода, что я едва ли могъ жалѣть о томъ, что не успѣвши къ страдальческому ложу стараго друга, чтобы сказать послѣднее прости любимому человѣку. Для него это послѣднее свиданіе, предъ вѣчной разлукой, было бы еще болѣе тягостно, потому что онъ не только не долженъ былъ, но и не могъ принимать постороннихъ посѣтителей: задолго до смерти онъ почти не узнавалъ даже самыхъ дорогихъ ему лицъ! При томъ въ моей памяти такъ ясно запечатлѣлся прекрасный образъ моего друга въ бытность мою въ Парижѣ въ предыдущемъ году, во время краткаго перерыва въ его страданіяхъ, что я не хотѣлъ бы портить моего перваго впечатлѣнія, глядя на разрушеніе, которому, вслѣдствіе долговременнаго страданія, подверглось это прекрасное и возвышенное существо.

Я рассказывалъ уже читателямъ „Schlesische Zeitung“, въ фельетонѣ подъ заглавіемъ „Майскіе дни въ парижѣ“—какимъ я его тогда нашелъ. Великій, красивый и добрый,—такъ опредѣлялъ Тургенева одишъ изъ парижскихъ писателей; такимъ онъ былъ какъ человѣкъ, и какъ авторъ; таковы же были его умъ, сердце и наружность. Такимъ онъ былъ, когда я въ послѣдній разъ былъ у него въ Парижѣ, въ домѣ № 50, въ улицѣ Дуъ (Rue de Douai), когда красивая могучая рука его жала мою руку, и онъ въ послѣдній разъ обратился ко мнѣ на прощанье свое градіозно-очерченное лицо, окаймленное окладистой бѣлой бородой и длинными волосами, съ

привлекательно грустной улыбкой на устахъ и прिवѣтливымъ выраженіемъ въ темно-карихъ поэтическихъ глазахъ. Такимъ же видѣлъ я его, когда въ первый разъ встрѣтился съ нимъ, въ незабвенный для меня ноябрьскій вечеръ 1846 года, въ Берлинѣ, на лѣстницѣ старой газетной читальни Юліуса, на углу улицъ Обервальштрассе и Тегерштрассе. Спускаясь по лѣстницѣ, я остановился, какъ бы очарованный видомъ могучей фигуры и лица молодого иностранца, закутаннаго въ шубу и подымавшагося мнѣ на встрѣчу. Никогда я не испытывалъ подобнаго впечатлѣнія отъ одной наружности человѣка; никогда мое чувство не подсказывало мнѣ такъ непосредственно и инстинктивно: „Это необыкновенный человѣкъ!“ Могъ ли я тогда предвидѣть какое сильное вліяніе будетъ имѣть этотъ человѣкъ, нѣсколько лѣтъ спустя, на вторую половину моей жизни? Тогда его волосы, посѣдѣвшіе въ 1868 года, были еще темнорусыми, и, вмѣсто полной бороды, только короткіе русые усы отгнѣяли его верхнюю губу. Головой и ростомъ онъ напоминалъ намъ Петра Великаго въ молодости, хотя онъ и не имѣлъ ничего общаго съ полудикой и необузданной натурой великаго преобразователя Россіи. Эти массивныя голова и тѣло вмѣщали въ себѣ утонченный умъ, добрую и мягкую, гуманную душу. Это былъ человѣкъ, не сдѣлавшій никому ни малѣйшаго вреда, кромѣ развѣ животныхъ, убитыхъ имъ на охотѣ, такъ какъ онъ всю свою жизнь былъ страстнымъ и неутомимымъ охотникомъ.

Черезъ нѣсколько дней послѣ этой первой встрѣчи, я познакомился съ нимъ лично, черезъ посредство одного моего знакомаго, который уже впродолженіе шести лѣтъ находился въ близкихъ отношеніяхъ къ Тургеневу. Это произошло въ извѣстной швейной Шейблера, на углу Французской и Маркграфской улицъ, которую въ то время посѣщали всѣ выдающіеся представители наукъ и искусствъ. Мой знакомый много рассказывалъ мнѣ о молодомъ талантливомъ русскомъ, Иванѣ Тургеневѣ, котораго онъ, къ немалому его удивленію, за два дня до того, снова встрѣтилъ въ Берлинѣ. Незадолго до полуночи, вошелъ въ нашу шивную тотъ иностранецъ, котораго я встрѣтилъ на лѣстницѣ читальни, и нашъ общій знакомый представилъ намъ его, какъ коллежскаго ассесора Ивана Тургенева изъ С.-Петербурга. Онъ не только свободно говорилъ по-нѣмецки, но и обладалъ рѣдко встрѣчающейся мѣткостью, полнотою и ясностью выраженій. Какъ это бываетъ въ богатыхъ русскихъ домахъ, ему пришло еще въ дѣтствѣ изучить, параллельно съ его роднымъ языкомъ, французскій, нѣмецкій и англійскій языки. Вскорѣ я могъ убѣдиться, что первое впечатлѣніе, произведенное имъ на меня, меня не обмануло. Русскій гость съ перваго же вечера сталъ центромъ нашего кружка: всѣ его слушали съ благоговѣніемъ, какъ очарованные.

Ни у кого, кромѣ Тургенева мы не встрѣчали такой утонченности чувствъ, такого оригинальнаго умѣнья все видѣть и подобнаго искусствѣ все видѣнное и пережитое представить слушателю вполне наглядно, съ живостью и мѣткой опредѣлительностью, со всѣми по-

дробностями и со всей привлекательностью и очарованіемъ поэтическаго изображенія, при всей сжатости разсказа. Самые талантливые поэты и художники, члены этого кружка, какъ все идеалисты того времени, склонные къ умозрительности, не обладали такимъ врожденнымъ пониманіемъ природы и умѣньемъ схватывать дѣйствительность, что, впрочемъ, вполнѣ объясняется абстрактностью нашего воспитанія. Тѣмъ сильнѣе и новѣе было впечатлѣніе бесѣды Тургенева.

Причины, побудившія Тургенева въ ноябрѣ 1846 года, опять прѣхать въ Берлинъ, задержали его, къ немалому нашему удовольствію, до іюня мѣсяца слѣдующаго года. Какъ Гете въ Веймарѣ, во время его юности, и Тургеневъ могъ сказать про себя: „Изъ дальнихъ странъ я заброшенъ судьбою и прикованъ здѣсь дружбою“. Это была дружба съ гениальной драматической пѣвицей Полиной Віардо-Гарсиа, которая не имѣла достойныхъ ея соперницъ на лирической сценѣ и была во многихъ отношеніяхъ замѣчательной женщиной, а также и съ ея мужемъ, французомъ, художественнымъ критикомъ, Луи Віардо. Артистка передъ этимъ вернулась изъ Россіи, гдѣ въ обѣихъ столицахъ возбудила доходившій до пароксизма энтузіазмъ легковопламеняющейся и страстнолюбящей музыку русской публички. На обратномъ пути изъ Петербурга въ Парижъ, въ сентябрѣ 1846 г., артистка впродолженіе трехъ мѣсяцевъ играла на сценѣ итальянской оперы въ Берлинѣ, а съ 1 января 1847 года вступила на пять мѣсяцевъ слишкомъ, въ берлинскую королевскую оперу. Этому обстоятельству мы обязаны и прѣездомъ Тургенева въ Берлинъ, и долгимъ его пребываніемъ тамъ, вмѣстѣ съ семьей, съ которой онъ сблизился. Счастливое и незабвенное для насъ время, проведенное съ нимъ и съ знаменитой артисткой въ теченіе зимнихъ и весеннихъ мѣсяцевъ этого года! Удивительнѣе всего, что Тургеневъ, противъ обыкновенія всехъ поэтовъ, ни однимъ словомъ не обмолвился тогда о томъ, что въ его отечествѣ онъ уже былъ извѣстенъ за выдающагося писателя. Очень часто, подъ впечатлѣніемъ его художественнаго разсказа и всего его существа, я говорилъ ему: „Вы истинный поэтъ! вы великій, единственный въ мірѣ разсказчикъ! какъ вы говорите, такъ вы должны бы и писать. Тогда вашъ народъ и весь свѣтъ узнаютъ васъ и будутъ удивляться вамъ“. Улыбаясь, онъ отклонялъ эти похвалы и увѣрялъ, — о, лицемѣръ! — что въ немъ нѣтъ ничего поэтическаго. Наши познанія о тогдашней русской литературѣ были очень незначительны, и такъ какъ онъ самъ намъ ничего о себѣ не сообщалъ, то мы и не знали ни объ его разсказѣ въ стихахъ „Парапа“, ни объ его очеркахъ и разсказахъ изъ русской жизни, уже тогда написанныхъ и помѣщенныхъ имъ въ русскихъ періодическихъ изданіяхъ. Даже и впоследствии, когда онъ былъ уже на высотѣ своей славы, онъ никогда не гордился своими произведеніями и ничѣмъ не содѣйствовало возвеличенію и блеску своего имени иначе, какъ своими твореніями. Глубокое уныніе, уживавшееся съ необыкновеннымъ юморомъ и любовью къ природѣ, уже тогда, въ дни его юности и силы, проглядывало

въ его произведеніяхъ и придавало имъ ихъ своеобразный колоритъ. Самъ лично онъ не испыталъ горечи жизни, производящей подобное состояніе души. Онъ былъ красивъ, молодъ, здоровъ, силенъ, богато одаренъ природой; ему предстояла блестящая будущность, и ничто не мѣшало ему, повидимому, сдѣлаться счастливѣйшимъ человекомъ. Его тяготило сознаніе грустнаго положенія родины и особенно, казавшагося тогда безпадежнымъ, жалкаго положенія народа, вслѣдствіе крѣпостнаго права. Съ ужасами крѣпостнаго права онъ былъ близко знакомъ еще съ дѣтства, такъ какъ происходилъ отъ русскаго помѣщичьяго рода стараго закала. Въ разсказѣ „Однодворецъ Овсянниковъ“ (изъ „Записокъ Охотника“), можно найти характеристику дѣда поэта, сдѣланную этимъ свободнымъ поселяниномъ. Въ безжалостномъ героѣ разсказа „Три портрета“, Тургеневъ, въ смяченномъ видѣ разсказываетъ намъ исторію своего двоюроднаго дѣда, а въ трогательномъ разсказѣ о глухонѣмомъ „Муму“ мы узнаемъ его мать въ величественной барынѣ, которая такъ утонченно умѣетъ мучить своихъ крѣпостныхъ. Я уже не говорю о томъ, въ какихъ нещадныхъ выраженіяхъ отзывался онъ о своихъ знатныхъ предкахъ. Маленькаго разсказа изъ жизни его бабки достаточно, чтобы подтвердить его мнѣніе о нихъ. Старая, вспыльчивая барыня, пораженная параличемъ и почти неподвижно сидѣвшая въ креслѣ, разсердившись однажды на козачка, который ей служивалъ, за какой-то педосмотръ, въ порывѣ гнѣва, схватила полѣно и ударила мальчика по головѣ такъ сильно, что онъ упалъ безъ чувствъ. Это зрѣлище произвело на нее непріятное впечатлѣніе; она нагнулась и приподняла его на свое широкое кресло, положила ему большую подушку на окровавленную голову, — я теперь еще помню то неподдѣльное выраженіе, которое Тургеневъ употребилъ при этомъ разсказѣ — *и, стѣвши на него, задушила его*. Само собою разумѣется, это величественная барыня ничѣмъ за это не поплатилась.

Вотъ изъ какого рода произошелъ этотъ замѣчательный человекъ! Своимъ гигантскимъ сложеніемъ, а также и своей страстью къ охотѣ, обязанъ онъ, конечно, предкамъ. Надо замѣтить, впрочемъ, что уже отецъ его, по крайней мѣрѣ, въ одномъ отношеніи, сдѣлался западникомъ: онъ любилъ европейское воспитаніе, науки и англійскіе обычаи. Иванъ Сергѣевичъ былъ второй сынъ; старшій братъ его, наслѣдовавшій лучшую часть отцовскаго имѣнія, умеръ нѣсколько лѣтъ тому назадъ, не оставивъ знаменитому брату своего состоянія. Воспитаніе обоихъ братьевъ было очень тщательное. Подготовленный домашними учителями, Иванъ Сергѣевичъ рано поступилъ въ Московскій университетъ. Въ 1838 году онъ перешелъ, однако въ Берлинъ: для тогдашней юной Россіи Германія была еще прославленной, достойной удивленія страной, отъ умственной работы которой, въ особенности отъ философіи, ожидалось спасеніе и освобожденіе народовъ. Нектаромъ Гегелевской мудрости, источавшимся же то время изъ устъ берлинскихъ профессоровъ, ушивался и Тургеневъ, подобно многимъ другимъ землякамъ его, жаждавшимъ

истины. Нашъ русскій великанъ былъ однимъ изъ прилежнѣйшихъ слушателей Вердера, Гото и Минле и нѣкоторое время полагалъ, что съ ихъ кафедры получить разгадку всѣхъ тайнъ міра и чело-вѣчества. Естественнo, что опытъ и болѣе близкое знакомство съ жизнью и природою, отрезвили его впослѣдствіи, какъ и всѣхъ насъ.

По возвращеніи изъ Италіи и Франціи въ Россію, Тургеневъ съ энтузіазмомъ отдался литературно-философскому движенію, охватившему русское образованное и либеральное юношество. Это движеніе заключало въ себѣ и соціально-реформаторскій отбѣнокъ, хотя его руководители и участники должны были маскировать его.

Впрочемъ, это маскированіе не могло защитить ихъ отъ подозрѣній и нерасположенія къ нимъ правительства. Тургеневъ испыталъ ту же участь, какъ и многіе другіе, и вскорѣ, по поступленіи на коронную службу, долженъ былъ оставить ее.

По возвращеніи изъ западной Европы до упомянутого мной посѣщенія Берлина зимой 1846 года, Тургеневъ жилъ почти все время въ родительскомъ имѣніи, гдѣ мать послѣ смерти отца, была полно-властной хозяйкой. Тамъ онъ снова и еще основательнѣе познакомил-ся съ возмутительными явленіями и послѣдствіями крѣпостнаго права. Онъ проникся непримиримою ненавистью къ этому порядку вещей и къ тѣмъ, которые поддерживали его, и въ то же время искреннимъ, сердечнымъ участіемъ къ несчастнымъ, угнетаемымъ крестьянамъ, которые страдали отъ самоуправства мелкихъ деспотовъ болѣе, чѣмъ отъ произвола правительства. Въмѣстѣ съ тѣмъ въ немъ развились, вслѣдствіе пребыванія среди родныхъ полей и лѣсовъ, которые онъ, въ качествѣ охотника, внимательно наблюдалъ во всѣ времена года, чувство природы, любовь къ ней, пониманіе безчисленныхъ проявленій ея жизни и искусство правдиваго и поэтическаго воспроизведенія ея.

Вотъ что сдѣлало Тургенева такимъ, какимъ мы его встрѣтили впервые въ Берлинѣ. Оставляя насъ лѣтомъ онъ предполагалъ еще разъ объѣхать западную Европу. Онъ побывалъ снова въ Англіи, въ Италіи, въ Швейцаріи и во Франціи и, проживши довольно долго въ Парижѣ, вернулся въ Россію въ 1850 или 1851 году. Въ 1852 году появились въ двухъ томахъ „Записки Охотника“, до того времени печатавшіяся въ видѣ отдѣльныхъ рассказовъ. Московская цензура добродушно пропустила эту книгу, какъ видно, не понявъ, какой смертельный ядъ для установившейся системы, въ особенности для крѣпостничества, содержали въ себѣ эти маленькіе рассказы. Запрещеніе, появившееся впослѣдствіи, опоздало, такъ какъ книга распространилась уже по всей Россіи, и сочувственный приемъ, встрѣченный ею въ ея отечествѣ, показалъ писателю насколько онъ съумѣлъ угодить сердцу народа.

Въ обыденномъ смыслѣ слова, этотъ сборникъ рассказовъ нельзя назвать тенденціознымъ произведеніемъ. Авторъ, повидимому, нисколько не возмущается постыдностью самаго института рабства, грубостью, наивной жестокостью и сознательной безнравственностью мучителей народа. Онъ не ратуетъ за дѣло освобожденія и не воз-

стаетъ противъ тиранствующихъ помѣщиковъ и помѣщицъ. Онъ разсказываетъ просто и кратко, съ неподражаемымъ искусствомъ и съ убѣдительною силой истины, все, что онъ видѣлъ и пережилъ на роднѣхъ. Онъ заставляетъ господъ, чиновниковъ, а также и всѣхъ, которые страдаютъ, благодаря имъ или вслѣдствіе установленнаго порядка, жить, дѣйствовать, говорить, на нашихъ глазахъ такъ, какъ они дѣлаютъ это въ дѣйствительной жизни. И, однако, ни одна краснорѣчивая обвинительная рѣчь, проникнутая самымъ справедливымъ негодованіемъ, не возбуждала такого глубокаго отвращенія къ несправедливому злу, которое она должна была побѣдить и уничтожить, не могла привести къ сознанию страшнаго позора крѣпостничества успѣшнѣе, чѣмъ эти простыя, рисованныя съ натуры картинки поэта. Но не всѣ произведенія названнаго сборника проникнуты этимъ духомъ. Не менѣе многочисленныя мелкія повѣсти, полныя невиннаго юмора и добродушной прелести. Тамъ можно найти и мрачныя, потрясающія исторіи, въ которыхъ трагическій мотивъ заключается не въ крѣпостничествѣ и не въ тогдашнихъ соціаль-ныхъ и политическихъ отношеніяхъ Россіи. Во всѣхъ этихъ разсказахъ встрѣчаются картины природы, полныя освѣжающей прелести и самаго законченнаго мастерства въ изображеніи душевныхъ настроеній, вызываемыхъ природою. Въ „Запискахъ Охотника“ видна уже вполне достигшая художественной зрѣлости индивидуальность Тургенева. Въ этихъ разсказахъ также, какъ и въ послѣдующихъ крупныхъ произведеніяхъ его, мы замѣчаемъ уже чудесное сліяніе поэтическаго идеализма и мечтательныхъ образовъ съ яснымъ созерцаніемъ дѣйствительности, богатства наблюдений съ мѣткою изобразительностью, способность немногими словами сказать все, что нужно, и нарисовать яркую картину—свойства, въ которыхъ такъ пугается большая часть рассказчиковъ.

Впечатлѣніе, произведенное „Записками охотника“, стоило автору двухгодичной ссылки въ родовое имѣніе. Это наказаніе значительно смягчалось разрѣшеніемъ отлучаться по временамъ изъ мѣста своего изгнанія. По смерти императора Николая I и по заключеніи парижскаго трактата, наступило для него и для его единомышленниковъ давно ожидаемое время исполненія ихъ задушевныхъ желаній: Александръ II уничтожилъ крѣпостное право и облегчилъ стѣсненія прессы. Новое, свѣжее, чистое вѣяніе пронеслось по Россіи; люди, считавшіеся вредными и опасными, стали необходимыми. Къ Тургеневу, прежде непопулярному и подозрѣваемому правительствомъ, новый Государь отнесся весьма благосклонно. Съ уничтоженіемъ крѣпостничества, нашъ авторъ лишился главной темы своихъ рассказовъ. Но могучее движеніе, на которое либеральные философы и романтики смотрѣли, какъ на осуществленіе ихъ идеала, какъ на цѣль ихъ стремленій, произвело сильный переворотъ въ русской массѣ и вызвало новое поколѣніе, еще болѣе нападавшее на скоростѣльныхъ либераловъ, чѣмъ послѣдніе дѣлали это относительно противниковъ освобожденія крестьянъ. Эта борьба не могла ускользнуть отъ глазъ Тургенева, который слѣдилъ за всѣмъ и въ чело-

вѣческой души читали, какъ въ открытой книгѣ. Все, что онъ видѣлъ и переживалъ въ то время, доставило его поэтической фантазіи тему для романа „Отцы и дѣти“. Это новое поколѣніе воплощено у него въ живомъ лицѣ, которое выработано, и типично, и индивидуально до мельчайшихъ подробностей образа мыслей, чувствъ, выраженій и дѣйствій,—въ молодомъ медицинскомъ студентѣ Вазаровѣ—нигилистѣ. Въ первый разъ въ этомъ удивительномъ романѣ, живо изображающемъ нравы того времени, выговорено громко это прозвище, добровольно пригнѣнное къ себѣ молодымъ поколѣніемъ русскихъ людей. Вокругъ этой главной фигуры труппируются другіе, менѣе выдающіеся представители и представительницы теоретическаго нигилизма, который тогда былъ еще безвреденъ и платониченъ: этимъ лицамъ противопоставлены болѣе привлекательные представители добродушнаго, свободно-мыслящаго и проникнутаго западнымъ образованіемъ дворянства, охотно принесшаго жертву при освобожденіи крестьянъ, хотя это тягостно отзывалось на его благосостояніи, и съ прискорбіемъ видѣвшаго, что все, для нихъ милое, дорогое и достойное глубокаго уваженія, было осмѣяно ихъ собственными дѣтьми и выброшено, какъ ненужный хламъ. Этотъ романъ произвелъ сначала сильный переполохъ и вызвалъ негодованіе обѣихъ партій; каждая изъ нихъ признавала изображенія противниковъ вполне вѣрными, а свои карикатурными; каждая обвиняла Тургенева въ злоумышленной симпатіи къ другой, тогда какъ едва ли какое-либо произведеніе было свободнѣе отъ пристрастія, чѣмъ этотъ романъ. Нѣсколькихъ лѣтъ было достаточно, благодаря скорому развитію молодого поколѣнія, чтобы значительно уменьшить въ его глазахъ мнимую вину писателя. Они соглашались, что картина нравовъ была довольно вѣрна, но его вина относительно молодежи состояла въ томъ, что онъ не достаточно откровенно высказалъ свою симпатію къ ней и сочувствіе къ ея тенденціямъ и любовно отнесся къ отцамъ. Эти упреки и порицанія также мало дѣйствовали на Тургенева, какъ и восхваленія всѣхъ главныхъ критиковъ европейской литературы.

Въ промежутокъ времени между появленіемъ „Записокъ охотника“ и романа „Отцы и дѣти“ выпелъ въ свѣтъ цѣлый рядъ повѣстей и рассказовъ Тургенева, не заключающихъ въ себѣ прямой тенденціи и обличенія соціального положенія его отечества. Это были прелестныя произведенія, полныя страстныхъ, глубокихъ и нѣжныхъ ощущеній, похожія на раду, нарисованную на темномъ фонѣ, замѣчательныя по искусству изображенія характеровъ и написанныя несравненнымъ стилемъ. Я назову здѣсь только нѣкоторыя изъ нихъ: повѣсть въ письмахъ, „Фаустъ“, „Первая любовь“, двѣ драгоцѣнныя жемчужины, „Наканунъ“, „Пѣтушковъ“, „Жидъ“, „Дворянское гнѣздо“ и „Пасынковъ“. Къ этому прибавимъ еще три повѣсти, въ которыхъ страданія крѣпостныхъ и тиранство старыхъ помѣщиковъ выступаютъ еще разъ во всей ихъ ужасающей дѣйствительности—„Три портрета“, „Муму“ и „Постоялый дворъ“. Упомянемъ кстати и о произведеніяхъ 50-хъ и 60-хъ годовъ: маленькой

двухъ-актной драмѣ „На хлѣбахъ изъ милости“, страшный конецъ которой проистекаетъ также изъ тогдашнихъ условій жизни, и веселой шуткѣ „Завтракъ у предводителя“, полной юмора и правдиво очерчивающей характеры дѣйствующихъ лицъ.

Германія позже всѣхъ ознакомилась съ этими произведеніями знаменитаго русскаго романиста, который во Франціи и въ Англии былъ почти такъ же извѣстенъ, какъ и въ своемъ отечествѣ. Молодой русскій пѣвецъ Видертъ, лично знакомый съ Тургеневымъ, весьма увлеченный талантомъ поэта, тщательно перевелъ „Записки охотника“ на нѣмецкій языкъ. Первый томъ этого перевода выпелъ въ 1854 или 55 г. въ изданіи Генриха Шиндлера въ Берлинѣ, издававшего въ то время „Нѣмецкій художественный листокъ“ съ литературными прибавленіями, подъ редакціей Ф. Эгерса. Второй томъ, менѣе художественно переведенный учителемъ русскаго языка Вольцемъ, вскорѣ послѣдовалъ за первымъ. Большинство читающей публики въ Германіи не поняло сначала всѣхъ достоинствъ этихъ рассказовъ, которые сильно подѣйствовали только на болѣе развитыхъ и образованныхъ людей. Между прочимъ, молодой Пауль Гейзе былъ горячо увлеченъ ими и часто въ вышеупомянутыхъ литературныхъ прибавленіяхъ заступался за „Записки охотника“ и ихъ автора. Изъ перечисленныхъ произведеній Тургенева, въ началѣ 60-хъ годовъ, появились на нѣмецкомъ языкѣ „Дворянское гнѣздо“, въ переводѣ Фукса, и „Фаустъ“, въ прекрасномъ переводѣ Боденштедта. Послѣдняя повѣсть была напечатана сперва въ „Нѣмецко-русскомъ обозрѣніи“ Вольфсона; но и тогда еще равнодушіе къ Тургеневу не было побѣждено въ Германіи, и нѣмецкая читающая публика еще продолжала чуждаться его. Мы не за чѣмъ увѣрять, съ какой радостью встрѣчалъ я появленіе перевода каждого рассказа изъ „Записокъ охотника“ и съ какимъ постоянно-возрастающимъ восхищеніемъ я читалъ его романы и повѣсти, которые живо напоминали мнѣ незабвеннаго для меня человека, во всей его добротѣ, красотѣ и величіи, и время, проведенное нами при ежедневныхъ встрѣчахъ съ нимъ. И такъ мое предчувствіе не обмануло меня; онъ оказался дѣйствительно такимъ, какъ я его и призналъ, и предсказалъ: настоящій поэтъ, предметъ удивленія и гордости всего своего народа. Послѣднія слова гетевскихъ строкъ, подписанныя мною подъ его портретомъ, полученнымъ семь лѣтъ тому назадъ, оправдались: „Проницательнымъ взоромъ онъ озираетъ весь міръ, сочувствуетъ всякому благу, сердечному стремленію, вызываетъ страстную любовь въ наилучшихъ женщинахъ, и повсюду раздается его своеобразная пѣсня“.

## II.

Черезъ шестнадцать лѣтъ послѣ нашего послѣдняго свиданія, я снова встрѣтился съ Тургеневымъ въ домѣ Віардо въ Парижѣ. Въ первый разъ тогда я увидѣлъ „столицу цивилизаціи“ и вступилъ въ домъ знаменитой артистки. Совершенно неожиданно и къ большому

моему удовольствию, я увидѣлъ тамъ знакомую фигуру поэта, столь же величественную и красивую, какъ нѣкогда въ Берлинѣ. Только бѣлизна волосъ и бороды доказывала, что онъ постарѣлъ; во всѣхъ остальныхъ отношеніяхъ, онъ ничуть не измѣнился и сохранилъ тѣ же убѣжденія и симпатіи. Связь, возникшая между нами въ юности, вновь была скрѣплена прочно и надолго. Къ сожалѣнію, мнѣ удалось только нѣсколько дней наслаждаться счастьемъ нашего свиданія въ Парижѣ. Віардо, со всей своей семьей, рѣшился уже оставить столицу, пока она будетъ служить мѣстопребываніемъ Наполеона III, и Тургеневъ, конечно, не пожелалъ остаться одинъ, безъ друзей, въ Парижѣ, гдѣ онъ жилъ уже нѣсколько лѣтъ. Послѣ прощальнаго представленія, которое m-me Віардо дала въ „Théâtre Lyrique“,—она играла чуть-ли не въ сотый разъ въ „Орфей“ Глюка, при безконечныхъ аплодисментахъ,—всѣ они уѣхали изъ Парижа, чтобы поселиться отнынѣ въ „Thiergartenthal“ близъ Баденъ-Бадена. Тамъ г. Віардо приобрѣлъ себѣ виллу, окруженную садомъ, при поднѣхъ лѣсистыхъ Зауербергскихъ горъ; Тургеневъ пока удовольствовался квартирой, нанятой имъ въ „Schillergasse“. Я долженъ былъ дать обѣщаніе, что на возвратномъ пути заѣду въ Баденъ-Баденъ и нѣсколько дней проведу у Ивана Сергѣевича. При отъѣздѣ, онъ далъ мнѣ всѣ свои сочиненія, написанныя послѣ „Записокъ Охотника“, въ превосходномъ французскомъ переводѣ самого автора, въ числѣ которыхъ я забылъ упомянуть прекрасное произведеніе „Рудинъ“. Тогда только мнѣ удалось вполнѣ узнать и оцѣнить поэтическую силу и художественность Тургенева, во всемъ ихъ величіи, чистотѣ и изяществѣ. Я припоминаю, что въ продолженіе цѣлыхъ дней, позабывши совершенно цѣль моего пріѣзда въ Парижъ, я углублялся въ чтеніе произведеній моего друга, очарованіе которыхъ вполнѣ завладѣло мной.

Незачѣмъ говорить, съ какимъ удовольствіемъ я навѣстилъ его по отъѣздѣ изъ Парижа. Но дѣйствительность превзошла всѣ мои надежды и мечты. Кто не бывалъ въ этомъ раю долины и лѣсовъ, на берегу Ооса, въ періодъ его процвѣтанія, предъ франко-прусской войной, тотъ не можетъ вѣрно представить себѣ привлекательности этой мѣстности, соединившей тогда весьма разнородные общественные элементы. Любители всевозможныхъ развлеченій, разнообразныхъ туалетовъ и нарядовъ, могли находить не мало удовольствія въ лицедрѣвнн этой, составленной изъ представителей всѣхъ націй міра маскарадной толпы собиравшейся на лѣтній сезонъ въ Баденъ-Баденъ и появлявшейся всюду, какъ въ конversaціонсаузѣ, такъ и въ величественныхъ руинахъ замка Иффецгейма. Весь шумъ и блескъ этого своеобразнаго мірка не въ состояніи былъ нарушить тишину Лейвальдскихъ долинъ, выходящихъ прямо на Лихтентальскую аллею, и лѣсистыхъ высотъ, опьяняющихъ своимъ благоуханіемъ. Здѣсь жили преимущественно люди, чуждавшіеся шумныхъ удовольствій, но тѣмъ не менѣе представлявшіе собою избранный кругъ баденскаго общества.

Домъ Віардо въ Тиргартенталѣ составлялъ центръ этого кружка.

Уже въ первый годъ пребыванія тамъ, семейство Віардо построило въ своемъ обширномъ саду нѣчто въ родѣ храма искусства, въ большомъ залѣ котораго поставленъ былъ инструментъ артистки и помѣщены лучшія изъ картинъ, собранныхъ Луи Віардо. Тамъ съ 1864 года составлялись по воскресеньямъ столь прославившіеся музыкальныя утреннія собранія. Самыя высокопоставленныя лица изъ посѣтителей Баденъ-Бадена считали за честь и счастье быть приглашенными на эти собранія, а „рыцарямъ и аристократамъ ума“ открытъ былъ туда еще болѣе свободный доступъ. Семейство Віардо и Тургеневъ настолько полюбили эту мѣстность, что не покидали ее даже зимою; изрѣдка лишь, и то только въ случаѣ крайней необходимости, нашъ писатель рѣшался на поѣздку въ Россію. Ему нужно было видѣть своихъ русскихъ друзей, напоиниться впечатлѣніями русской жизни и побывать въ своемъ имѣніи. Поѣздку эту онъ всякій разъ откладывалъ, насколько возможно, но никакое препятствіе не могло помѣшать ему возвратиться къ 18 іюлю, дню рожденія Полины Віардо. Съ полнымъ довольствомъ, замѣнившимъ прежнее его меланхолическое настроеніе, Тургеневъ наслаждался своей жизнью въ Баденъ-Баденѣ. На мою долю выпало рѣдкое счастье проводить ежегодно около двухъ мѣсяцевъ съ моими друзьями. Уже въ 1865 г. Тургеневъ, не рассчитывая до конца жизни разстаться съ нашимъ очаровательнымъ уголкомъ, купилъ большой участокъ земли, прилегающій къ парку виллы Віардо и вдающійся еще глубже въ лѣсистыя горы и роскошные луга Тиргартентала. На этомъ залуценномъ участкѣ росло много фруктовыхъ деревьевъ, и онъ заключалъ въ себѣ особенно дорогое поэту сокровище—источникъ свѣжей воды. Тургеневъ гордился имъ, хотя самъ выражался не безъ примѣси ироніи объ этомъ чувствѣ. На этой землѣ парижскій архитекторъ построилъ ему большую виллу, въ видѣ замка, въ стилѣ Людовика XIII, превративъ всю окружающую мѣстность въ садъ. Фасадъ этого строенія, крытаго аспиднымъ камнемъ, съ крутой крышей и высокими красивыми трубами, на высокомъ фундаментѣ, былъ обращенъ къ заведенію для леченія сывороткой у подошвы Зауерберга. Тургеневъ переселился туда лишь въ 1867 г. Послѣ моего перваго десятидневнаго пребыванія въ Баденъ-Баденѣ, когда я прощался съ Тургеневымъ, меня отпустили, взявши обѣщаніе каждое лѣто возвращаться къ нему на болѣе продолжительное время. Могу васъ увѣрить, что мнѣ не нужно было особеннаго призыва, пробуждающаго во мнѣ каждой весной непреодолимое желаніе—видѣть это прекрасное мѣсто и его обитателей, и являвшася мнѣ въ видѣ письма отъ моихъ друзей, лаконически гласившаго: „La chambre de Pietsch est prête и ждетъ своего жильца“. Въ присутствіи Тургенева и его близкихъ друзей, самый требовательный умъ ощущалъ чувство удовлетворенія всѣхъ своихъ желаній и сознанія полнѣйшаго счастья. Какъ ни велико богатство наблюдательности и поэзіи, обнаруженнаго Тургеневымъ въ его произведеніяхъ, все-таки онъ былъ только частицей того, что выливалось изъ его устъ въ присутствіи его друзей, освѣщая и нѣжа васъ, какъ тотъ ручей, которымъ онъ такъ гордился.

Если бы кто-нибудь стенографировалъ все рассказы и анекдоты изъ личной жизни, результаты непрерывнаго наблюденія природы и людей, все глубокія и оригинальныя мысли Тургенева, эти золотыя изреченія, не заключающія въ себѣ ни одной громкой или вульгарной фразы, эти сужденія, точныя, правдивыя и логичныя, съ неутомимымъ презрѣнiемъ клеймящія всякую ложь, даже и въ искусствѣ, если кто-либо сдѣлалъ это, — подобно Эккерману, записывавшему разговоры Гёте, тотъ собралъ бы неоцѣнимую сокровищницу вѣчной красоты и мудрости. Тому, кто пользовался такой полнотой жизни, какъ я тогда у Тургенева, слѣдовало бы имѣть иной характеръ, нежели пишущему эти строки, чтобы собирать и заботиться о томъ времени, когда уже ничего этого не будетъ. За утреннимъ чаемъ въ саду, въ маленькомъ открытомъ павильонѣ, около котораго протекала упомянутый ручеекъ, за завтракомъ, сидя со мной въ столовой, обитой деревомъ, широкія окна которой выходили на свѣжее зеленое луга, окаймленные темнымъ горнымъ лѣсомъ, Тургеневъ выливался весь. Онъ полными пригоршнями расточалъ драгоценныя сокровища своего сердца и ума. Надо было только воспользоваться всемъ этимъ, чтобы имѣть на всю жизнь обильный матеріалъ для размышленій.

Это были для него плодотворныя годы. Я, находясь тутъ же, какъ бы присутствовалъ при его поэтическомъ творествѣ. Нѣкоторыя изъ его повѣстей и фантастическихъ произведеній, написанныхъ въ Баденѣ, я прослѣдилъ отъ первоначальнаго замысла ихъ до окончательной отдѣлки; я видѣлъ, какъ они мало-по-малу выдѣлялись изъ мрака небытія. Его способъ концепціи былъ также своеобразенъ, какъ и вся его натура. Онъ обладалъ счастливымъ удѣломъ, выпадающимъ на долю весьма немногихъ — работать не изъ-за куса хлѣба. Онъ былъ по природѣ лѣнивъ: въ его крови глубоко жила „обломовщина“. Онъ брался за перо почти всегда подъ влияніемъ внутренней потребности творчества, независимой отъ его воли. Втеченіе цѣлыхъ дней и недѣль, онъ могъ отстранять отъ себя это побужденіе, но совершенно отъ него отдѣлаться онъ былъ не въ силахъ. Образы, вызываемые личными воспоминаніями, картины, сохранившіяся въ его памяти, возникали въ его фантазіи, неизвѣстно почему и откуда, и все болѣе и болѣе осаждали его и заставляли его рисовать — какими они ему представляются, и записывать, что они говорятъ ему и между собою. Часто слышалъ я, какъ онъ во время этихъ рабочихъ часовъ, подъ влияніемъ непреодолимой потребности, зашпурлся въ своей комнатѣ, и, подобно льву въ клеткѣ, шагалъ и стоналъ тамъ. Въ эти дни, еще за утреннимъ чаемъ, мы слышали отъ него трагикомическое восклицаніе: „охъ, сегодня я долженъ работать!“ Разъ усѣвшись за работу, онъ даже физически переживалъ все то, о чемъ писалъ. Когда онъ однажды писалъ небольшой, безотрадный романъ „Несчастная“, изъ воспоминаній его студенческихъ лѣтъ, сюжетъ котораго развивался почти помимо его воли, при описаніи особенно запечатлѣвшейся въ его памяти фигуры покинутой дѣвушки, стоящей у окна, онъ былъ втеченіе цѣ-

лаго дня совершенно боленъ: „Что съ вами, Тургеневъ? Что случилось?“ — „Ахъ, она должна была отравиться! Бѣ тѣло выставлено въ открытомъ гробу въ церкви и, какъ это у насъ принято въ Россіи, каждый родственникъ долженъ цѣловать мертвую. Я разъ присутствовалъ при такомъ прощаніи, а сегодня я долженъ былъ описать это, и вотъ у меня весь день испорченъ“. Читая его произведенія, чувствуешь, какъ авторъ переживалъ съ своими героями все ихъ страданія. Даже Флоберъ, Зола и ихъ послѣдователи не обладаютъ въ большей степени этимъ цѣннымъ даромъ реалистическаго писателя. Но Тургеневъ превосходитъ ихъ всехъ въ другомъ отношеніи, а именно чистотой души и изяществомъ облагороженнаго вкуса, никогда не запятнаннымъ себя изображеніемъ соблазнительныхъ картинокъ; во всехъ его произведеніяхъ, какъ бы ни была велика изображаемая въ нихъ страсть, исключены все тѣ стороны ея, разъясненію которыхъ его французскіе товарищи-натуралисты предавались съ такимъ нескрываемымъ самодовольствомъ. Первое произведеніе Тургенева, написанное имъ въ Баденъ-Баденѣ, было фантастическій рассказъ „Призраки“, въ которомъ старались найти символическое значеніе, тогда какъ оно не что иное, какъ сонъ реалиста. Боденштедтъ, въ своемъ мастерскомъ переводѣ этого произведенія, назвалъ его: „die Erscheinungen“, и оно было напечатано, вмѣстѣ съ другими такъ же мастерски переведенными имъ произведеніями Тургенева, какъ-то: „Фаустъ“, „Первая любовь“, „Пасынковъ“, „Постоялый дворъ“ и „Муму“. Боденштедтъ, качества котораго какъ переводчика, Тургеневъ всегда цѣнилъ по достоинству, прислалъ ему свой переводъ для просмотра. Никогда не забуду я тотъ августовскій вечеръ, когда въ маленькомъ, интимномъ салонѣ виллы Віардо, изъ окопъ котораго видны были вершины Меркурія, озаренныя горячимъ солнцемъ, Тургеневъ, вмѣстѣ съ хозяйкой дома и со мной, принялся за исправленіе этого перевода. Имѣя въ рукахъ русскій оригиналъ, онъ обдумывалъ каждое слово, которое я ему читывалъ изъ рукописи Боденштедта; онъ спрашивалъ наше мнѣніе, и потомъ большинствомъ голосовъ рѣшалось, — какое изъ нѣмецкихъ выраженій точнѣе передавало все отбѣнки русскаго подлинника. Къ сожалѣнію, ему рѣдко удавалось прослѣдить такимъ образомъ переводы его произведеній, сдѣланныхъ другими нѣмецкими переводчиками, нерѣдко искажавшими ихъ смыслъ.

Оба тома Боденштедтовскихъ переводовъ Тургенева навсегда останутся неподражаемыми. Авторъ „Мирзы Шаффи“, по поводу другой такой же работы, находился въ постоянныхъ письменныхъ сношеніяхъ съ нашими общими друзьями: онъ перевелъ на нѣмецкій языкъ болѣе двадцати русскихъ пѣсенъ, которыя Тургеневъ вмѣстѣ съ г-жею Віардо выбрали для того, чтобы положить ихъ на музыку. Для той же цѣли нашъ русскій другъ самъ написалъ нѣсколько стихотвореній, хотя и увѣрялъ нерѣдко, что богъ поэзіи не одарилъ его способностями поэта, несмотря на то, что за такой талантъ онъ охотно отдалъ бы все, написанное имъ. Впрочемъ, въ этотъ счастли-

Вый баденскій періодъ, Тургеневъ писалъ не одинъ только русскія стихотворенія для своей пріятельницы, которая ихъ перекладывала на музыку, но и сочинилъ для нея три французскія оперетки. Домъ госпожи Віардо въ Баденѣ считался въ тѣ годы какъ бы высшей школой пѣнія, куда являлись юные таланты изъ всѣхъ странъ, чтобы поучиться у знаменитой артистки, у которой умѣнье преподавать равнялось ея творческому генію. Особенно старалась она доставить молодымъ женщинамъ разныхъ національностей случаи попробовать себя въ маленькихъ легкихъ драматическихъ партіяхъ. Для этого, однако, нужно было найти оперетки, въ которыхъ всѣ роли, за исключеніемъ одного или двухъ лицъ, могли быть исполнены пѣвицами. Съ этой цѣлью, Тургеневъ написалъ три веселыхъ фантастическихъ оперетки, драматизированныя сказки, исполненныя граціознаго юмора и тонкой прелести: „Le dernier des sorciers“, „L'ogre“ и „Gros de femmes“. Госпожа Віардо написала къ нимъ музыку и иногда принимала на себя исполненіе роли влюбленнаго принца, писанную для альты; когда случалось, что въ числѣ друзей Віардо не доставало баритона, Тургеневъ не считалъ для себя униженнымъ играть роль стараго колдуна, папи или людоеда, котораго дразнили и мучили или прелестные эльфы, или слишкомъ многочисленныя жены его гарема и, несмотря на его величину и силу, побуждали. Большая зала его замка, первый этажъ котораго онъ занималъ самъ, а второй я, легко превращалась въ сцену. Если г-жа Віардо не участвовала сама, она исполняла роль оркестра и капельмейстера, сидя за роялемъ. Эти маленькія представленія давались иногда въ присутствіи такой отборной публики, которую рѣдко можно встрѣтить въ частныхъ домахъ. Король Вильгельмъ и королева Августа сидѣли тамъ въ первыхъ рядахъ креселъ, окруженные избранной баденской публикой, которая по воскресеньямъ во время музыкальныхъ утръ наполняла органную залу и садъ. Королевская чета, въ продолженіе цѣлыхъ десятковъ лѣтъ, привыкла видѣть въ хозяйкѣ дома не только свѣтскую даму, но и выдающуюся артистку, и рѣдко случалось, что, по окончаніи представленія, Ихъ Величества оставались на чай, участвуя въ непринужденной, фамиліарной бесѣдѣ друзей дома.

Въ Баденъ-Баденѣ каждый вечеръ посвящался музыкѣ, самой избранной, въ особенности нѣмецкой, исполнявшейся какъ членами семейства, такъ и гостями. Тургеневъ не могъ наслушаться этой музыки и чувствовать себя на верху полнѣйшаго блаженства, въ особенности, если днемъ онъ могъ заняться другимъ любимымъ своимъ развлеченіемъ—охотой. Съ половины августа, на него, такъ же какъ и на его собаку, Пегаса, про котораго говорили, что хозяинъ любилъ его болѣе, чѣмъ людей, падало особенное безпокойство: они едва могли дожидаться перваго дня охоты; тогда уже нельзя было удержатъ ихъ. Съ Луи Віардо, который всю жизнь былъ такимъ же страстнымъ охотникомъ, и съ двумя собаками Тургеневъ садился въ коляску, увозившую ихъ на мѣсто, нанятое для охоты, или же въ имѣніе кого-нибудь изъ ихъ друзей. Только вечеромъ

всегда съ большой, богатой добычей, они возвращались на виллу, выходявъ по солнцу неисчислимое количество верстъ, потомъ принимались за обѣдъ, а послѣ обѣда за музыку. Никогда, ранѣе часу или двухъ часовъ ночи, мы не оставляли съ Тургеневымъ дома, гдѣ наслаждались превосходнымъ музыкальнымъ исполненіемъ. А загѣмъ мы возвращались съ Тургеневымъ, въ эти теплыя ночи августа или сентября, послѣ столькихъ часовъ наслажденія, унося съ собою въ души отголоски слышанныхъ нами очаровательныхъ мелодій. Какъ много онъ всегда умѣлъ сказать и какъ онъ умѣлъ передать все, что чувствовалъ и мыслилъ! Изъ лежащаго вблизи лѣса слышался крикъ совы, а изъ сада привѣтливое журчанье ручья; тихо шелестили въ ночной тишинѣ листья орѣховыхъ и грушевыхъ деревьевъ; спѣлые плоды падали съ отяжелѣвшихъ вѣтвей; Пегасъ чуялъ что-то и ворчалъ. Надъ лугами растилался бѣловатый туманъ, сквозь который проглядывала луна или блестяшія звѣзды. Мнѣ трудно отрывать отъ друга и возвращаться въ свою спальню, и нерѣдко утреннія заря встрѣчала насъ вмѣстѣ стоящими на порогѣ, его неумоимо рассказывающимъ, а меня съ увлеченіемъ слушающимъ.

### III.

Въ одномъ изъ значительнѣйшихъ произведеній Тургенева, относящихся къ тому времени, дѣйствіе происходитъ внѣ предѣловъ Россіи. Мы видимъ въ немъ то русское общество, которое каждое лѣто съѣзжается въ Баденъ, въ свое любимое мѣстопребываніе. Это повѣсть „Дымъ“, для которой сценой служатъ извѣстныя мѣстности Баденъ-Бадена. Эту повѣсть много переводили, немало порицали, но и высоко цѣнили. Она исполнена ѣдкости и горечи по отношенію не только къ высшимъ аристократическимъ классамъ Россіи, но и ко всѣмъ современнымъ русскимъ стремленіямъ, попыткамъ реформъ и смѣлному самообольщенію насчетъ достоинства, серьезности и значенія которыхъ Тургеневъ не впадалъ въ иллюзію. Пустота, внутреннее ничтожество и варварство, несмотря на модную, либеральную и благовоспитанную внѣшность официальной аристократіи, прикрытыя лишь тонкимъ слоємъ европейской цивилизаціи, описаны у него съ безошибочной правдивостью. Но и не принадлежащія къ этому кружку дворянская учащаяся молодежь и чистосердечно стремящаяся впередъ реформаторы изъ соотечественниковъ поэта почти не нашли себѣ въ „Дымѣ“ предпочтенія передъ генералами, придворными и государственными людьми новой Россіи Александра II-го. Съ какою очаровательною, чувственно-поэтической прелестью описана безсердечная красавица,—героиня этого романа, съ какимъ жаромъ и съ какою нѣжностью описаны страстныя любовныя сцены. Какъ тонко и съ ироническимъ юморомъ описывается развязка отношеній между героемъ и героиней! Какими яркими красками и съ какою точностью описывается мѣсто и фонъ дѣйствія этого Баденъ-Бадена 60-хъ годовъ! Понятно, что такая книга должна была вызвать въ Россіи противъ автора общее негодованіе. Такія рѣзкія вещи, такую жестокою правду ни одинъ народъ

не позволить безнаказанно высказать себя кому бы то ни было из своих, не испытывая к нему враждебного чувства. Но Тургенев слишком хорошо знал свой народ, чтобы испугаться и обмануться этими проявлениями раздражения против него. И русская злоба, как и все русские безрезультатные попытки, походить на дым, с шумом вырывающийся из локомотивной трубы и сначала кажущийся страшным, но потом превращающийся в ничто. В газетных и журнальных статьях излилась вся злость оскорбленного тщеславия. Русские друзья его в отечестве и в Баден-Баден также не обманули его. Даже собирающееся вокруг „русского дерева“, на прогулке у конврсационгауза благородное московское и петербургское общество старалось не выказывать Тургеневу своего недовольства и векорь опять стало улыбаться великану с сѣдой бородой также, как и прежде.

При всех своих поѣздках в Россию, в период его пребывания в Баден-Баден, Тургеневъ всецѣль Берлинъ. Онъ бывалъ и в другихъ нѣмецкихъ городахъ: в Веймарѣ, Штутгардѣ, Мюнхенѣ и Вѣнѣ. Но особенно часто онъ ѣздилъ в Парижъ; тамъ я провелъ с нимъ часть лѣта 1867 года, во время всемирной выставки. В упомянутыхъ нѣмецкихъ городахъ онъ обновлялъ старыя отношенія и завязывалъ новыя с выдающимися писателями и артистами. Я всегда с удовольствием вспоминаю, что мнѣ удавалось служить посредникомъ при завязываньи этихъ отношеній, со временемъ превращавшихся в дружескія. Я могу назвать скорѣе всего: Юліана Шмидта, Адольфа Менцеля и Рейнгольда Бегаса. Талантливость, серьезность, внутренняя правдивость, откровенный и вѣрный взглядъ на жизнь, которые Тургеневъ нашелъ в произведеніяхъ Менцеля, восхищали его и сдѣлали изъ него горячаго поклонника искусства и личности этого несравненнаго мастера. Юліанъ Шмидтъ, не читавшій до того времени ни одной строки русскаго поэта, послѣ того сталъ однимъ изъ его искреннѣйшихъ почитателей и распространителей его произведений в Германіи. В его очеркахъ мы встрѣчаемъ наиболее глубокую и вѣрную оцѣнку сочиненій Тургенева изъ всего, что было писано на нѣмецкомъ языкѣ объ этой „величайшей поэтической силѣ нашего времени“, какъ Юліанъ Шмидтъ однажды назвалъ Тургенева.

Все на свѣтѣ имѣетъ конецъ, и то, что намъ кажется прекраснѣйшимъ, оканчивается всего скорѣе. Если судить по ихъ прелести, эти годы очаровательной жизни в Баден-Баденѣ длились сравнительно очень долго, но и имъ пришелъ конецъ. Причину того была франко-прусская война. Мы оба предвидѣли ее, когда Тургеневъ, послѣ продолжительнаго пребыванія в Россіи, на обратномъ пути в Баден-Баденъ, проѣзжалъ черезъ Берлинъ, въ достопамятный день 15 іюля 1870 г. Тогда уже не было возможности сомнѣваться относительно близости войны. Ежеминутно ожидался пріѣздъ короля и принцевъ королевскаго дома; народъ толпился на улицахъ, въ крайне возбужденномъ состояніи. Все это произвело на Тургенева очень сильное впечатлѣніе; увѣренность в

торжествѣ праваго дѣла, наполнившая каждого изъ насъ, повліяла и на Тургенева, которому блескъ французскаго империализма никогда не внушалъ уваженія. Мы обѣдали вмѣстѣ за табльдотомъ въ гостиницѣ „Петербургъ“, когда вошелъ высокій, не молодой уже офицеръ и сѣлъ за столъ противъ насъ. Я взглянулъ на него: это былъ графъ Мольтке. Видя его такимъ спокойнымъ въ подобное время, какъ будто ничего не случилось, обѣдающимъ вмѣстѣ с другими посѣтителями, не выказывающимъ ни однимъ движеніемъ лица душевнаго волненія, котораго онъ не могъ не испытывать, вслѣдствіе лежащихъ на немъ заботъ, даже у Тургенева вѣра въ нашу побѣду перешла въ основательную увѣренность.

Друзья Тургенева в Баден-Баденѣ не были бы настоящими французами, Луи Віардо не былъ бы увѣжденнымъ республиканцемъ, если бы они послѣ Седана не отнеслись горячо къ осадѣ Парижа, страданіямъ Франціи и бомбардировкѣ Страсбурга. Пріѣхавъ, послѣ взятія Страсбурга, въ октябрѣ, въ любимую мѣстность, я убѣдился, что очаровательные дни навсегда окончились. Въ ту же осень семья Віардо и Тургеневъ переселились в Лондонъ. На слѣдующее лѣто, однако, они возвратились в Парижъ, с намѣреніемъ остаться тамъ навсегда. Тургеневъ поселился в домѣ своего друга в rue de Douai, во второмъ этажѣ. Нѣсколько лѣтъ спустя, онъ вмѣстѣ с нимъ же купилъ прелестный паркъ с виллой „Les frênes“, который тянется отъ края шоссе, черезъ склонъ высотъ Марли до края лѣса, гдѣ онъ незамѣтно поднимается в гору. Тамъ, в недалекомъ разстояніи отъ жилища семьи Віардо, Тургеневъ построилъ себѣ дачу в родѣ коттеджа. В этомъ удобномъ помѣщеніи, устроенномъ, при всей его простотѣ, с большимъ вкусомъ, онъ прожилъ лѣтніе мѣсяцы послѣднихъ лѣтъ его жизни, до болѣзни, которая понемногу разрушала его. Парижъ и его писатели приняли с большой радостью и почестями знаменитаго гостя, возвращеннаго французскому обществу. Скоро были забыты даже насмѣшки надъ столицей Франціи и ея населеніемъ (напр., в „Призракахъ“), забыты также легко и скоро, какъ земляки поэта позабыли обиду, нанесенную имъ в „Дымѣ“. Такъ какъ онъ писалъ свободно по-французски, на него скоро привыкли смотрѣть, какъ на француза въ душѣ и какъ на французскаго литератора. Упомянувъ объ этомъ, считаю долгомъ опровергнуть ошибочное мнѣніе, будто Тургеневъ свои послѣднія произведенія писалъ по-французски, что еще недавно было высказано в одной извѣстной газетѣ. Кромѣ трехъ упомянутыхъ уже мною оперетокъ и одной пьесы, которую онъ написалъ однажды в Баден-Баденѣ, подъ названіемъ „L'au-berge au grand sanglier“, онъ ничего больше не писалъ по-французски, кромѣ писемъ. Онъ всегда высказывалъ, что для него не понятно, какъ можно описывать происходящее в душѣ поэта на какомъ бы то ни было языкѣ, кромѣ родного. Тѣмъ не менѣе, справедливо, что онъ участвовалъ в переводѣ большинства его романовъ и повѣстей на французскій языкъ, сдѣланномъ его другомъ

Віардо, вслѣдствіе чего эти переводы значительно превосходятъ нѣмецкія.

Онъ не пошелъ уже въ Парижъ своего великаго литературнаго друга и художественнаго единомышленника, Проспера Меримэ, талантъ котораго и авторскія качества во многомъ совпадали съ Тургеневскими. Этотъ писатель, познакомившій французскую публику съ русскимъ авторомъ своимъ блестящимъ предисловіемъ къ переводу романа „Отцы и дѣти“, умеръ въ 1870 г., вкорѣ послѣ паденія имперіи. За то Тургеневъ нашелъ еще въ полномъ цвѣтѣ силъ и поэтическаго творчества наиболѣе уважаемаго имъ серьезнаго и истиннаго мастера повѣствовательнаго рода Густава Флобера. Уже въ 1864 г. мой другъ, передавая мнѣ его первое мастерское произведеніе „Madame Bovary“, написалъ на немъ слѣдующія замѣчательныя слова: „Это единственный хорошій романъ во французской литературѣ“. То же, что привязывало Тургенева къ Менцелю въ области пластическаго искусства, сблизило его съ Флоберомъ и послужило основаніемъ ихъ прочной дружбы. Какъ у нѣмецкаго живописца, такъ и у французскаго романиста, онъ находилъ серьезное, благоговѣйное отношеніе къ дѣлу, неподкупную любовь къ правдѣ, откровенность и строгость художественной совѣсти, которыя казались ему, на ряду съ гениальностію, первыми основами и главными условіями настоящаго искусства.

Вокругъ Флобера и Тургенева группировались таланты молодой, тогда еще только пробовавшей свои силы, натуралистической школы. Названныя качества привлекли его также къ Эмилю Золя; хотя чувство Тургенева возмущалось иногда отсутствіемъ вкуса у этого писателя и его непреодолимой склонностію все называть своимъ именемъ, ничего не утаивая.

Въ началѣ 70-хъ годовъ новая страсть развилась у Тургенева, страсть, которая проявляется при продолжительномъ пребываніи въ Парижѣ болѣе, чѣмъ гдѣ-либо—къ собиранію коллекцій картинъ и мелочей. Онъ сдѣлался однимъ изъ постоянныхъ посѣтителей отеля Друо и магазиновъ мелкихъ артистическихъ вещей въ Парижѣ. Его небольшая квартира скоро наполнилась отборными произведениями старой голландской и современной французской живописи, въ особенности великихъ пейзажистовъ Діаза и Руссо. Коллекція бронзовыхъ и фарфоровыхъ вещей изъ Китая и Японіи каждый годъ пополнялась новыми дорогими экземплярами.

Относительно литературной плодovitости это время не уступаетъ проведенному въ Баденъ-Баденѣ. Въ Парижѣ написалъ онъ романъ „Вешнія воды“, полный юношеской силы чувства, но потерявшій много, какъ призналъ вкорѣ самъ авторъ, отъ неудачной развязки. За этимъ романомъ послѣдовалъ, послѣ долгаго пребыванія въ Россіи, другой замѣчательный нравоописательный романъ, подъ названіемъ „Новъ“. Въ этомъ романѣ, какъ въ „Отцахъ и дѣтяхъ“, выказался всепроницающій взоръ поэта, которому открыта какъ глубина сердца отдѣльнаго человѣка, такъ и скрытые отъ толпы симптомы болѣзни души народа, великаго социальнаго тѣла. Въ этомъ романѣ Турге-

невъ описалъ учениковъ и послѣдователей Базарова, перешедшихъ къ дѣйствию. Онъ сорвалъ завѣсу съ новаго, незнакомаго для стоящихъ внѣ его міра и показалъ цѣлую армію фанатическихъ и рѣшительныхъ, хотя и близорукихъ людей, не разбирающихъ средствъ въ своемъ стремленіи разрушить, во чтобы то ни стало, современный государственный строй. Всѣ знаютъ, какое впечатлѣніе произвела эта книга въ отечествѣ писателя и во всемъ образованномъ мірѣ, и всѣ помнятъ то общее удивленіе, когда, нѣсколько времени спустя, въ большомъ нигилистическомъ процессѣ восьмидесяти, представилось въ дѣйствительности все, что описывалъ Тургеневъ. Казалось, что не писатель изображалъ жизнь, а жизнь творила по его рисунку.

Немалое число мелкихъ разсказовъ предшествовало изданію этого романа. Въ большинствѣ изъ нихъ авторъ предпочтительно изображалъ темныя стороны человѣческой природы, таинственное и демоническое человѣческой души. Тургеневъ отдался тогда съ особеннымъ увлеченіемъ изображенію новыхъ, непонятныхъ для жителей Запада, явленій темной религіозной жизни русскаго народа, которая всегда крайне интересовала его. Указываю на удивительные разсказы его: „Живыя мощи“, „Страшная исторія“ и „Разсказъ отпа Алексѣя“. Демоническое и страшное, загадочное и необъяснимое безъ специфической окраски религіознаго умственнаго извращенія, придаютъ маленькому разсказу „Сонъ“ (очень хорошо переведенному Паулемъ Линдау съ французскаго для „Gegenwart“), разсказамъ „Тукъ-тукъ-тукъ“ и „Часы“, ихъ своеобразный характеръ и какую-то мучительную прелесть. Многіе даже изъ ближайшихъ его друзей не знаютъ, что въ это время, когда Тургеневымъ все болѣе и болѣе овладѣвала старческая тоска, онъ написалъ много поэтическихъ видѣній, воспоминаній и аллегорій глубокого пессимистическаго содержанія, замѣчательныхъ то грандіозной смѣлостію, то увлекательностью границей рисунка. Онъ называлъ эти произведения „senilia“; сновидѣнія старца. Многія изъ нихъ онъ дѣйствительно видѣлъ во снѣ, какъ, напримѣръ, фантастическій разсказъ „Старуха“, въ которомъ такъ наглядно изображается неизбежность смерти. Однажды, лѣтомъ въ Берлинѣ, проводя вечеръ съ Юліаномъ Шмидтомъ и мною, онъ намъ разсказалъ этотъ сонъ. У насъ выступилъ холодный потъ. Я записалъ тогда же слышанный мною разсказъ и напечаталъ его въ фельетонѣ „Schlesische Zeitung“ подъ заглавіемъ „Сонъ“.

Эти листки дневника, или „Стихотворенія въ прозѣ“, были найдены у Тургенева его издателемъ въ предпослѣдній годъ его жизни. Уступая настоятельной просьбѣ издателя, онъ позволилъ напечатать нѣкоторые изъ нихъ. Это поэтическое наслѣдство послѣдней эпохи его жизни теперь весьма распространено и переведено уже на многіе языки.

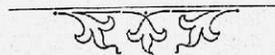
Съ 1875 года я ежегодно разъ или два бывалъ въ Парижѣ и иногда по долго оставался тамъ, причѣмъ въ Rue de Douai или на виллѣ въ Буживалѣ я находилъ такой же дружески-радушный

пріемъ, какъ и въ Баденъ - Баденъ, хотя и при измѣнившейся обстановкѣ. Кромѣ того, мы имѣли счастье видѣть Тургенева и въ Берлинѣ: при каждомъ проѣздѣ его въ Петербургъ или обратно, онъ останавливался тамъ на день или на два. Каждый изъ этихъ дней былъ для насъ праздникомъ, который онъ украшалъ богатыми дарами своего ума. Низкая брань, которою осыпали его на родинѣ за его „Новъ“, вызвала въ немъ рѣшеніе никогда ничего болѣе не писать и не печатать. И дѣйствительно, нѣсколько лѣтъ сряду онъ оставался вѣрнъ этому рѣшенію и не страдалъ отъ этого, если не считать его подагру, заставляющую его неоднократно, но безуспѣшно посѣщать Карльсбадъ и другія минеральныя воды. Въ маѣ 1881 года, отправляясь въ Россію, онъ снова остановился въ Берлинѣ. На этотъ разъ онъ предполагалъ остаться въ Россіи на болѣе продолжительное время: онъ чувствовалъ потребность увидѣть свое отечество при новомъ правительствѣ, послѣ ужасной катастрофы. Въ концѣ сентября онъ возвратился. Даже и въ прежніе годы я не видалъ его въ такомъ свѣжемъ и ясномъ настроеніи, какъ тогда; но его глубоко поразило, что наша общая пріятельница, Кати Эккертъ, у которой мы, только четыре мѣсяца тому назадъ, весело бесѣдовали за обѣденнымъ столомъ, умерла. Впрочемъ, никакая печаль не могла долго противостоять радостному чувству, испытанному имъ въ отечествѣ, во время пребыванія въ деревнѣ въ обществѣ знаменитаго товарища по перу графа Толстого, автора романа „Война и миръ“ и его кружка. Онъ увѣрялъ насъ, что онъ нашелъ много новыхъ прекрасныхъ темъ для будущихъ произведеній и что онъ снова начнетъ писать, не заботясь о томъ, что нарушаетъ данное обѣщаніе. Онъ выѣхалъ изъ Берлина, преполненный радостныхъ надеждъ, не подозрѣвая, что это былъ послѣдній пріездъ его къ намъ.

Первое, что онъ написалъ, послѣ принятаго имъ снова рѣшенія работать, былъ разсказъ „Пѣснь торжествующей любви“, напечатанный еще зимою 1881 г. Этотъ разсказъ необыкновенной простотой своего стиля напоминаетъ намъ старо-итальянскія новеллы, холодная форма которыхъ находится въ странномъ противорѣчьи съ причудливо романтическимъ и страстнымъ содержаніемъ. Второе — была повѣсть: „Клара Милич“, напечатанная уже въ періодѣ жестокихъ страданій, когда Тургеновымъ снова овладѣла прежняя склонность интересоваться снами и субъективными явленіями, которыя для первыхъ натуръ имѣютъ вполне объективную реальность. Эта повѣсть написана имъ подъ влияніемъ изученія подобныхъ явленій и соответственныхъ имъ душевныхъ страданій. Писателю удалось настолько вѣрно передать возникновеніе, послѣдовательное развитіе и теченіе этой болѣзни въ лицѣ бѣднаго, симпатичнаго Аратова, что всякій психіатръ охотно признаетъ замѣчательную тонкость и наблюдательность его изложенія. Въ то же время авторъ сумѣлъ придать галлюцинаціямъ больного такую осязательность, что всѣ спириты не преминутъ, конечно, прославить поэта,

какъ сторонника ихъ ученія, въ смыслѣ реальности духовнаго міра и вмѣшательства его въ нашу жизнь.

Въ январѣ 1882 года началась у Тургенева таинственная, загадочная болѣзнь, которая, то ухудшаясь, то улучшаясь, пресѣкла, наконецъ, его жизнь, послѣ продолжительныхъ и нестерпимыхъ страданій. Только послѣ вскрытія трупа оказалось, что это былъ ракъ спинного мозга. Равнодушная природа хладнокровно разрушила одно изъ своихъ совершеннѣйшихъ созданій. Состояніе его здоровья въ маѣ 1882 года, когда я въ послѣдній разъ видѣлся съ нимъ въ Парижѣ, было, по моему мнѣнію, не совершенно безнадежнымъ. Но съ января 1883 года надежда на выздоровленіе дѣлалась все слабѣе. Послѣднія письма, которыя я отъ него получилъ, были уже продиктованы имъ; но скорѣе онъ не могъ даже и диктовать. Ему дѣлалась операцію по операціей, по всѣмъ правиламъ медицины, и пробовали всевозможные способы леченія, но безуспѣшно. Весною онъ пожелалъ, чтобы его перевезли въ паркъ „Les Fresnes“ — „прихоть умирающаго“, какъ называлъ докторъ это настойчивое желаніе больного. Переходъ отъ полного затемненія разсудка къ изступленію смѣнялись иногда минутными проблесками сознанія, какъ это было, напр., подъ влияніемъ полученнаго имъ извѣстія о смерти его стараго друга Луи Виардо, въ маѣ мѣсяцѣ настоящаго года. Семья его друга, умершаго нѣсколькими мѣсяцами раньше, неутомимо исполняла тяжелья обязанности ухода за обожаемымъ всѣми человѣкомъ. Наконецъ, въ послѣднихъ числахъ августа, мучимый страшною болью, которая не могла облегчаться даже морфіемъ, онъ окончательно лишился способности писать. „За два дня до своей смерти онъ совершенно утратилъ всякое сознаніе“, такъ писала мнѣ его вѣрная подруга въ жизни и смерти, „онъ уже не страдалъ болѣе: жизнь его медленно угасала и, послѣ двухъ всхлипываній, онъ скончался. Мы всѣ были при немъ; онъ опять сталъ также красивъ, какъ былъ нѣкогда, въ царственномъ покоѣ смерти... Въ первый день послѣ его смерти замѣтна была еще глубокая морщина между бровями, образованная подъ влияніемъ судорожной боли. Это придавало ему строгій и энергичный видъ. На второй день на его лицѣ появилось прежнее доброе, пріятное выраженіе; были моменты, когда можно было ожидать, что онъ улыбнется. О Боже, какое ужасное горе“...



## Воспоминаніе В. Р. С. Рольстона.

О литературной карьерѣ Тургенева много было писано послѣ того, какъ пронеслась вѣсть о его смерти. Поэтому я не имѣю надобности входить въ разборъ его сочиненій. Ихъ названія должны быть знакомы большинству читателей. Но я хочу прибавить ко всему уже сказанному нѣсколько словъ объ уважаемомъ другѣ, котораго безвременно унесла смерть. Я зналъ его близко въ теченіе почти пятнадцати лѣтъ. Я посѣщалъ его въ Баденѣ, въ Парижѣ и въ Буживальѣ; а прогостилъ дней десять въ его русскомъ помѣстьѣ, въ 1870 г., не разъ встрѣчался съ нимъ въ Англіи, въ различныхъ случаяхъ и въ разныхъ мѣстахъ; и повсюду, во всякое время я находилъ его все тѣмъ же, очаровательнымъ собесѣдникомъ, добрымъ и скромнѣйшимъ изъ людей. За все время нашего знакомства я никогда не слышалъ отъ него ни слова, въ которомъ сквозила бы хотя тѣнь зависти или высокомерія. Никто не былъ способенъ съ такой готовностью, какъ онъ, признать и поощрить нарождающійся талантъ, оцѣнить достоинства своихъ соперниковъ, какъ живыхъ, такъ и умершихъ. Его кротость по отношенію къ тѣмъ, кто иногда осмѣливался порицать его, была поистинѣ удивительна, и малѣйшій знакъ восхищенія всегда былъ для него неожиданностью. Какъ и покойный Дарвинъ, онъ постоянно бывалъ слегка удивленъ всякимъ доказательствомъ уваженія къ нему. Приведу для примѣра слѣдующій фактъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, Генри Гольтъ изъ Нью-Йорка прислалъ ему чекъ, прося принять это, какъ слабый знакъ признательности, и прибавляя, что никогда ни одно изъ издаваемыхъ имъ сочиненій не доставляло ему такого наслажденія, какъ переводы романовъ Тургенева. Тургеневъ былъ искренно восхищенъ этимъ неожиданнымъ для него признаніемъ его таланта за океаномъ, какъ будто онъ былъ писателемъ сравнительно неизвѣстнымъ, а не романистомъ, сочиненія котораго переведены чуть ли не на всѣ языки Европы.

Когда распространилась ложная вѣсть о смерти Тургенева нѣсколько лѣтъ тому назадъ, одинъ англійскій критикъ написалъ о немъ біографическую статью, въ которой, между прочимъ, сказалъ, что великій романистъ говорилъ очаровательно, но что его энту-

зіазмъ иногда утомлялъ собесѣдника. „Это въ первый разъ меня называли скучнымъ“, писалъ мнѣ Тургеневъ въ одномъ изъ многихъ восхитительныхъ писемъ, которыя я получилъ отъ него. И это сущая правда. Менѣе скучнаго собесѣдника трудно себѣ представить. Онъ говорилъ блестяще, обнаруживая удивительный запасъ знаній по самымъ разнообразнымъ предметамъ; но онъ никогда одинъ не завлаживалъ разговоромъ и отличался необыкновеннымъ умѣньемъ внимательно слушать. Я имѣлъ счастье присутствовать однажды при разговорѣ между тремя друзьями, изъ коихъ двое теперь уже покоятся вѣчнымъ сномъ. Одинъ изъ нихъ былъ Тургеневъ, другой—Кларкъ, вице-директоръ Trinity College, и третій—Теннисонъ. Я отчетливо помню, какъ искусно русскій романистъ отстаивалъ свои мнѣнія, даже когда разговоръ вращался на предметахъ, съ которыми его собесѣдники были специально знакомы. Въ разныхъ другихъ случаяхъ я замѣчалъ, какое сильное, впечатлѣніе онъ производилъ на патентованныхъ ученыхъ, между прочимъ, когда онъ обѣдалъ въ Тринити Колледжѣ, во время краткаго посѣщенія имъ Кэмбриджа. Я увѣренъ, что многіе изъ воспитанниковъ училища до сихъ поръ еще помнятъ этотъ день, ознаменованный присутствіемъ такого блестящаго гостя. Хотя Тургеневъ бесѣдовалъ по обыкновенію увлекательно, но можно было замѣтить, что втайнѣ его занимала посторонняя мысль. Дѣло въ томъ, что въ тотъ же вечеръ должна была происходить въ Итонѣ защита диссертациі однимъ изъ студентовъ, энергіей и талантомъ котораго Тургеневъ былъ пораженъ и которому онъ предсказывалъ блестящую карьеру (увы, она была пресѣчена ранней смертью). Тезисъ заключался въ томъ, что французскіе коммунары заслуживаютъ сочувствія англичанъ. Тезисъ былъ предложенъ до паденія коммуны и до пожара Парижа, но авторъ отказался взять его назадъ. Тургеневу такъ хотѣлось слышать дебаты, онъ такъ боялся пропустить бурную сцену, которую ожидалъ, судя по своему опыту на континентѣ, что онъ постоянно спрашивалъ: не пора ли отправляться? Послѣ дебатовъ, замѣтивъ, съ какимъ спокойнымъ и почтительнымъ вниманіемъ молодые люди, толпившіеся въ залѣ, выслушали аргументы докладчика, а затѣмъ всѣ единогласно возгласили смерть его тезису, Тургеневъ обернулся ко мнѣ и сказалъ: „Теперь-то, наконецъ, я понимаю, почему вы, англичане, не боитесь революціи“.

Въ Оксфордѣ Тургеневъ приобрѣлъ себѣ столько же друзей, какъ и въ Кэмбриджѣ; когда университетъ поднесъ званіе почетнаго члена, онъ снова выразилъ свое удивленіе по поводу громадной разницы характеровъ между британскими и русскими студентами. Въ Лондонѣ онъ также имѣлъ много друзей, и всѣ присутствовавшіе на собраніяхъ, въ которыхъ онъ участвовалъ, напримѣръ у покойнаго Данте Россети, Уилльяма Споттисвуда и Мэдокса Броуна, долго сохраняютъ пріятное воспоминаніе объ его статной фигурѣ съ величавой, львиной головой, объ его привлекательномъ обхожденіи и грустной прелести его улыбки. Въ послѣдній разъ, когда онъ былъ въ Англіи, два года тому назадъ, предполагалось устроить въ честь

его банкетъ и соединить на немъ всѣхъ многочисленныхъ англійскихъ почитателей его. Всѣ, кому ни говорили объ этомъ, поэты, романисты, художники или музыканты, всѣ съ радостью привѣтствовали эту мысль. Но этому воспротивился самъ Тургеневъ, написавъ изъ Парижа: „Нѣтъ, дорогой другъ, нѣтъ никакихъ основаній, почему англичане должны были бы оказать мнѣ такую великую честь. Я недостойнъ ея, и мои враги скажутъ, что я интриговалъ для какой-нибудь цѣли“. Я цитирую его слова по памяти, но гарантирую, что смыслъ ихъ былъ именно таковъ. Однако, хотя большой банкетъ не состоялся, небольшое собраніе въ честь его все-таки произошло въ Лондонѣ, въ октябрѣ 1881 года.

Онъ проѣзжалъ черезъ Лондонъ уже на обратномъ пути въ Парижъ изъ Ньюмаркета, гдѣ охотился на куропатокъ вмѣстѣ съ однимъ изъ лучшихъ своихъ англійскихъ друзей, Гелемъ, бывшимъ корреспондентомъ „Daily News“. Второпяхъ былъ организованъ обѣдъ, на которомъ Тургеневъ встрѣтился съ нѣсколькими товарищами-романистами, Антони Троллопомъ, Уильямомъ Блэкомъ, Блэкморомъ, Вальтеромъ Бэзантомъ, Джемсомъ Пэнномъ. Тургеневъ былъ сильно встревоженъ мыслью о томъ, что ему надо говорить рѣчь, такъ какъ онъ, въ противоположность большинству своихъ соотечественниковъ, не обладалъ плавнымъ ораторскимъ краснорѣчіемъ. Но его просили не вставать съ мѣста, когда онъ будетъ благодарить за тость, а просто, сидя, побесѣдовать немного со своими почитателями. Онъ послѣдовалъ этой просьбѣ и говорилъ безъ натицности, безъ стѣсненія, съ такою увлекательностью, съ такимъ чувствомъ, что этого вечера не забудетъ ни одинъ изъ присутствовавшихъ. Для насъ, англичанъ, онъ былъ всего интереснѣе, когда говорилъ о вліяніи, оказанномъ англійской литературой не только на него одного, но на русскую литературу вообще.

Онъ основательно зналъ англійскую литературу и глубоко изучилъ многихъ старыхъ англійскихъ авторовъ. Въ его деревенскомъ домѣ, въ Спасскомъ, онъ показывалъ мнѣ томы сочиненій нашихъ старыхъ драматурговъ: Бена Джонсона, Вомена, Флетчера, Мэссинджера и другихъ; Шекспиръ всегда былъ его кумиромъ; вообще онъ до конца жизни сохранилъ искреннее поклоненіе передъ многими великими англійскими писателями. Но тѣмъ не менѣе, онъ былъ страстнымъ приверженцемъ своего родного языка, горячимъ поклонникомъ тѣхъ прелестей, которыми русская литература справедливо можетъ гордиться. Пушкина онъ чуть не боготворилъ. На смертномъ одрѣ, онъ высказалъ своимъ друзьямъ, что желалъ бы лежать возлѣ Пушкина, но что онъ чувствуетъ себя недостойнымъ такой великой чести и что такое желаніе слишкомъ дерзновенно съ его стороны. Это неподдѣльное самоуниженіе характеризуетъ человѣка. Быть можетъ, такое отсутствіе сомнѣнія и заставляло его такъ много думать о другихъ. Во время пребыванія моего въ Спасскомъ, я успѣлъ узнать глубину его сердца, обширность его симпатій и къ человѣку, и къ животнымъ, ко всему, что живетъ и страдаетъ. Для меня было настоящимъ наслажденіемъ слушать, какъ онъ въ своей

деревнѣ разговаривать съ крестьянами, своими бывшими крѣпостными, съ мужиками окрестныхъ селъ и съ старыми слугами, пришедшими посмотреть на барина, котораго знали еще ребенкомъ. „Крестьяне очень довольны Иваномъ Сергѣевичемъ“, сказалъ мнѣ одинъ изъ мужиковъ сосѣдней деревни, населеніе которой было недовольно своимъ прежнимъ владѣльцемъ. Въ прошедшемъ году Тургеневъ предполагалъ вернуться въ Россію весной и провести все лѣто въ Спасскомъ. Я надѣялся посѣтить его въ это время и перевести подъ его руководствомъ романъ, который онъ намѣревался писать и который долженъ былъ иллюстрировать огромную разницу, существующую между социализмомъ Россіи и социализмомъ Западной Европы. Планъ романа, какъ онъ объяснилъ мнѣ, былъ приблизительно слѣдующій: русская дѣвушка, примкнувшая къ нигилистическимъ идеямъ, покидаетъ родину и поселяется въ Парижѣ. Тамъ она встрѣчаетъ молодого француза-соціалиста и выходитъ за него замужъ. Нѣкоторое время все идетъ какъ слѣдуетъ къ семьѣ, воодушевленной общей ненавистью ко всѣмъ законамъ и всѣмъ обрядамъ. Но, наконецъ, молодая женщина знакомится и разговариваетъ съ однимъ изъ своихъ соотечественниковъ, который рассказываетъ ей, что русскіе социалисты думаютъ, говорить и дѣлаютъ на ея родинѣ. Она узнаетъ съ ужасомъ, что цѣли и стремленія русскихъ революціонеровъ существенно расходятся съ цѣлями французскихъ и нѣмецкихъ социалистовъ и что глубокая пропасть раздѣляетъ ее отъ мужа, съ которымъ она всегда считала себя вполне согласной. Какъ должна была кончиться исторія—не знаю, но легко себя представить съ какой силой и чувствомъ развить бы эту идею великій писатель, котораго мы утратили.

Я упомянулъ уже о состраданіи Тургенева къ животнымъ. Слѣды этого чувства можно встрѣтить во многихъ его сочиненіяхъ, но есть два разказа его о собакахъ,—животныхъ, которыхъ онъ особенно любилъ, и на нихъ то въ заключеніи я хочу обратить вниманіе читателей. Одинъ изъ нихъ—коротенькій разказъ подъ названіемъ „Собака“, переводъ съ котораго появился въ „Temple Var'ѣ“ нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Другой—исторія „Муму“, собака, которая составляетъ единственный предметъ привязанности ея хозяина, несчастнаго глухонѣмого сторожа при домѣ сварливой старой московской дамы помѣщицы. Собака лаетъ и надѣдаетъ барынѣ, та приказываетъ убить ее. Бѣдному глухонѣмому знаками сообщаютъ объ этомъ рѣшеніи. Онъ покоряется, но даетъ знать, что самъ желаетъ этому рѣшенію. Онъ покоряется, но даетъ знать, что самъ желаетъ выполнить приговоръ. Онъ тщательно моетъ, чешетъ и кормитъ собаку, ласкаетъ ее, наконецъ ведетъ къ рѣкѣ и топить. Однажды Карлейль при мнѣ говорилъ объ этомъ разказѣ и замѣтилъ: „Мнѣ кажется, это самая трогательная исторія, какую мнѣ случалось читать“.

Почти всѣ разказы Тургенева трогательны. Славянскій темпераментъ склоненъ къ меланхолич, а Тургеневъ былъ истый славянинъ. Впрочемъ, не одна только природная склонность къ меланхолич придавала грустный оттѣнокъ его творчеству. Жизнь его не была увѣн-

чана тѣмъ счастьемъ, которое онъ заслуживалъ болѣе, чѣмъ ктонибудь. Однажды онъ высказалъ мнѣ, что, по природѣ своей, онъ созданъ для тихой семейной жизни, оживленной семейными радостями. Но это счастье не было дано ему, и жизнь его была омрачена отсутствіемъ семьи. Какая-то туча заслонила его отъ солнечнаго свѣта и бросила на его жизненный путь тѣнь, которая замѣтна и въ его твореніяхъ. Но теперь тѣнь разсѣялась, и ничто уже не препятствуетъ яркому вѣчному сіянію украшать его память. Быть можетъ, памятникъ, который воздвигнется въ честь его благодарной Россіей, будетъ позлащенъ лучами новой зари, которая, надо надѣяться, скоро возсіяетъ надъ его родной,—родной, которую онъ такъ горячо любилъ, для которой онъ такъ много сдѣлалъ и гдѣ теперь поконится прахъ его.



## Воспоминанія Альфонса Додэ.

Это было лѣтъ десять, двѣнадцать тому назадъ, у Густава Флобера, въ улицѣ Мурильо, въ небольшой уютной квартирѣ, убранной въ алжирскомъ вкусѣ и выходившей прямо въ паркъ Монсо—убѣжище довольства и хорошаго тона; густыя массы зелени заслонили окна, словно зеленныя шторы.

Мы имѣли обыкновенія встрѣчаться тамъ каждое воскресенье, неизмѣнно все одни и тѣ же. Въ нашей интимности была нѣкоторая изысканность: двери были закрыты для постороннихъ, докучливыхъ посѣтителей.

Въ одно изъ воскресеній, когда я, по обыкновенію, зашелъ къ старому учителю, Флоберъ остановилъ меня на порогѣ.

— Вы не знаете Тургенева? И не дожидаясь отвѣта, онъ впахнулъ меня въ маленькую гостиную.

Тамъ на диванѣ лежала, растянувшись, высокая статная фигура славянскаго типа съ бѣлой бородой; увидѣвъ меня, она поднялась во весь ростъ и вскинула на меня пару огромныхъ удивленныхъ глазъ.

Мы, французы, живемъ въ страшномъ невѣдѣніи по части всего, касающагося иностранной литературы. У насъ національный умъ также склоненъ сидѣть дома, какъ и наше тѣло; мы питаемъ отвращеніе къ путешествіямъ и мало читаемъ чужеземныхъ произведеній.

Но тутъ случилось, что я зналъ и хорошо зналъ Тургенева. Я съ глубокимъ восхищеніемъ прочелъ „Записки охотника“, и эта книга великаго романиста, на которую я попалъ случайно, привела меня къ близкому знакомству съ другими его сочиненіями. Прежде чѣмъ встрѣтиться, мы уже были соединены нашей общей любовью къ природѣ въ ея великихъ проявленіяхъ, и тѣмъ обстоятельствомъ, что мы оба ощущали ее одинаковымъ образомъ.

Обыкновенно, описательный гений имѣетъ только глаза и довольствуется картиной. У Тургенева же есть обоняніе и уши. Всѣ чувства его имѣютъ двери, которыя распахиваются настелъ и каждому чувству служатъ сообщеніемъ со всѣми остальными. Онъ поглощаетъ ароматы деревни, звуки воды, прозрачность неба; онъ весь отдается, безъ расчета на эффектъ, этой музыкальной гармоніи своихъ чувствъ.

Это музыка, которая доступна слуху не каждому. Натура столичного жителя, съ детства оглушенная и притупленная шумомъ и грохотомъ большихъ городовъ, никогда не примѣчаетъ ея и не примѣтитъ; ему никогда не слышатся таинственные голоса, шепчущіе среди кажущагося безмолвія лѣса, когда природа думаетъ, что она въ единеніи и забываетъ о человѣкѣ. Эти тонкія ощущенія звука особенно развиваются въ дѣвственныхъ лѣсахъ и обширныхъ безлюдныхъ степяхъ. Не помню, въ какомъ-то романѣ Фенимора Купера, такъ и слышншь въ отдаленіи, какъ пара весель упала съ лодки въ воду среди тишины огромнаго озера. Лодка на разстояніи трехъ миль и, разумѣется, ея не видно; но дремлющая поверхность водъ и лѣса, окаймляющія ея берега, кажутся еще необъятнѣе, благодаря этому далекому звуку весель, и мы ощущаемъ какъ бы трепетъ удивленія. Я самъ, такъ много работавшій въ лѣсу Сенара, никогда не забуду шороха кроликовъ, пробирающихся по тропинкѣ къ пруду, и посѣщенія бѣлокъ, къ прыжкамъ которыхъ съ дерева на дерево я иногда прислушивался по цѣлымъ часамъ.

Русская степь сообщила свою ширь чувствамъ и сердцу Тургенева. Люди становятся лучше, прислушиваясь къ природѣ, и тотъ, кто любить ее, никогда не теряетъ участія и къ человѣку. Изъ этого источника вытекаетъ та сострадательная, заунывная, какъ пѣсня мужика, грусть, которая звучитъ въ глубинѣ твореній славянскаго романиста. Это тотъ человѣческій вздохъ, о которомъ говорится въ креольской пѣснѣ, тотъ клапанъ, который не даетъ міру задохнуться: „Если бѣ міръ не могъ вздыхать, онъ задохся бы“... И этотъ вздохъ, слышнмый снова и снова, какъ въ большихъ, такъ и въ малыхъ повѣстяхъ и рассказахъ, донесся, наконецъ, до слуха императора. Покойный государь говорилъ о романахъ Тургенева: „Это мои настоятельныя книги“. „Записки охотника“ много способствовали дѣлу освобожденія крестьянъ,—это въ своемъ родѣ „Хижина дяди Тома“, хотя тенденція произвѣсти нравственный эффектъ болѣе скрыта.

Всѣ это я зналъ. Тургеневу былъ воздвигнутъ тронъ на моемъ олимпѣ, кресло изъ слоеновой кости въ сонмѣ моихъ боговъ. Но я былъ далекъ отъ мысли, что онъ въ Парижѣ, и даже никогда не задавалъ себѣ вопроса—живъ онъ или умеръ. Поэтому легко себѣ представить мое удивленіе, когда я очутился въ присутствіи этой оригинальной личности, въ парижской гостиной, въ квартирѣ, входящей въ паркъ Монсо.

Я весело рассказалъ ему все это и выразилъ ему мое восхищеніе съ свойственною моею южной натурѣ пылкостью; я сказалъ ему, что читалъ его тамъ, въ моихъ лѣсахъ, и впечатлѣнія отъ ландшафта и отъ чтенія до того перемѣшались, что одинъ маленький рассказъ его такъ и остался въ моей памяти неразлучно съ небольшою полянкой розоватаго вереска, слегка поблекшаго подъ вѣяніемъ осени.

Тургеневъ не могъ придти въ себя отъ удивленія.

— Правда, вы читали меня?

И онъ сообщилъ мнѣ разныя подробности о слабомъ сбытѣ его

книгъ въ Парижѣ, о неизвѣстности его имени во Франціи. Издатель Гетцель издавалъ его просто изъ милости. Его популярность не перешла за предѣлы его отечества. Ему больно, что онъ остается неизвѣстнымъ въ странѣ, столь дорогой его сердцу. Онъ признавался въ своихъ разочарованіяхъ съ грустью, но безъ раздраженія; напротивъ, наши бѣдствія въ 1870 г. еще сильнѣе привязали его къ Франціи. На будущее время онъ не намѣренъ покидать ея. До войны онъ обыкновенно весело проводилъ лѣто въ Баденѣ; но теперь онъ туда не вернется и будетъ довольствоваться Буживалемъ и берегами Сены.

Случилось, что въ это воскресенье у Флобера не было другихъ гостей, и наша бесѣда затянулась. Я расспрашивалъ Тургенева о его манерѣ работать и удивлялся, что онъ не можетъ быть переводчикомъ своихъ собственныхъ сочиненій; онъ говорилъ по-французски съ безукоризненной чистотой, только съ нѣкоторой медленностью, но это происходило отъ необыкновенной тонкости его ума. Онъ признался мнѣ, что академія съ ея словаремъ просто замораживаетъ его. Онъ съ трепетомъ перелистывалъ этотъ ужасный словарь, какъ будто это сводъ законовъ о словахъ и уложеніе о наказаніяхъ тому дерзновенному, который осмѣлится преступить эти законы. Обыкновенно онъ выходилъ изъ этихъ поисковъ съ головой, загроможденной литературными строгостями, и онъ дѣйствовали губительно на его непосредственное чутье... Я помню, что въ повѣсти, которую онъ писалъ въ то время, онъ не считъ удобнымъ рискнуть выраженіемъ „ses yeux pales“, изъ боязни передъ академіей и ея опредѣленіемъ этого эпитета.

Не впервые случалось и мнѣ наталкиваться на эти тревоги; я уже испытывалъ ихъ въ Мистралѣ, и высказалъ Тургеневу, что у меня было на сердцѣ: по моему мнѣнію, французскій языкъ не есть мертвый языкъ, чтобы на немъ писать по словарю установленныхъ выраженій, въ извѣстномъ порядкѣ. По моему, этотъ языкъ трепещетъ жизнью, клокочетъ, бурлитъ. Это великая полноводная рѣка; теченіе ея встрѣчаетъ препятствія на пути, но все уноситъ съ собой. Но пусть она течетъ: вода ея очистится сама собою.

Затѣмъ, когда смерклось, Тургеневъ объявилъ, что долженъ отправиться за „дамами“ въ концертъ Паделу, и я пошелъ съ нимъ. По дорогѣ мы разговорились о музыкѣ, и я съ восторгомъ убѣдился, что онъ любитъ ее. Во Франціи, среди литераторовъ установилась мода ненавидѣть музыку; живопись заполонила все. Теофиль Готье, Поль де Сень-Викторъ, Викторъ Гюго, Эдмонъ де Гонкуръ, Зола, Леконтъ де Лиль — все это ненавистники музыки. Насколько мнѣ извѣстно, я первый громко признался въ своемъ невѣжествѣ по части живописи и въ своей страсти къ звукамъ. Безъ сомнѣнія, это зависть отъ моего южнаго темперамента и отъ моей близорукости—одно чувство развилось въ ущербъ другимъ. У Тургенева музыкальное чувство развилось въ Парижѣ; онъ приобрѣлъ его въ кругу, среди котораго проводилъ жизнь; кружокъ образовался благодаря тридцатилѣтней близости его съ г-жей Віардо, извѣстной пѣ-

вицей, сестрой Малибранъ. Какъ человекъ независимый, холостой, Тургеневъ зашмалъ помѣщеніе въ домѣ № 50, улицы Дуэ, гдѣ жило семейство Виардо. „Дамы“: о которыхъ онъ упомянулъ у Флобера, были г-жа Виардо и ея дочери, которыхъ Тургеневъ любилъ, какъ родныхъ дѣтей. Въ этомъ-то гостепріимномъ пріютѣ я посѣтилъ Тургенева.

Домъ былъ убранъ съ утопченнымъ вкусомъ и роскошью, избличавшими любовь къ искусству и заботу о комфортахъ. Проходя по вестибюлю, я увидѣлъ сквозь отворенную дверь картинную галерею. Свѣжіе дѣвичьи голоса доносились изъ-за портьеръ. Они чередовались съ страстными звуками контральта, который наполнялъ лестницу и поднимался вверхъ вмѣстѣ со мною.

Наверху, въ третьемъ этажѣ, помѣщалась небольшая квартирка, увѣшанная драпировками, загроможденная мебелью и подушками, какъ женскій будуаръ. Тургеневъ заимствовалъ отъ своихъ друзей вкусъ къ изящнымъ искусствамъ: отъ жены—любовь къ музыкѣ, отъ мужа—любовь къ живописи.

Онъ легъ на софу, по своей привычкѣ. Я присѣлъ около него, и мы возобновили нашъ разговоръ на томъ мѣстѣ, на которомъ прервали его. Онъ былъ пораженъ моими замѣчаніями и общалъ принести въ будущее воскресенье, когда мы соберемся у Флобера, повѣсть, съ тѣмъ, что всѣ мы будемъ переводить ее, на его глазахъ. Затѣмъ онъ говорилъ мнѣ о романѣ, который собирался писать, о „Нови“, этой мрачной картинѣ новыхъ социальныхъ наслоений, которая клокоцуетъ въ глубинѣ русской жизни и уже поднимается наружу. Страшное заблужденіе толкаетъ ихъ въ объятія народа. Народъ не понимаетъ ихъ, издѣвается надъ ними, отталкиваетъ ихъ. Покуда онъ говорилъ, я размышлялъ, что Россія дѣйствительно нова, почва еще рыхлая, гдѣ всякій шагъ оставляетъ слѣды, почва, гдѣ все ново, гдѣ все впереди, все еще надо сдѣлать, все еще надо открыть, между тѣмъ, какъ у насъ ни одна дорога не осталась непротопанной, не осталось ни одной тропинки, по которой уже не ходилъ народъ. Оставаясь въ области романа, можно сказать, что тѣнь Бальзака въ концѣ каждой такой тропы.

Послѣ этого свиданія, мы стали встрѣчаться чаще. Особенно живо помнится мнѣ одинъ весенній воскресный день, проведенный вмѣстѣ въ улицѣ Мурильо; онъ остался въ моемъ сердцѣ лучезарнымъ, дорогимъ воспоминаніемъ.

На одномъ изъ нашихъ обѣдовъ мы говорили о Гѣте, и Тургеневъ сказалъ: „Друзья мои, вы его не знаете“.

Въ слѣдующее воскресенье онъ принесъ съ собою „Прометея“ и „Сатира“, который, по революціонному и безбожному тону, походить на рассказъ Вольтера, но только расширенный вдохновеннымъ умомъ.

Снизу, изъ парка Монсо доносились крики дѣтей, яркое солнце свѣтило въ окна, сквозь свѣжую, влажную листву; а мы четверо, потрясенныя этой блестящей импровизаціей, слушали генія въ переводѣ. Тургеневъ проникся вдохновеніемъ поэта; тутъ не было слѣ-

довъ обычной бѣдности перевода, который сковываетъ и сушитъ оригиналь,—нѣтъ, то была душа самого Гѣте, пробудившаяся и бесѣдовавшая съ нами.

Часто Тургеневъ посѣщалъ меня въ захолусты Марэ, въ старомъ домѣ временъ Геприха II, который я занималъ въ то время. Его забавлялъ странный видъ этого величаваго двора и стараго царственнаго зданія съ остроконечной крышей, гдѣ теперь пріютились мелкія ремесла: фабрики волчковъ, сельтерской воды и засахареннаго миндаля.

Однажды, когда онъ вошелъ ко мнѣ подъ руку съ Флоберомъ, мой маленький сынъ, сильно пораженный, закричалъ:

— Папа, да это великаны!

Да, въ самомъ дѣлѣ великаны; добрые великаны, обширные умы, великія сердца, въ пропорцію съ мощной грудью и плечами. Существовала связь, сродство непосредственной доброты между этими двумя гениальными натурами. Жоржъ Зандъ соединила, такъ сказать, соватала ихъ. Флоберъ, говорунъ и рыцарь, настоящій Донъ-Кихоть, съ голосомъ гвардейскаго трубача, съ могучей ироніей, олицетвореніе нормандца (какимъ онъ и былъ) время завоеванія,—былъ, безъ сомнѣнія, мужской половиной этого духовнаго союза. Между тѣмъ, кто бы могъ подозрѣвать въ этомъ другомъ колосѣ, съ бѣлой бородой и пушистыми бровями—женственную натуру, натуру той самой женщины съ тонкими чувствами, которую Тургеневъ нарисовалъ въ своихъ романахъ,—той нервной, томной, страстной русской женщины, то предающейся нѣгѣ, какъ уроженка Востока, то трагической, какъ разнузданная сила? Истинная правда, что иногда души получаютъ несвойственную имъ оболочку, души мужчинъ воплощаются въ слабыхъ женщинъ, а женскія души воплощаются въ титаническія формы. Какъ будто въ великой мастерской человѣческой чья-то коварная рука находитъ забавнымъ вводить въ заблужденіе нашъ разумъ фальшивыми ярлыками.

Около этого времени мы задумали каждый мѣсяць устраивать собранія, на которыхъ могли бы встрѣчаться всѣ наши друзья; эти собранія должны были носить названіе „обѣдовъ Флобера“ или „обѣдовъ освистанныхъ авторовъ“. Флоберъ принадлежалъ къ числу ихъ въ силу своего „Кандидата“; я—по милости моей „Арлезианки“, Зола за его „Bouton de rose“, Гонкуръ за „Анриетту Марешаль“. Эмилю Жирардену тоже хотѣлось втереться въ нашу компанію; но хотя онъ и былъ отъ души освистанъ на театрѣ, мы не считали его писателемъ въ нашемъ смыслѣ и исключили его. Что касается Тургенева, то онъ далъ намъ слово, что былъ освистанъ въ Россіи; но такъ какъ это очень далеко, то мы не подумали справляться.

Нельзя себѣ представить ничего очаровательнѣе этихъ дружескихъ пирушекъ, когда разговоръ льется непринужденно, духовныя силы всѣ возбуждены, сами собесѣдники не знаютъ никакихъ стѣсненій. Какъ люди опытные, всѣ мы были просвѣщенные ѣдоки. Разумѣется, сколько темпераментовъ, столько различныхъ вкусовъ, сколько провинцій, столько и разныхъ блюдъ. Флоберъ заказывалъ

себѣ нормандскія сдобныя лепешки, руанскія утки à l'estouffade. Гонкуръ доводитъ утопченность и привередничество до того, что требовалъ ибирнаго варенья! Я набрасывался на свою bouillabaisse и на ракушки, а Тургеневъ угощался икрой.

Да, насъ не легко было кормить, и парижскіе рестораны должны хорошо помнить насъ! Испробовали мы ихъ множество. Одно время мы ходили къ „Адольфу и Пеле“, за Оперой, потомъ на площадь Комической оперы, потомъ къ Ваазену, вина котораго успокоили нашу требовательность и примирили наши аппетиты.

Мы сѣли за обѣдъ въ семь часовъ вечера, а въ два ночи еще не вставали съ мѣста. Флоберъ и Зола обѣдали безъ сигарокъ; Тургеневъ развалился на диванѣ; мы удаляли лаксезъ—напрасная предосторожность, такъ какъ могучій голосъ Флобера раздавался по всему дому,—и начинали говорить о литературѣ. У кого-нибудь изъ насъ всегда была только что выпешдая книга, то „Искушеніе Св. Антонія“ и „Три сказки“ Флобера, „Fille Elisa“ Гонкура, „Аббагъ Мура“ и „Assomoir“ Зола. Тургеневъ принесъ „Живыя мощи“ и „Новъ“, я—„Фромона“, „Джека“, „Набаба“. Мы толковали другъ съ другомъ по душѣ, открыто, безъ лести, безъ взаимныхъ восхищеній.

Вотъ у меня передъ глазами письмо Тургенева, крупнымъ иностраннымъ почеркомъ, словно старая рукопись, и я передаю его здѣсь цѣликомъ, потому что оно обрисовываетъ наши отношенія.

„Понедѣльникъ, 24 мая, 77.

„Милый другъ, если я до сихъ поръ не говорилъ съ вами о вашей книгѣ, то лишь потому, что желалъ поговорить о ней какъ слѣдуетъ, а не ограничиться немногими банальными фразами. Отложу это до слѣдующаго нашего свиданія, которое состоится, надѣюсь, скоро; Флоберъ на-дняхъ долженъ пріѣхать, и тогда опять начнутся наши обѣды.

„Теперь ограничусь однимъ замѣчаніемъ. „Набабъ“ самый замѣчательный и вмѣстѣ съ тѣмъ самый неровный изъ всѣхъ написанныхъ вами романовъ. Если „Фромона и Рислера“ изобразить прямой линіей—, то „Набабъ“ слѣдовало бы изобразить такъ ~~~~~; и верхушки этихъ зигзаговъ доступны только таланту перворазрядному.

„У меня опять былъ продолжительный и очень сильный приступъ подагры. Вчера я въ первый разъ выпелъ изъ дому, и у меня ноги и колѣни точпо у девяностолѣтняго старика. Очень боюсь, что сдѣлаюсь тѣмъ, что англичане называютъ „a conformed invalid“.

„Тысячу привѣтствій м-мъ Додэ. Искренно жму вашу руку. Вашъ Иванъ Тургеневъ“.

Покончивъ съ книгами и новостями дня, наша бесѣда переходила на болѣе обширное поле; мы возвращались къ тѣмъ темамъ, къ тѣмъ идеямъ, которыя всегда неразлучны съ нами; говорили о любви, о смерти, въ особенности о смерти.

Каждый вставлялъ свое слово. Одинъ лишь русскій на диванѣ молчалъ.

— А вы что же, Тургеневъ?

— А я! Я не думаю о смерти. У насъ въ Россіи никто не задумывается надъ призракомъ смерти; она остается далекой, исчезающей... въ славянскомъ туманѣ.

Одно это слово заключало цѣлые томы о свойствѣ его племени и о его собственномъ гениі. Славянскій туманъ, носится надъ всѣми его твореніями, ступшевываетъ ихъ рѣзкости, даже рѣчь его проникается имъ. Всегда, когда онъ говорилъ, онъ начиналъ съ трудомъ, съ какой-то неувѣренностью; потомъ вдругъ разсѣивалась туча, прорѣзывалась, какъ лучемъ солнца, рѣшительнымъ словомъ. Онъ говорилъ намъ не о Россіи наполеоновской зимы, ледяной, исторической, условной, но о Россіи въ лѣтнюю пору, когда снѣлая пшеница и цвѣты смѣняли снѣжныя мятели, о Малороссіи, странѣ степей, солнцѣ, травѣ, пчелѣ. И такъ какъ мы всегда принаравливаемъ слышанный нами рассказъ къ какому-нибудь мѣсту, то русская жизнь изъ рассказовъ Тургенева представлялась мнѣ жизнью въ алжирскомъ помѣстьѣ, окруженномъ хижинами.

Тургеневъ приподнялъ завѣсу, скрывающую отъ насъ его чудшій, милый запуганный народъ. Онъ говорилъ намъ о его безпробудномъ пьянствѣ\*), о его оцѣпенѣломъ бездѣйствующемъ сознаніи, о его незнакомствѣ съ свободой. Или же онъ открывалъ болѣе свѣтлыя страницы, идилліи, воспоминаніе о крестьянскѣ-мельничихъ, съ которой онъ однажды встрѣтился на охотѣ и въ которую влюбился на три дня. Онъ спросилъ ее на прощанье, чего бы она желала, и красная дѣвушка отвѣчала: „Привези мнѣ, баринъ, изъ городу кусокъ мыла, я хочу, чтобы руки мои пахли хорошо и чтобы ты могъ цѣловать ихъ, какъ у барынь!“.

Отъ любви и смерти мы переходили къ разнымъ болѣзнямъ, говорили о томъ, что человѣкъ—рабъ своего тѣла и долженъ влачить его за собой, какъ гири на цѣпи. Грустныя признанія дѣла сорокалѣтнихъ людей! Что касается меня, то ревматизмъ еще не успѣлъ овладѣть мной, и я трунилъ надъ своими друзьями, посмѣивался надъ бѣднымъ Тургеневымъ, котораго мучила подагра и который, ковыляя, являлся на наши обѣды. Съ тѣхъ поръ я сильно понизилъ тонъ! Увы! Смерть, о которой мы такъ часто говорили, явилась въ нашу среду. Она унесла Флобера, самую душу, связующее звено нашего кружка. Съ его исчезновеніемъ наша жизнь перемѣнилась, мы стали встрѣчаться рѣдко; ни у кого не было духу возобновить наши маленькія собранія послѣ траура о понесенной нами утратѣ.

Нѣсколько мѣсяцевъ спустя, Тургеневъ старался снова собрать насъ. Мѣсто Флобера должно было оставаться пустымъ за нашимъ столомъ. Но слишкомъ чувствительно было отсутствіе его могучаго голоса, его громкаго смѣха; обѣды были уже не тѣ, что въ старое время, и мы отказались отъ нихъ.

\*) А кто виноватъ?..

Позже я встрѣтилъ Тургенева на вечерѣ у г-жи Адавъ. Онъ сопровождалъ одного высокопоставленнаго соотечественника своего, который, проѣздомъ черезъ Парижъ, пожелалъ видѣть современныхъ знаменитости—музей Тиссо съ живыми и ужинающими фигурами. Скажу кстати, что онъ не увидѣлъ ничего кромѣ рисовки—позированія людей, которые или поворачивались спиной или старались выказать себя въ самомъ выгодномъ свѣтѣ. Александръ Дюма, сердясь, что его принимаютъ за любопытное животное, отказался говорить свои остроты, Карлосъ Дюранъ, живописецъ, пѣлъ; Мункачи свисталъ, Бейстъ сыгралъ хорошенкый вальсъ, который, впрочемъ, тянулся слишкомъ долго.

Мы съ Тургеневымъ бесѣдовали въ уголку. Онъ былъ грустенъ и нездоровъ. Все та же подагра! Нѣсколько мѣсяцевъ онъ пролежалъ безъ движенія и просилъ друзей навѣщать его.

Въ послѣдній разъ я видѣлъ его два мѣсяца тому назадъ. Домъ попрежнему былъ полонъ цвѣтовъ; попрежнему неслись изъ залы звуки пѣнія; другъ мой былъ наверху, на своемъ диванѣ, но сильно ослабѣлъ и осунулся.

Онъ страдалъ отъ грудной жабы и, кромѣ того, отъ страшной раны послѣ излеченія кисты. Такъ какъ его не хлороформировали, то онъ описалъ мнѣ операцію съ полной ясностью воспоминанія. Сперва онъ почувствовалъ острую боль отъ вонзившагося въ тѣло ланцета, потомъ ощущеніе движенія, какъ будто очищаютъ фруктъ.

— Я анализировалъ свою боль, чтобы быть въ состояніи описать ее вамъ, полагая, что это можетъ заинтересовать васъ.

Онъ все еще могъ ходить немного и спустился по лѣстницѣ, чтобы проводить меня до двери.

Внизу онъ повелъ меня въ картинную галерею и показалъ мнѣ работы своихъ національныхъ художниковъ: постой казаковъ, поля, ландшафты той теплой Россіи, которую онъ намъ описывалъ. Старикъ Віардо былъ тутъ же, тоже большой; Гарсія пѣла въ сосѣдней комнатѣ, и Тургеневъ, окруженный любимыми искусствами, улыбался, прощаясь со мною.

Мѣсяць спустя, я услышалъ, что Віардо умеръ и что Тургенева, очень больного, увезли въ деревню.



## Воспоминаніе Гюи де-Мопассана.

Великій русскій романистъ былъ однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ писателей настоящаго столѣтія и въ то же время человекомъ честнѣйшимъ, прямымъ, искреннѣйшимъ во всемъ и экспансивнымъ. Простывая свою скромность даже до самоуничженія, онъ не желалъ, чтобы печать говорила о немъ, и не разъ статьи, наполненныя похвалами, уязвляли его, какъ оскорбленія, ибо онъ не допускалъ, чтобы писали что нибудь иное, кромѣ произведеній литературныхъ. Даже критика художественныхъ произведеній казалась ему чистой болтовней и если какой нибудь журналистъ, говоря по поводу какого нибудь изъ его произведеній, сообщалъ подробности о немъ и его жизни, онъ испытывалъ чувство гнѣва, смѣшанное съ какой-то пеловкостью, переходившею у него въ стыдливость. Теперь, когда отошелъ въ вѣчность этотъ великій человекъ, скажемъ вкратцѣ, кѣмъ онъ былъ. Въ первый разъ я встрѣтился съ Тургеневымъ у Густава Флобера. Отворилась дверь,—явился гигантъ. Гигантъ съ серебряной головой, какъ гласилось бы въ сказкѣ фей. У него были длинныя сѣдые волосы, густыя сѣдыя брови и большая сѣдая голова, настоящей бѣлизны серебра, отливающей блескомъ, сіяніемъ, и окруженное этой бѣлизной доброе, спокойное лицо, съ чертами нѣсколько крупными. И у этого колосса были жесты дѣтскіе, боязливые и сдержанные. Онъ говорилъ очень тихо, голосъ былъ нѣсколько мягокъ. Иногда онъ испытывалъ нерѣшительность, подыскивая точное французское слово для выраженія своей мысли, но онъ всегда находилъ его съ удивительнымъ чутьемъ, и эта легкая нерѣшительность придавала его рѣчи особенную прелесть. Онъ умѣлъ рассказывать восхитительно, придавая малѣйшимъ фактамъ художественное значеніе и забавный колоритъ; но онъ нравился не столько силой своего ума, сколько своей добродушной простотой и всегда съ выраженіемъ какого-то удивленія. Да, онъ былъ невѣроятно наивенъ, этотъ геніальный романистъ, побывавшій во всей Европѣ, знавшій всѣхъ великихъ людей своего времени, перечитавшій все, что въ состояніи перечестъ челоувѣческое существо и говорившій на всѣхъ европейскихъ языкахъ, какъ на своемъ родномъ. И онъ удивлялся, поражался вещами, которыя казались простыми ученикамъ парижскихъ коллегій. Можно ска-

зять, что обнаженная действительность его поражала, ибо умъ его не дивится ничему въ написанномъ, тогда какъ онъ возмущался малѣйшими житейскими явленіями. Быть можетъ, его инстинктивное крайнее прямодушіе и его широкое благодушіе задѣвались соприкосновеніемъ съ жестокостью, порочностью и двоедушіемъ чело-вѣческой природы, тогда какъ, напротивъ, въ минуты его творчества, въ тиши кабинета, за письменнымъ столомъ, умъ его пони-малъ и проникалъ въ самыя темныя тайны жизни, точно онъ смо-трѣлъ въ окно на улицу на происшествіе, въ которомъ самъ не принималъ участія. Его литературныя мнѣнія имѣли тѣмъ большее значеніе и цѣну, что онъ судилъ не съ исключительной и узкой точки зрѣнія, какъ всѣ мы, но отыскивалъ сравненія въ литерату-рахъ всѣхъ народовъ, которыя зналъ основательно, расширяя та-кимъ образомъ область своихъ наблюденій, дѣлая сопоставленія между книгами, появившимися на двухъ концахъ свѣта, на раз-личныхъ языкахъ. Несмотря на свой возрастъ и свою почти за-вершившуюся карьеру, онъ имѣлъ самыя прогрессивныя взгляды на литературу, отвергая устарѣлыхъ формъ романы съ комбина-ціями драматическими и учеными, требуя, чтобы они воспроизво-дили „жизнь“, ничего кромѣ жизни, безъ интригъ и запутанныхъ приключеній. „Романъ“, говорилъ Тургеневъ, „есть самая новѣй-шая форма художественной литературы. Въ настоящее время, когда вкусъ очищается, надо отбросить всѣ низшія средства, упростить и возвысить это искусство, которое есть искусство жизни, которое должно быть исторіей жизни“. Если ему говорили о бой-кой продажѣ разныхъ книгъ плѣнительнаго жанра, Тургеневъ замѣчалъ: „людей зауряднаго ума гораздо больше, чѣмъ одарен-ныхъ тонкимъ умомъ. Все зависитъ отъ сорта интеллигенціи, къ какому вы обращаетесь. Книга, которая нравится массѣ, намъ весьма часто не нравится вовсе. И если она нравится и намъ, и массѣ, будьте увѣрены, что въ обоихъ случаяхъ мотивы совершенно различны“. Во Франціи Тургеневъ былъ другомъ Гюстава Флобера, Эдмонда де-Гонкура, Виктора Гюго, Эмиля Зола и Альфонса Додэ. Онъ любилъ музыку и живопись, жилъ въ атмосферѣ искусства. Ни у кого не было такой открытой души, болѣе чуткой и доступ-ной дружбѣ, ни у кого талантъ не былъ такъ увлекателенъ, никто не имѣлъ сердца болѣе безупречнаго и добраго.

## Отзывъ Крашевскаго.

Нѣтъ уже среди насъ этого великаго артиста, золотого сердца, благороднаго и симпатичнаго человѣка. Тургеневъ скончался. Всѣ, знавшіе его лично или знавшіе его только по произведеніямъ, исполненнымъ оригинальности и величайшаго обаянія, почувствуютъ эту невознаградимую утрату!

Только однажды въ жизни мы имѣли удовольствіе встрѣтиться съ нимъ въ Парижѣ. Это было въ... году (увы, съ нѣкотораго вре-мени память къ числамъ, относящимся къ моей жизни, рѣшительно мнѣ измѣняется), кажется въ 1860 году. Въ Парижѣ находился въ то время нашъ пріятель Антонъ Сова (Желиговскій) и его посред-ничеству обязанъ я знакомствомъ съ Тургеневымъ. Обрадовавшись такой счастливой случайности и желая продлить бесѣду, я угово-рилъ Сову склонить Тургенева отобѣдать со мною въ „Taverne An-glaise“, находившейся въ улицѣ Rivoli. Желиговскій обѣщаль и увѣ-рилъ меня, что прибудетъ вмѣстѣ. Я уже предвкушалъ удоволь-ствіе, какъ вдругъ на слѣдующій день утромъ ко мнѣ врывается Сова, не то испуганный, не то смущенный. „Я забылъ тебѣ ска-зать“,—заговорилъ онъ, переступая порогъ,—„что Тургеневъ un grand saigneur, обѣдъ долженъ быть весьма изысканъ и согласно всѣмъ требованіямъ и обычаямъ большого свѣта“.

Я улынулся этому опасенію Желиговскаго, чтобы польскій дво-рянинъ не скомпрометировалъ себя излишнею простотою и береж-ливостью передъ большимъ баринномъ, и успокоилъ его, что обѣдъ будетъ по всѣмъ правиламъ. Въ назначенный часъ прибыли оба. Я ихъ ожидалъ. Мы сѣли къ столу въ сумерки и проболтали до поздней ночи. Тургеневъ, несмотря на казавшуюся холодность и на то, что не отличался большою разговорчивостью, былъ однимъ изъ самыхъ пріятныхъ собесѣдниковъ. Въ обхожденіи его, дѣй-ствительно, не проглядывалъ большой баринъ, но манеры его изо-бличали принадлежность къ самому лучшему обществу.

Уже тогда въ немъ былъ видѣнъ человѣкъ, который много пе-режилъ, нѣсколько поостылъ и изъ жизни вынесъ какое-то тоскли-вое разочарованіе.

На другой день послѣ проведеннаго въ „Taverne Anglaise“ ве-чера, во время котораго мы много говорили о литературѣ и тог-дашнихъ ея теченіяхъ, Тургеневъ принесъ мнѣ на память свою фо-тографію, сохраняемую мною, какъ дорогое воспоминаніе.

Много лѣтъ спустя получилъ я отъ него, по поводу моего юбилея 1879 года, любезное письмо, глубоко меня тронувшее.

Превозносить произведенія Тургенева и ихъ значеніе въ литературѣ—трудъ излишній. Рѣдко кто изъ писателей можетъ похвалиться такимъ всеобщимъ признаціемъ. Впрочемъ, весьма немногіе, подобно ему, заслужили такую всеобщую дань дивною артистическою художественностью, своеобразіемъ и прелестью картинъ, въ которыхъ дѣйствительность и истина сочетаются съ фантазіею и идеализмомъ. Онъ былъ поэтомъ и артистомъ до мозга костей. Все, что онъ писалъ, имѣло свой собственный, рельефный, индивидуальный и не поддававшійся подраженію отпечатокъ. Самая маленькая вещьца, вышедшая изъ подъ пера его, не пускалась имъ въ свѣтъ безъ обработки, съ небрежностью. Все имъ написанное было вынуждено, строго обдуманно и облечено въ ту изящную форму, которая сообщала прелесть каждому его произведенію. Поразительный артистическій инстинктъ указывалъ ему прежде всего границы художественнаго творчества. Никто лучше его не постигалъ тайны покрытія тѣнью нѣкоторыхъ частей творенія, съ тѣмъ, чтобы остальные предстали тѣмъ въ болшемъ блескѣ. Почти всегда Тургеневъ представляется намъ черезчуръ сжатымъ, никогда растянутымъ. Это поэтъ и мастеръ формы, хотя въ немъ нѣтъ и малѣйшаго усилія или напряженія, а все, что онъ пишетъ, выливается, кажется, изъ подъ его пера съ легкостью необычайною. Какъ точные снимки съ общества и вѣка, произведенія его единственныя въ своемъ родѣ. Истина проявляется въ нихъ всегда именно тамъ, гдѣ она очерчивается наиболѣе рельефно! Будучи до нѣкоторой степени реалистомъ, Тургеневъ оставался вѣрнѣе природѣ, но свѣтъ, который онъ бросаетъ на своихъ героевъ, дѣлаетъ ихъ идеальными. Не теряя самообладанія, Тургеневъ никогда не переступалъ границъ, за которыми реализмъ становится отталкивающимъ. Въ его герояхъ всегда есть нѣчто, что ихъ возвышаетъ, облагораживаетъ, къ нимъ манитъ и дѣлаетъ ихъ интересными. Каждое изъ тургеневскихъ дѣйствующихъ лицъ имѣетъ свою собственную мысль, языкъ и свой родной оттѣнокъ. У него нѣтъ двухъ одинаковыхъ лицъ, или ординарныхъ, или же просто вставленныхъ, чтобы запятъ пустое мѣсто.

Независимо отъ нѣкоторыхъ общихъ признаковъ, напоминающихъ въ немъ порою Эдгара Поэ, Бретгарта и даже фантазіи Гофмана,—онъ остается всегда самимъ собою и вполне оригинальнымъ. То, что въ немъ можно отыскать общаго съ другими, является просто знаменемъ вѣка.

Литература не только русская, но и европейская утрачиваетъ въ немъ несравненнаго новеллиста, или вѣрнѣе долженъ былъ бы я сказать—поэта и художника.

Во Франціи дружескія отношенія связывали его прежде съ Флоберомъ, а впоследствии съ корифеями реалистической школы. Въ Германіи онъ былъ хорошо знакомъ съ Ляндау и видѣлся съ нимъ каждый разъ, когда бывалъ въ Берлинѣ. Когда Тургеневъ лежалъ уже на смертномъ одрѣ, Ожье читалъ ему свое новѣйшее произве-

деніе. Все прекрасное онъ умѣлъ оцѣнить, какова бы ни была школа и люди ее представляющіе. Сужденія его были трезвы и здравы скорѣе снисходительны, нежели строги. Ему приписали созданіе слова—„нигилизмъ“. Быть можетъ онъ былъ первымъ крестнымъ отцомъ этого термина, но фактъ онъ засталъ уже совершившимся, и указалъ лишь на характерную черту, обнаруживающую его сущность. Какъ вѣ въ вообще дѣти переживаемаго вѣка, Тургеневъ страдалъ неизлечимою тоскою. Онъ чувствовалъ увлекающія теченія, не зная куда они приведутъ насъ. Скорбь о мірѣ, распадающемся въ развалинахъ, боролась въ немъ съ опасеніемъ, что должно было возникнуть на этихъ развалинахъ. Послѣдній день жизни не разрѣшилъ для него этой загадки.

Какъ человѣкъ, Тургеневъ, въ сердцахъ всѣхъ знавшихъ его, оставляетъ неизгладимую печаль и память. Кроткій, добрый, крайне простой и естественный въ общеніи съ людьми, онъ самъ не придавалъ себѣ значенія и добровольно умалялъ свои заслуги—но будничность дѣлаетъ его исполиномъ.

### Отзывъ Проспера Меримэ.

„Тургеневъ не принадлежит ни къ какой школѣ, онъ слѣдуетъ своимъ собственнымъ вдохновеніямъ. Какъ всѣ лучшіе романисты, онъ изучаетъ человѣческое сердце, эту неисчерпаемую мишу, хотя уже эксплуатируемую съ давняго времени. Наблюдатель тонкій, точный, иногда до мелочности, онъ пишетъ свои персонажи какъ художникъ и поэтъ. Ихъ страсти и черты ихъ лица ему знакомы одинаково и близко. Онъ знаетъ ихъ привычки, ихъ жесты, онъ слушаетъ, какъ говорятъ они, и стенографируетъ ихъ бесѣду. Съ такимъ искусствомъ отдѣлываетъ онъ изъ всѣхъ эпизодовъ ансамбль физическій и моральный, что читатель видитъ портретъ вмѣсто фантастической картины. Благодаря своему умѣнью въ нѣкоторомъ родѣ сгущать свои наблюдения и придавать имъ точную форму, Иванъ Тургеневъ шокируетъ насъ не болѣе, чѣмъ сама природа, представляя намъ какое-нибудь необычайное и аномальное явленіе. Это безпристрастіе, эта любовь къ правдѣ, составляющая выдающуюся черту въ талантѣ Тургенева, не покидаютъ его никогда. Онъ изгоняетъ въ своихъ произведеніяхъ крупныя преступленія и въ нихъ нельзя искать трагическихъ сценъ. Немного и крупныхъ событій въ его романахъ. Ничего нѣтъ проще ихъ фабулы, ничего, что не походило бы на обиденную жизнь, и это еще одно изъ слѣдствій его любви къ правдѣ. Иногда онъ слишкомъ вдается въ описанія, безъ сомнѣнія, весьма правдивыя, но ихъ можно бы сократить. Онъ любитъ и мастерски умѣетъ отмѣчать изящные оттѣнки, но въ этой части своей работы, достоинства и трудностей которой я не отрицаю, онъ рискуетъ иногда ослабить ея интересъ самого дѣйствія. Тургеневъ, глубокій знатокъ человѣческаго сердца, обладаетъ талантомъ наблюденія и изображенія явленій и эффектовъ природы. Всегда точный и простой, онъ перѣдко возвышается певольно до поэзіи, по живости своихъ впечатлѣній и мастерству, съ какимъ онъ рельефно отмѣняетъ характеристическія черты своихъ описаній. Его главные недостатки заключаются въ нѣкоторомъ замедленіи развитія интриги и въ избыткѣ подробностей. Хотя никто не схватываетъ и не изображаетъ съ большей живостью уродливыя и смѣшныя стороны, пороки своей эпохи, нельзя, однако, сказать, что Тургеневъ

писалъ сатиры. Онъ не ощущаетъ того злораднаго удовольствія, какое испытываютъ иные изъ критиковъ, встрѣчаясь съ слабостями и плоскостями человѣческими. Не впадая въ банальную филантропію, онъ является безпристрастнымъ защитникомъ слабыхъ и обиженныхъ; онъ любитъ находить и какую-нибудь черту, которая ихъ возвышаетъ. Перѣдко онъ напоминаетъ мнѣ Шекспира. Онъ питаетъ также любовь къ правдѣ; подобно англійскому поэту, онъ умѣетъ создавать образы изумительной реальности; но несмотря на искусство, съ какимъ авторъ скрываетъ свою личность подъ персонажами своей изобрѣтательности, его характеръ все-таки можно отгадать, и въ этомъ, быть можетъ, заключается его не малое право на нашу симпатію.

## Поль Буржэ обь Иванъ Тургеневъ.

Новый аналитическій разборъ о литературныхъ произведеніяхъ затрудняетъ, а иногда и дѣлаетъ недоступной задачу—судить о писателѣ, отечество и языкъ котораго не знакомы намъ. Эти литературныя произведенія являютъ для насъ итогами. Тысяча частныхъ и національныхъ обстоятельствъ накапливается въ перспективномъ сокращеніи книги, и намъ необходимо представить ихъ себѣ, чтобы хорошо понять эту книгу, проникнуться ея настроеніемъ. Это трудъ безконечно сложный, но къ которому подготовленъ тотъ, кто сохраняетъ въ своей памяти линіи горизонта, разматриваемыя авторомъ, разные типы людей его расы, будничныя подробности ихъ нравовъ. Когда разнородныя свѣдѣнія соединяются съ ощущеніемъ живой физиономіи словъ, употребляемыхъ этимъ авторомъ, то тогда оживаютъ страницы, воскресаютъ тѣ душевныя состоянія, для которыхъ они служили передачей; тогда сбывается та внутренняя метаморфоза, съ которой должна начаться всякая критика. Я имѣю въ виду безличную и объективную критику. Но имѣть-ли и другой личной, зависящей отъ субъективнаго впечатлѣнія, которая не нуждается въ обоснованности своихъ дѣйствій, потому что не стремится къ научной точности въ своихъ выводахъ? Эта вторая критика является только исповѣдью духа, который рассказываетъ о мысляхъ, внушенныхъ ему. Она имѣетъ только цѣнность индивидуальнаго документа, и ничто не мѣшаетъ ей распространяться на переводныя произведенія. Не имѣютъ ли ея заблужденія и недостатки свой интересъ, если она только искренна? Писатели, знающіе Россію, дали намъ портреты Ивана Сергѣевича Тургенева захватывающей правдивости. Я ставлю себѣ задачу анализировать здѣсь не человѣка, но то впечатлѣніе, которое его романы производятъ на французскаго читателя, находящаго въ нихъ чуждые себѣ способы чувствовать и мыслить. Тургеневъ, жившій много среди насъ и глубоко понимающій нашу современную литературу, усвоилъ себѣ извѣстное количество нашихъ идей, но, усваивая ихъ, онъ измѣнялъ и истолковывалъ ихъ въ духъ своей оригинальной натуры. Это душа московскаго дворянина, подвергавшаяся соприкосновенію съ различными доктринами въ высшей степени развитаго искусства; она являлась какъ

бы полемъ для опытовъ, случайно развернувшимся для приложенія нѣкоторыхъ нашихъ современныхъ теорій. Въ этой серіи статей о литературныхъ тенденціяхъ предыдущаго поколѣнія мы встрѣчаемъ такой частный случай изъ жизни, на которомъ имѣемъ возможность прослѣдить дѣйствие нѣкоторыхъ изъ этихъ тенденцій на писателя другой расы. Здѣсь будетъ говориться только о „западникъ“ Тургеневѣ.

### I.

#### О космополитизмѣ.

Достаточно было встрѣтить Тургенева и слышать его разговоръ, хотя бы только одинъ вечеръ, чтобы констатировать насколько еще остался нетронутымъ русскимъ человѣкомъ этотъ великій старецъ съ длинной бѣлой бородой, съ большимъ носомъ, со спокойнымъ взглядомъ; но трудно было не замѣтить въ немъ еще другого человѣка—космополита. Его воспоминанія прогуливались съ одного края Европы къ другому; то они касаются ландшафта съ острова Вайтъ, то улицы нѣмецкаго университетскаго города, то какого-нибудь горизонта Италии, и все это было выражено на превосходномъ французскомъ языкѣ, свидѣтельствовавшемъ объ очень продолжительномъ и интимномъ пребываніи въ нашей странѣ. И эти странствованія его памяти имѣютъ свое очевидное вліяніе на странствованія героевъ его романовъ. Наперечетъ тѣ его рассказы, въ которыхъ не имѣла бы мѣсто чужестранная декорация вокругъ персонажей. Лаврецькій, изъ „Дворянскаго гнѣзда“, проводитъ во Франціи первые годы несчастнаго брака. Павелъ Петровичъ Кирсановъ, изъ „Отцовъ и дѣтей“, кончаетъ смертью, какъ безупречный джентельмэнъ, на Брюльской терассѣ въ Дрезденѣ. „Вѣспнія воды“ имѣютъ своимъ мѣстомъ дѣйствія Франкфуртъ; „Ася“—мѣстечко на берегу Рейна. Чудная поэма, которая носитъ таинственное и меланхоличное названіе „Дымъ“, даетъ тщательное описаніе жизни въ Баденѣ. Въ Парижѣ, у подножья баррикады, падаетъ краснорѣчивый и слабый Дмитрій Рудинъ, чтобы никогда больше не встать. Но это не простыя случайности романической фантазіи. Каждый разъ, когда Тургеневъ упоминаетъ такимъ образомъ какую-нибудь чужую страну, онъ даетъ объ этой странѣ точныя подробности, которыя свидѣлствуютъ о непосредственномъ наблюденіи. Онъ знаетъ съ одинаковымъ превосходствомъ и нравы, и философію, и литературу. Этому служитъ доказательствомъ каждая страница его произведеній и его цѣльныя критическія статьи. Изъ нихъ я назову первымъ долгомъ тонкій разборъ Гамлета и Донъ-Кихота. Космополитизмъ является такимъ образомъ у Тургенева ни случайностью, ни позой: это одна изъ выдающихся чертъ его интеллектуальной физиономіи; это постоянный процессъ его ума, который и предостигъ намъ охарактеризовать. Космополитизмъ всегда является индивидуальной уточненностью, и потому даетъ большое разнообразіе оттѣнковъ, которые самимъ опредѣленіемъ приводятся къ двумъ главнымъ. Можетъ случиться, что человѣкъ, находящійся такимъ образомъ подъ вліяніемъ чужихъ странъ, самъ принадлежитъ къ

очень передовой в культурном отношении расы, и в этом случае родные ему нравы отличаются от новых нравов, изучаемых им, большей простотой. Ему необходимо обновление своих ощущений, как возвращение к менее сложной природе. Этот человек почувствует к экзотизму ту специальную притягательность, какую испытывали женщины конца XVIII века к первобытным формам деревенской жизни. Следовательно, это желание усталого от привычных удовольствий эпикурейца найти новое сильное ощущение. Но представим себе, что космополит принадлежит к народу, менее культурному, чем общество, нравы которого он изучает. Для такого человека космополитизм не будет лишь удовольствием, но и воспитанием. Не ощущая он станет искать в новой среде, а идей; в его душе, замечая вдруг более совершенные формы жизни, просыпается удивление, иногда раздраженное, иногда восторженное, которое не похоже на мелкую забаву дилетантизма. Юноша, приближающийся к знаменитому старцу и поднимающийся на него глаза, как бы для того, чтобы схватить откровение об искусстве жить, вот та картина космополитизма путешественников, пришедших еще из более первобытной страны.

Кажется, что в этом кроется кое-что достойное уважения, как религиозная вера, глубоко серьезное и трогательное, и слава России, что она дала многочисленные образцы этого склада ума, такого благородного в своей искренности. Как понятно, что эти славянские души с безконечной тоской и страстным чаянием приступили к изучению Запада. На расстоянии они нам кажутся неопределенными, темными и непонятными. Хотелось бы сказать, что втерь, свободно проходящий через безграничные степи, оставляет в этих душах немного своего вечного движения. Эта неопределенность доводит их страдание до агонии. Что рассказывают нам их романы, дошедшие до нас? Почти всегда о страдании незрелой воли, о существе без точной определенности, которому недостает смысла направлять бьющий ключом поток своей богатой энергии. Это рассказ о тревоге, мучительная история восторженной души, вышедшей из колен.

Что рассказывает, открывает общая история их отечества? Попытку придать определенной форму цели могущественной и хаотичной нации; и что удивительного, если первая надежда изстрадавшегося народа обратилась к столетней Европе? Начиная с Петра Великого, силою насадившего западное управление в своей стране, и кончая молодыми людьми, проживающими в качестве студентов в Гейдельберге, сколько в своем усердии души пришло оттуда, чтобы просить откровения у Запада! И так как все великие надежды имбуют грустное завтра, то сколько благородных умов страдали потом от контраста между тем развитием, которое они приобрели в своих путешествиях, и той социальной темнотой, которую они находили при своем возвращении на родину. Видя, что формулы, приведенные извне, не вылечивали болезни их дорогого отечества, некоторые отвергли эту обманчивую

надежду на цивилизацию Запада. Другие продолжали верить, что соединение русского гения и цивилизации даст когда нибудь благие результаты, и они пытались осуществить этот союз по мере своих сил. Так было и с Тургеневым.

Мне кажется, что этот писатель мечтал о союзе, о котором я говорю, не в смысле социальных идей. Он был слишком глубоким знатком человеческой патуры, чтобы верить во всемогущество теории усовершенствования народов. Нет, он ограничил свой труд областью эстетики, и его стремление было главным образом обогатить искусство своего отечества тонкими выводами нашего искусства. Даже материал его произведений не изменился с того времени, как он писал „Записки охотника“. Он изображал духовную жизнь своей страны, и только это; по этому рисунку становился все более интересным и продуманным. Если сравнить отрывки его различных произведений, от первых рассказов до „Нови“, то надо сказать, что все более и более продуманная сложность управляла композицией его картин. И никогда неслышится забывать при разведовании развития артистической души, что события эстетики одновременно и события чувствительности. Манера писать соответствует манере чувствовать, и при каждой эволюции формы происходит и эволюция в сердце. Сообразно с духовным содержанием человека изменяется и форма с своей стороны. Значит, философия жизни стоит за всякой философией литературного творчества. Поэтому личность может оживляться своей доктриной эстетики. Как каждый из верующих одной религии, помимо своей воли создает себе что то вроде уединенной поэмы, где соединяются и его интимная индивидуальность и единственное трепетание его сердца, так и разные сторонники одной литературной веры исповедуют ее с самой глубокой оригинальностью, и тоже-ство принципов еще лучше оттеняет разность натур.

Мы знаем, каковы были художественные тенденции Тургенева по интеллектуальным дружбам последней части его жизни. Его изблуженный товарищ, в том смысле, в котором употребляют это выражение рабочие, был Густав Флобер, и он сам сознавался в глубоком восхищении, какое он чувствовал к выдающимся ученикам этого мастера. Несомненно, что они исходили из одной точки. Их последняя цель была одна. Постоянной заботой Тургенева было ввести в роман все более точное наблюдение, и с этой точки зрения он достоин быть названным на ряду с писателями-реалистами и натуралистами. Кроме того, он сходил с Флобером и со всей школой в некотором пессимизме, основанном на предчувствии о конечной бесполезности современного стремления.

„Вешние воды“ могут быть рассмотрены как московский pendant к „сентиментальному воспитанию“; и в горечи анализа „Дым“ равняется „Мадам Боварь“. Наконец Тургеневу, как и другие романисты этой группы, стремился рисовать великую драму

всякой человеческой жизни, любовь, точным и продуманным способом, изучая земскую натуру в своей правдивости. Одним этим он уже решительно отличается от романтиков и лириков. Мы видим у него по меньшей мере три главных тенденции нашей современной мысли, безразлично, родились ли они самопроизвольно или благодаря известному влиянию; остается показать каким образом русский романист толковал и применял способы, присущие литературному наблюдению, какими оттенками отличается его пессимизм от пессимизма его друзей, французских писателей, какой своеобразной оригинальностью облачены его женские фигуры, одним словом, чем стали идеи нашего общества, пройдя еще не тронутую и божеугодно действительную, славянскую душу.

## II.

### Эстетика наблюдения.

Если существует художественная теория, противоречащая самым задушевным потребностям еще молодой расы, то это несомненно та, которая определяет началом и концом литературы точное наблюдение и в известном смысле, заставляет ее быть только одной из форм науки. Молодые народы, как молодые люди: свободная экспансивность им так же природна, как и наивное расцветание мечты или чувства. Действительность им кажется феерично освещенной, преобразованной магической силой воображения. Как это далеко от того умственного состояния, слагающегося из безпредубежденности и ясности, к которому прежде всего должен прийти наблюдатель. Так встречаем мы в начале литературы какого-нибудь народа эпическую и лирическую поэзию, ту, которая видит человеческую жизнь через мрак восторженности. Только после долгого существования этой литературы развивается вкус к строгому анализу, реалистическая детальность замедляет роскошную выдумку; художники предпочитают правдивое безобразию лжи прикрашивания. „Ясно видеть то что есть“, эта формула Стендаля есть и девиз наблюдательной школы.

Но чтобы следовать такой программе необходимо, чтобы писатель считал бы себя лишь зеркалом, долженствующим показать нам возможно большее количество предметов, не искривляя их. Другими словами, необходимо, чтобы писатель стремился первым долгом обладать силой объективности. Каждый раз, когда романист старается совершенно скрыть свою личность за личностью своих героев возможно, что его эстетика совпадает с реалистической доктриной. Если он притом никогда не делает никаких заключений, освобождает свое произведение от всякого предвзятого характера, одним словом, если он обнаруживает стремление ставить своего читателя перед сценами своего рассказа, как перед самой природой, то нет никакого сомнения в его художественном

направлении. Так было и с Тургеневым. Он говорил, выражаясь грубым, но выразительным образом, что его важнейшим делом было при писании романа разрезать пуповину между его персонажами и им самим. И литература наблюдения обладает, как и другие, своей специальной эстетикой, подчиненной той цели, к которой стремится и которую созидает она сама. Тургенев не избег законов этой эстетики.

Реализм,—я употребляю этот термин в высоком его значении,—казалось бы, должен прийти очень быстро к обычному употреблению двух методов. Первый состоит в большом значении описания, второй в предпочтении средних типов типам героическим или просто грандиозным. С того момента, как писатель ставит себе задачу ясно показать то, что есть, его первой задачей будет с точностью очертить ту среду, в которой вращаются его действующие лица. Среда одновременно и причина и результат; причина, так как окружающие предметы глубоко влияют на характеры, и есть ничто, от мебели до комнаты, что хотя бы частично не входило в бесконечную серию мелких фактов, о которых человек говорит: „я“,—результат, потому, что человеческая личность стремится представить себя в окружающих ее предметах, желая продлиться в них. Комната, где живет человек,—наружный вид его привычек и поступков. Поэтому, романисты наблюдения логичны, когда подробно описывают всю, на вид различную, внешность существования. Не менее они логичны, когда стараются выбрать средние типы тех общественных классов, которых хотя бы нарисовать. Действительно, есть во всех выдающихся существах исключительная жизнь, которая уменьшает их, так сказать, представительную ценность. К личности известной профессии или класса присоединяется еще редкая и обособленная индивидуальность. Что же касается личности второго разряда, то она подчиняется всем обстоятельствам, общим ее профессии и классу, не обладая энергией противодѣйствовать им, а показывая их с большой определенностью. Необходимо вспомнить, что писатель наблюдения стремится изложить возможно большее количество мелких правдивых фактов о человеческой жизни, и тогда становится понятным, что настоящим предметом его анализа должна быть натура более низкого уровня, но которая этим самым становится одной из многих.

Тургенев тоже пользовался привычным способом двумя главными методами наблюдательной литературы. То, что придает самую высокую прелесть его описанию, рисует ли он пейзаж, или физиономию какой-нибудь личности, это то глубокое тожество, которое соединяет его переживание с переживанием его героев. Описательный талант, по его мнению, всецело выражался в выборе деталей, вызывающего образ, и он с восхищением цитировал отрывок из Толстого, где этот писатель сдѣлал ощущение ночную тишину на берегу реки, упоминая простой призыв: летучая мышь взлетает... слышен шум крыльев, когда

они соединяются своими концами. Таким частностями всегда пользуется Тургеневъ. Приведу нѣсколько примѣровъ. Вотъ въ „Степномъ королѣ Лирѣ“ картина сентябрьскаго лѣса:

„Тихо стояла такая, что можно было за сто шаговъ слышать какъ бѣлка перепрыгивала по сухой листьѣ, какъ оторвавшійся суечекъ сперва слабо цѣплялся за другія вѣтки и падалъ, наконецъ, въ мягкую траву—падалъ навсегда... И въ той же повѣсти набросокъ рыбакова. „Онъ сидѣлъ неподвижно на голой землѣ; такъ неподвижно сидѣлъ онъ, что куличекъ—песочникъ, при моемъ приближеніи, сорвался съ высохшей тины въ двухъ шагахъ отъ него—и полетѣлъ, дрыгая крылышками и пошевеливая, пасть водной гладью. Стало блѣднѣе, уже давно никто въ его близости не шевелился.“

Я еще укажу на рядъ описаній въ „Призракахъ“, и точь отрывокъ, о которомъ упоминаетъ Меримэ, гдѣ пруды римской кампаніи, видные съ воздушнаго путешествія, сравниваются съ обломками разбитаго зеркала, разбѣянными на паркетѣ. Эти примѣры даютъ достаточное понятіе о томъ, какъ описывалъ Тургеневъ. Онъ даетъ видѣнію воскреснуть въ себѣ, потомъ онъ замѣчаетъ черту, видѣющуюся первой и всегда являющуюся главной деталью, по отношенію къ которой другія составляютъ какъ бы свиту. Но чтобы такое внутреннее воскресаніе состоялось, необходимо, чтобы воля не принимала въ немъ участія. Необходимо, чтобы чувства обладали своей инстинктивной памятью, и эта инстинктивная память существуетъ только у дѣйствительно молодыхъ чувствъ. Эту свѣжесть чувствованій онъ получилъ отъ своей расы, отъ своей жизни, отъ своихъ вкусовъ охотника. Онъ видѣлъ и мѣста, и людей, которыхъ описывалъ, ему не надо было снова смотрѣть на нихъ, чтобы описывать ихъ. Ему не надо было обрабатывать воспоминанія своей нервной системы, онъ просто утверждалъ ихъ, и оказывалось, что такія же воспоминанія жили въ мечтахъ русскаго крестьянина, и степного помѣщика, и его любовницы. Вотъ почему такъ полно слѣпаніе между писателемъ и его персонажами. Они имѣютъ такое же воображеніе, какъ и онъ, потому, что это воображеніе не сложное, наивное и непосредственное. Описывая то, что онъ видитъ въ вещахъ, онъ рисуетъ только то, что видятъ его герои. Его герои и онъ, брагья по дѣятельности, по несложности, по бессознательности физической памяти. Жестокая правда въ сознаніи, что при условіяхъ физической и нравственной гигиены нашихъ большихъ городовъ, въ девяти случаяхъ изъ десяти средній человѣкъ является окончаніемъ. Правда, замѣченная Тургеневымъ, въ томъ, что еще въ молодой расѣ девять разъ изъ десяти этотъ средній человѣкъ является началомъ.

Главные примѣры, которые могутъ служить доказательствомъ этому тезису, по моему, Лаврецкій изъ „Дворянскаго гнѣзда“, молодой Аркадій, изъ „Отцовъ и дѣтей“, Литвиновъ изъ „Дыма“, Бабуринъ изъ „Пунина и Бабурина“ и герой „Дневника лишняго человѣка“. Ни одно изъ этихъ лицъ не стоитъ выше средняго.

Лаврецкій сначала мужъ, довольно жалко обманутой своей женой и это безъ шума, безъ театрального эффекта, безъ всего, что придаетъ драматичность несчастію. Довольно неосторожно онъ влюбляется въ молодую дѣвушку, которую не хочетъ соблазнить и на которой не можетъ жениться, и эта вторая мечта не сбывается, какъ и первая. Аркадій—наивный студентъ, старающійся стать послѣдователемъ непримиримаго ингилиста Базарова, — копчаетъ тѣмъ, что познаетъ въ себѣ характеръ ручного животнаго и женится на первой дѣвушкѣ, глаза которой становятся немного нѣжными для него. Литвиновъ, котораго авторъ представляетъ намъ сначала какъ мурдеца, дѣйствительно устроилъ себѣ счастливый и тихій образъ жизни русскаго помѣщика. Встрѣча съ женщиной, любимой имъ когда-то, возбуждаетъ и разстраиваетъ его до любовнаго помѣшательства. Онъ разрываетъ уже начатое сватовство, но не въ состояніи вызвать въ любимой жепщинѣ достаточно сильнаго къ себѣ чувства, граничащаго съ самопожертвованіемъ, и Литвинову грозила бы гибель, если бы не прощеніе прежней невѣсты. Бабуринъ, узкій и восторженный умъ, олицетворяетъ собою все способности слабаго революціонера.

„Лишній человѣкъ“ опредѣленъ своимъ прозвищемъ. Это одинъ изъ тѣхъ вѣчныхъ статистовъ, которые никогда не будутъ достаточно сильны, чтобы проявить свою волю даже въ самыхъ ничтожныхъ событіяхъ; онъ проходитъ мимо всего, показывая только личную и непростительную неудовлетворенность. Дѣйствительно, это персонажи, какихъ требуетъ романъ паблоденіа, существа безъ чрезмѣрной рельефности, какія встрѣчаются дюжинами, а между тѣмъ ни одинъ изъ нихъ не производитъ впечатлѣнія совершенно неудавшейся жизни, какое получается отъ „сентиментальнаго воспитанія“ Флобера. Даже когда они потерпѣли крушенія въ дѣйствительности, въ нихъ живетъ нетронутая сила, которая позволяетъ имъ чувствовать свои страданія съ непонятной интенсивностью. Они побѣждены, но они не разбиты. Это неудачники, но не погибшіе. Дѣйствительно, благодаря очень глубокимъ причинамъ, происходившимъ отъ нетронутости жизненной силы и отъ болѣе простаго устройства общества, все эти персонажи обладаютъ тѣмъ, чего лишены посредственности нашего современнаго романа,—это обособленность. Ихъ существованіе, какимъ оно проявляется, мучительнымъ ли или безразличнымъ, не есть результатъ чужого мнѣнія. Если они таковы, то они таковы благодаря себѣ. Они совсѣмъ не сообразуются съ программой соціального характера. Они не примѣняются ни къ тому, ни къ другому. Если углубляться еще въ психологію неудачника, то можно замѣтить, что эта неудачливость неизгладима лишь въ впечатлѣніи, произведенномъ на другихъ. Пока человѣкъ дышетъ, онъ можетъ и дѣйствовать, при условіи, что онъ дѣйствуетъ только для себя, не заботясь о внѣшней фізіономіи своихъ поступковъ и о сужденіяхъ о нихъ. Эту поэзію „свободнаго я“ непобѣдимо сохраняютъ все герои Тургенева. Въ итогъ получается, что они жили не жизнью предписанной другими,

но своею собственною, и это мѣшаетъ имъ кончить ничтожествомъ. Въ этомъ мѣрѣ дѣло не въ томъ, быть ли оцѣненнымъ или непонятымъ; но въ томъ, чтобы самому испытать горечь или сладость страстей и получить непосредственное и правдивое впечатлѣніе о превратностяхъ судьбы, чтобы провести нѣсколько лѣтъ среди величественной природы, быть царствомъ въ царствѣ, какъ говорить философъ, даже будучи обреченнымъ на гибель. Въ извѣстномъ смыслѣ, неудачна судьба только того человѣка, который жилъ лишь въ представленіяхъ, созданныхъ о немъ другими.

### III.

#### Пессимизмъ и человѣколюбіе.

Если Тургеневъ присоединяется такимъ образомъ къ школѣ нашихъ современныхъ романистовъ реализмъ, отличаясь оригинальностью своей эстетики, то онъ снова приближается къ нимъ пессимизмомъ, расходясь съ ними въ новомъ его оттѣнкѣ. Но это слово „пессимизмъ“ рискуетъ казаться неудачнымъ, если не опредѣлить въ какомъ смыслѣ оно можетъ быть употреблено по поводу Тургенева. Если взять это слово въ его узкомъ смыслѣ, то ясно, что оно не примѣнимо къ автору „Отцовъ и дѣтей“. Примѣнимо ли оно, тѣмъ болѣе къ человѣку, который писалъ, т. е. дѣйствовалъ. Совмѣстимъ ли полный и опредѣленный пессимизмъ съ какой бы то ни было дѣятельностью, даже самой слабой? Вѣдь онъ содержитъ въ себѣ убѣжденіе, что все къ худшему въ худшемъ изъ возможныхъ міровъ, и такое убѣжденіе непременно приведетъ къ пирванѣ индійскихъ мудрецовъ. Но послѣдователей такого неумолимаго ученія можно найти не больше, чѣмъ вѣрныхъ абсолютному оптимизму.

Мы не можемъ достаточно наставлять на этомъ. Когда мы говоримъ о писателѣ, что онъ пессимистъ,—то мы обозначаемъ этимъ тяжелое впечатлѣніе, получаемое отъ его произведенія, такъ же, какъ даемъ прозвище оптимиста тому, книги котораго производятъ на насъ возбуждающее впечатлѣніе. И дѣйствительно, если провѣрить по существу все написанное, романы, драмы или поэмы, послѣ чтенія которыхъ чувствуется тоска, придавленность и уныніе, то въ глубинѣ найдется идея, что человѣческая жизнь кончается несостоятельностью и что существуетъ внутреннее несогласіе между нашей душой и законами вещей. Всякое поэтическое произведеніе, дѣйствующее возбуждающимъ образомъ, опирается на безсознательномъ или обдуманномъ утвержденіи, что искреннее усиліе всегда приноситъ плоды, другими словами, что существуетъ первоначальная и конечная гармонія между требованіями души и законами вселенной. Чтобы опредѣлить эти формулы примѣрами, мы укажемъ, что „Гамлетъ“ Шекспира можетъ быть разсматриваемъ, какъ типъ пессимистической драмы, а „Вильгельмъ Мейстеръ“ Гете, какъ типъ оптимистическаго романа, хотя ни Шекспиръ, ни Гете не желали подводить свое творчество подъ опредѣленную доктрину. Но въ каждой

философской теоріи есть довольно чувствительная оболочка, и съ другой стороны, всякой чувствительности соответствуетъ извѣстное міровоззрѣніе. Благодаря оттѣнкамъ своихъ чувствъ, художникъ всегда присоединяется къ какой-нибудь метафизикѣ, даже не сознавая это.

Легко понять, почему литература, основанная на наблюдѣнн, богата пессимистическими произведеніями: это происходитъ отъ того, что чувствительность наблюдателя почти всегда по причинамъ, выводимымъ, а priori, та, которую создалъ бы теоритическій пессимизмъ, если бы онъ завладѣлъ душой. И то, что эпоха созидала, какъ эстетическій принципъ,—наблюденіе,—предполагаетъ, что въ этой эпохѣ творческая энергія чрезвычайно ослаблена. Наблюдать, развѣ это не значить покинуть безсознательную и плодотворную жизнь, чтобы войти въ анализъ, въ обдумываніе и критику? Въ этомъ вѣрный признакъ того, что инстинктивное побужденіе уменьшается, а съ каждымъ уменьшеніемъ нашихъ силъ соединяется грусть, и это служитъ вѣрнымъ залогомъ меланхоліи. Если мы взглянемъ на жизнь индивидуума, не найдемъ ли мы, что наблюденіе является у него тогда, когда убываютъ надежды? Молодой человѣкъ, пылко живущій, довольствуется своими ощущеніями. Они смѣняются одни другими съ такой *продолжительной* интенсивностью, что онъ не имѣетъ ни досуга подробно изучать ихъ, ни любопытства разсматривать ощущенія своихъ ближнихъ. Только когда потокъ сильныхъ душевныхъ ощущеній начинаетъ истощаться, когда способность къ счастью ослабѣваетъ, тогда духъ анализа начинаетъ преобладать. Часто случается, что этотъ духъ анализа, благодаря своему упражненію, становится причиной несчастья. Соціальная чувствительность, служащая наблюдателю инструментомъ для опыта, уточняется въ немъ по мѣрѣ ея пригнѣнія. Глазъ художника, благодаря ежедневной практикѣ, усовершенствуется до того, что схватываетъ самыя нѣжные оттѣнки блѣдныхъ красокъ и свѣта. Ухо музыканта достигаетъ ощущенія самыхъ незначительныхъ интервалловъ. То же относится и ко всѣмъ нашимъ физическимъ и духовнымъ способностямъ: ихъ дѣятельность усиливаетъ ихъ остроту. Наблюдатель не избѣгаетъ общаго закона. Привычка мысленно слѣдить за невидимыми извилинами причинъ человѣческихъ поступковъ только увеличиваетъ и въ немъ непріятное чувство, доставляемое подтвержденіемъ мерзкихъ эгоизмовъ и гнусныхъ компромиссовъ со вѣсти. Наблюдать человѣка, это развѣ не есть доказывать себѣ постыдное разпогласіе между нашими стремленіями и нашими силами, между нашимъ чаяніемъ и нашимъ дѣломъ, между нашими вѣшними требованіями и нашей внутренней нищетой? Это разногласіе общее мѣсто во всѣхъ философіяхъ; для наблюдателя это перестаетъ быть неопредѣленной и общей правдой, потому что онъ находитъ провѣрку этого грустнаго закона въ ежедневномъ опытѣ. Что удивительнаго, если пессимизмъ встрѣчается при окончаніи такого труда. Также и литература наблюденія пришла у нашихъ современныхъ романистовъ къ мрачному отчаянію, и то же самое надо сказать про Тургенева. Всѣ его большіе романы, отъ „Дыма“ до „Нова“, отъ

„Дворянскаго гнѣзда“ до „Отцовъ и дѣтей“, и отъ „Вешнихъ водъ“, до „Рудина“, кончаютъ уныніемъ.

Обычнымъ содержаніемъ всѣхъ разсказовъ является исторія крушенія какой-нибудь надежды, и ничто больше не способствуетъ усиленію эффекта непреодолимой грусти, какъ контрастъ между увядающей мечтой и возстановивающей свое господство дѣйствительностью. Никто лучше не схватилъ и не сдѣлалъ такой опутительной ту минуту, когда этотъ контрастъ раскрывается. Въ многихъ ли литературныхъ произведеніяхъ встрѣтите вы страницу, болѣе раздирающую сердце, чѣмъ ту, гдѣ описывается бѣгство героя „Дыма“, Литвинова, изъ Бадена и отъ всего, что онъ любилъ? Невѣста для него потеряна по его же винѣ, потому что онъ ей измѣнилъ ради любимой женщины, и вотъ онъ самъ обманутъ слишкомъ слабой Ириной: „Дымъ, дымъ“, повторилъ онъ нѣсколько разъ; и все вдругъ показалось дымомъ, все, собственная жизнь, русская жизнь—все лодское, особенно все русское. „Все дымъ и паръ, думалъ онъ; все какъ будто безпрестанно мѣняется, всюду новые образы, явленія бѣгутъ за явленіями, а въ сущности все то же да то же; все торопится, снѣшить куда-то—и все исчезаетъ безслѣдно, ничего не достигая, другой вѣтеръ подулъ—и бросилось все въ противоположную сторону, и тамъ опять та же безустанная тревожная и ненужная игра“. Не кажется ли, что слышны вопли одного изъ учениковъ стараго Гераклита о всеобщемъ разрушеніи природы? И еще въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, какая гнетущая правда въ появленіи Лаврецкаго среди деревьевъ сада, гдѣ онъ считалъ себя любимымъ! Весеннее утро. Листья шелестятъ. Небо синее. Молодежь веселится, и отъ прошлаго остается только призракъ, который исчезаетъ вмѣстѣ съ памятью, его сохраняющей... Какое сильное мѣсто, гдѣ разсказывается о самоубійствѣ Нежданова въ „Нови“. Несчастный присталъ къ политическому сообществу, не слишкомъ вѣря въ него. Его природное благородство внушало ему отвращеніе къ своей задачѣ въ то время, какъ онъ ее исполнялъ. Все открыто, и онъ рѣшается умереть: „Если кто-нибудь меня увидитъ въ эту минуту“, подумалъ онъ, „тогда, быть можетъ, я отложу“... Но нигдѣ не показалось ни одного человѣческаго лица... точно все вымерло, все отвернулось отъ него, удалилось навсегда, оставило его на произволъ судьбы. Одна фабрика глухо гудѣла и вопила, да сверху стали сѣяться мелкія, игольскія капли холоднаго дождя“.

Пейзажъ заводовъ—это символъ соціальной жизни въ глазахъ побѣжденнаго, а холодный дождь—символъ природы. Такъ умираетъ еще Базаровъ изъ „Отцовъ и дѣтей“. Уколъ вызвалъ зараженіе крови. Женщина, любимая имъ, но не любящая его, стоитъ у его изголовья: „Дуньте на умирающаго лампаду, и пусть она погаснетъ“... Анна Сергѣевна приложила губами къ его лбу. „И довольно!“ промолвилъ онъ, и опустилъ на подушку. „Теперь... темнота“...

Безъ сомнѣнія, писатель страшится этого конечнаго отчаянія. Тогда онъ прибавляетъ какъ бы *postscriptum* къ своей книгѣ. На

самыхъ послѣднихъ страницахъ „Дыма“ Литвиновъ приближается къ своей невѣстѣ. Въ „Отцахъ и дѣтяхъ“ цвѣты, растущіе на могилѣ Базарова, говорятъ какъ бы о надеждѣ свыше. Все равно, спайка слишкомъ замѣтна между маленькимъ фрагментомъ въ концѣ романа и предыдущей частью. Эти поправки не вліяютъ на предыдущее и ничего не исправляютъ. Общее впечатлѣніе произведено, и надо сознаться, что оно безнадежно. Но вотъ въ чемъ глубокая разница между пессимизмомъ Тургенева и нашимъ первымъ современнымъ романистомъ, великимъ и мрачнымъ Флоберомъ. Чувство безцѣльности человѣческихъ усилій не приводитъ у него къ человѣконенавистничеству. Его пессимизмъ, хотя часто и очень интеллигентный, но никогда не переходитъ въ мизантропію. Казалось бы, что такъ должно быть всегда, потому что пессимизмъ есть проклинаніе природы, которое основывается на контрастѣ между идеаломъ и дѣйствительностью; а такъ какъ, съ другой стороны, идеаль есть плодъ человеческой души, то необходимо, если быть послѣдовательнымъ, восхвалять эту душу, чтобы имѣть право проклясть этотъ міръ.

Между тѣмъ это не такъ, и презирающіе вселенную презираютъ обыкновенно и человѣка. Этому стануть меньше удивляться, если вспомнить, что пессимизмъ рѣдко является разсудочнымъ ученіемъ. Это общее недомоганіе чувствительности, какъ будто въ умъ вперыскивается струя желчи, окрашивающей всѣ предметы въ мрачный цвѣтъ, безразлично, каковы они сами по себѣ. Тургеневъ представляетъ намъ другое зрѣлище. Онъ пессимистъ, но при этомъ жалостливъ. Призракъ неизбѣжной дряхлости всякаго существованія заставляетъ его жалѣть, какъ жертвы, всѣ тѣ несчастныя существа, которымъ дана была жизнь. Не съ ѣдкой усмѣшкой встрѣчаетъ онъ своихъ побѣжденныхъ героевъ, а со слезами жалости. Онъ не смѣется ни надъ заблужденіями Литвинова, ни надъ бесплоднымъ краспорѣчіемъ Рудина, ни надъ семейными дрязгами Лаврецкаго, ни надъ непослѣдовательностью Базарова. Нѣтъ, онъ ихъ любитъ, этихъ побѣжденныхъ за то, что они постигли идеаль болѣе высокій, чѣмъ существованіе. Дѣйствительно, этотъ идеаль обманулъ ихъ, но поэтъ ихъ за то еще болѣе жалѣетъ. Онъ ихъ слушаетъ. Онъ ихъ понимаетъ, ихъ проникаетъ и становится на ту внутреннюю точку зрѣнія, которая свойственна и каждому изъ насъ, когда мы судимъ себя въ правдѣ нашей совѣсти; и кто изъ насъ, когда мы судимъ себя въ правдѣ, что онъ болѣе стоитъ, чѣмъ ему даетъ судьба? Такимъ образомъ Тургеневъ производитъ на своего читателя дѣйствіе невыразимаго умиленія. Оно почти такое, какимъ проникнутъ человѣкъ передъ любимой женщиной, рассказывающей ему о какомъ-нибудь неизгладимомъ несчастіи своей жизни. При нѣкоторыхъ страницахъ его романовъ волненіе настолько сильно, что надо закрыть книгу и прервать чтеніе на нѣсколько минутъ: чрезъ ваше воображеніе романистъ прикоснулся къ большому мѣсту вашего сердца, и, какъ ни легко прикосновеніе его пальца къ ранѣ, невозможно перенести его долго. Въ этомъ трепетѣ снова найденной изъ-за анализа человѣчности, въ этой глубокой симпатіи къ обнаруженной даже человѣче-

ской нищеты, въ этомъ до конца сохраненномъ дарѣ жалости,—вы найдете у Тургенева постоянное присутствіе божественнаго пламени любви. Такъ трудно сохранить его нетропутомъ, это согревающее и дрожащее пламя, черезъ разрушеніе современнаго существованія! Какія причины соединяются, чтобы потушить его въ пепелъ? Злоупотребленіе литературой, скороспѣлость распутныхъ опытовъ, жестокость соціальнаго соперничества, клеймо разговорныхъ прощій,—вотъ нѣкоторые причины, слѣды которыхъ замѣтены въ произведеніяхъ многихъ писателей нашей эпохи! Отъ этихъ жестокихъ вліяній Тургеневъ былъ избавленъ благодаря искренности и чистотѣ своихъ первыхъ впечатлѣній, благодаря тому, что часть жизни протекла въ деревнѣ, а также благодаря его состоянію и долгимъ годамъ одиночества среди своихъ крестьянъ. Но главное, что поддерживало въ немъ пламя любви,—была его постоянная мысль объ его Россіи. Всѣ книги кажутся написанными единственно для нея, съ цѣлью служить ей. Тургеневъ никогда не былъ чистымъ художникомъ, для котораго красивая фраза единственная реальность,—чувство болѣе мудрое, можетъ быть, но въ глубинѣ котораго скрывается ужасъ передъ дѣйствительностью.—Больше, чѣмъ свое искусство, онъ любитъ съ безкопечной нѣжностью эту русскую жизнь, мрачные сны, недоконченныя мечтанія, обманутыя стремленія которой онъ описалъ съ прочувствованнымъ снисхожденіемъ. Это не былъ тотъ патриотизмъ, въ томъ опредѣленномъ смыслѣ, въ какомъ мы употребляемъ это выраженіе; это было въ родѣ мистическаго общенія съ сердцемъ всего его народа. И та особенная жалость, которую онъ обнаруживаетъ къ своимъ персонажамъ, происходитъ отъ того, что и тѣ и другіе носятъ въ себѣ искру той русской души, которую онъ такъ необыкновенно любитъ. И онъ самъ такъ отдаленъ отъ нашего западнаго общества этимъ основаніемъ своего существа, что опредѣляя въ немъ смѣшеніе интеллектуальнаго пессимизма и глубокаго чувства, начинаешь припоминать азіатскія религіи (впрочемъ, не азіаты ли на половину русскіе?) и развитіе буддизма, которое ссздало изъ самого абсолютнаго философскаго nihilизма бющій ключемъ потокъ неистощимаго милосердія?

## IV.

## Женскіе образы Тургенева.

Эти указанія обозначающія точки, въ которыхъ Тургеневъ расходится съ нашими романистами, остались бы неполными, если бы не вызвать прелестное общество его женщинъ. Для каждаго писателя воображенія въ этомъ, кромѣ того, необходимомъ испытаніи. Дѣйствительно, въ созданіи своихъ героинь писатель обнаруживаетъ самымъ палящимъ способомъ личный складъ своего ума. Развѣ не онъ составляютъ, въ концѣ концовъ, его мечту о счастьѣ, одушевленную, живую и перенесенную въ дѣйствительность на нѣсколько мгновений?

Если писатель находитъ удовольствіе клеймить типы женщинъ

своихъ романовъ, лишая ихъ поэзіи, показывать подъ непостоянствомъ ихъ фантазіи распущенность ихъ физиологіи и, въ основаніи всѣхъ ихъ привязанностей видѣть требованія ихъ нервной системы, то можно быть почти увѣреннымъ, что этому человеку пришлось страдать отъ лжи любви. Его презрѣніе къ женской натурѣ есть таинственная исповѣдь его сердца. Но если вы встрѣтите въ романѣ, что такіа лица нарисованы съ мечтательной симпатіей, гдѣ вся грація нѣжнаго женскаго ума развертывается въ трогательной обстановкѣ, то будьте увѣрены, что авторъ сохранилъ черезъ всю свою жизнь эту любовь къ любви, которая заставила Бальзака писать такую фразу въ своей корреспонденціи: „Неужели я никогда не буду имѣть около себя одну изъ тѣхъ пѣжныхъ женскихъ душъ, для которыхъ я такъ много сдѣлалъ?“... и нѣсколько лѣтъ позже, подавленнымъ опытомъ, по не обманутый, онъ сказалъ: „Можетъ быть я отвыкну отъ своихъ идей о женщинѣ, и я проживу, не получивъ отъ нея то, чего я просилъ!“ Между тѣмъ Бальзакъ былъ, какъ и Тургеневъ, писатель наблюденія, и оба пытались съ точностью и безъ лиризма нарисовать женщинъ, которыхъ выводили въ своихъ произведеніяхъ. Они намъ изображаютъ ни ангела, ни демона романтиковъ: это правдивое созданіе, которое мы сами видѣли, въ обществѣ или на улицѣ, съ своими мелкими поступками и съ идеями, похожими на свои поступки; съ своими предразсудками капризнаго ребенка, съ хитростями слепкомъ слабого существа. Вотъ удивительная спутница, всегда готовая стать или несравненной подругой или неодолимымъ врагомъ... Но изъ того, что писатель-наблюдатель трактуетъ женщину безъ лиризма, какъ предметъ изученія, не слѣдуетъ, что онъ можетъ изучать ее безъ личнаго волненія. Намъ легко предположить, что наблюденіе заставляетъ его совершенно отречься отъ своей личности, чтобы легче понять личность другихъ людей, ему родственныхъ. Не можетъ быть иначе, когда дѣло идетъ о разборѣ этой тонкой, обманчивой природы дочери Гвы, такой отдаленной отъ насъ множествомъ характеровъ, и которую мы знаемъ главнымъ образомъ благодаря нашей опытности на почвѣ чувствованій. Да, женщина, любимая нами, которая заставляла насъ страдать, или расточала намъ счастье, она невольно служить намъ потомъ и моделью, когда мы пытаемся дать форму нѣкоторымъ истинамъ, касающимся ея сестеръ. Поэтому фигуры женщинъ, набросанныя каждымъ писателемъ, больше характеризуютъ его, чѣмъ фигуры мужчинъ.

Когда желаемъ опредѣлить то очарованіе, которымъ обладаютъ женщины русскаго писателя, то сейчасъ же навертывается выраженіе „мистерія“. Это одно даетъ писателю обособленное мѣсто среди со временныхъ аналитиковъ. Онъ сохранилъ передъ женскимъ существомъ впечатлѣніе неизвѣстнаго, очаровательной, но нѣжной загадки, которая покидаетъ сердце мужчины съ призракомъ красивыхъ и благородныхъ увлеченій. Вокругъ нѣжныхъ ланитъ героинь его романовъ колеблется эта невыразимая улыбка, которыхъ самый современный изъ художниковъ ренессанса, Леонардо да Винчи, рисуетъ на устахъ своихъ Джоконды, улыбка, по поводу которой было дано такъ много

объяснений, которая никогда не будет определена по той простой причине, что она изображенная тайна.

Надо, как глубокомысленно сказал философ, понять непонятное, как непонятное. Нет ли одной женщины у Тургенева, о которой нельзя было сказать слова, сказанные кем-то по поводу Лизы в „Дворянском гнезде“: „чужая душа, видишь ли, это дремучий лес“. Никогда Тургенев не разрывал эту тайну простым анализом физиологии. Именно потому, что он считает отблеск полу-тени признаком, свойственным женской душе, Тургенев уважает стыдливость своих героинь, как это делал бы самый нежный любовник. Эта стыдливость ему кажется психологическим фактом первой важности, и не считается с ним, — являлось бы признаком натянутости анализа. И нет больше целомудренного писателя, хотя он показал с смелостью ученого все заблуждения прелюбодельной и соблазнов. Но назвать словами некоторые тайны любви, это значит их позорить, и Тургенев всегда избегал этого клеймения. Изучайте же их, этих женщин, которыми он наполнил свои книги и смотрите, как не исчезает из глубины их глаз тень, то скрывающая преступную мысль, то бесконечную нежность, но всегда, не проникаемая. Три главных типа проходят и возвращаются в его романах. Во-первых безнравственная женщина, та, которую Барбэ д'Оревилли называет демонической, любопытное и опасное создание, завладевающее мужчиной и ведущее его по преступным путям к безвестию и смерти. В „Вешних водах“ Мария Николаевна забавно оборочивает Дмитрия Павловича Саина только потому, что она видит его полным действительной любви к другой. В „Дворянском гнезде“ г-жа Лаврецкая, улыбающаяся прелюбоделька, притворная и счастливая. Но ни где романист так не определил этот характер кокетки, со всеми его тревожными и противоречивыми, как в „Дыме“, в образе Ирины. Здесь это не только злая женщина: она искренно любит нравиться; ей необходимо быть любимой, хотя она сама не способна любить до окончательной и полной отдачи своего внутреннего я. Она искренна, даже в своей лжи, потому что она первым долгом лжет сама себя. Она жаждет и вместе с тем страшится слишком чувствовать. Чего она хочет? Чего не хочет?.. Ирина знала Литвинова, будучи еще молодой девушкой, она любила его, потому вышла замуж за другого, являясь жертвой тоски по великосветской жизни, которую не может победить. Она встречается со своим старым другом и начинает за ним ухаживать. Да, это она, которая приближается к нему, вызывая признания, вызывая надежды, до того, что он жертвует девушкой, на которой должен жениться. Она у него в долгу теперь своей жизнью, и он просит ее браться с ним. Но она не хочет принести эту высшую жертву. Что я говорю? она не может. Темное влияние над ней и мшлет ей идти до конца страсти, и ее желания ослепляют на путь любви... Закрываем книгу, закрываем глаза и вот является очаровательное и опасное создание с улыбкой, обещающей любовь, с

взглядом, раскрывающим необузданную душу, с бледностью, свидетельствующей об искреннем чувстве, — а между тем она не любит, не может любить. И подымается вопрос, на который романист не дает ответа и не должен его давать, потому что это существо само по себе загадка. Показывают ее такой какой она есть, не исчерпывая ее совершенно, потому что она себя не знает и никогда знать не будет, — душа непостоянная и колеблющаяся, как вода, как она и волнующаяся, и неизгладимая для мечтателя, нагибающегося над ней и не знающего о присутствии мертвеца в этой бездне. Рядом с кокетками надо ставить мистических женщин. Они редко встречаются в романах у наших писателей и в избытке в произведениях Тургенева. Наиболее привлекают внимание Софья Владимировна в „Странной истории“, Машуринна в „Нови“ и Клара Милитч. Это религиозные души, для которых необходимо согласовать свою жизнь с идеалом и они идут искать мир своему сердцу: первая — в безумном самопожертвовании на благо перекрестного пророка, на половину дикаго, на половину слабоумного; вторая в рискованных героических политических заговорах; третья в самоубийстве. Никогда с большей силой не было написано о могуществе энтузиазма, создающего святых и мучениц, и о отчаянном блуждении, сопровождающем его. „Мирь сердцу твоему, бледное загадочное существо“, говорит писатель по поводу Софьи Владимировны. Неужели одним органическим недостатком можно объяснить эту непотребную жажду величественного? Разве нет в восторженной лихорадке этих жертв потребности сверхъестественного, чего-то более реального, чем наука, более разумного, чем наш разум? — Есть непонятное также и в самых трогательных женщинах Тургенева, в этих Антигонах, и он, как и поэт Шеллей, любил этот божественный образ, жалости, смелости и чистоты. К типу Антигоны относится Марианна из „Нови“, так просто и благородно последовавшая за Неждановым. Также и Лиза из „Дворянского гнезда“. Эти две девушки кажутся очаровательным символом всей искренности, вмещающейся в их нежных и хрупких сердцах. И всегда в глубине этих прелестных созданий романист показывает что-то невыразимое и недоступное. Распутна ли женщина, божественна ли или заблуждается она, для него она всегда отдаленно от нас стоящая мир, одинокая в своей сущности личность, недоступная нашему анализу, может быть и нашей любви, кроме редких минут, которых не следует даже желать, так как они долго не длятся. И как утешиться повидавши и обнявши счастье, чтобы потерять его потом навсегда?

Этот взгляд, свойственный Тургеневу, объясняется двумя причинами. Первая кроется в самой природе русской женщины, переданной романистом, как нельзя лучше; все, ее знающее, сходится в представлении о ней, как о смущающем, загадочном существе, которое также трудно определить, как и забыть. Вторую

причину надо искать въ душѣ писателя. Какой показывается намъ эта душа великаго художника черезъ сдѣланный нами анализъ? Чему она идетъ на встрѣчу въ окончательномъ развитіи всѣхъ своихъ идей?—Безпредѣльности, неизмѣримой безднѣ мечты. Эта любовь къ мечтѣ вдохновила реалиста написать „Призраки“ и „Пѣснь торжествующей любви“, напоминающихъ своимъ мистицизмомъ „Лигею“ и „Мореллу“ Эдгара Поэ. Эта сила мечты дала ему возможность видѣть даже въ посредственныхъ существованіяхъ обособленность и поэзію. Эта сила мечты спасла его отъ изсушающей мизантропіи пессимизма. Это она заставляетъ его остановиться передъ женщиной съ любовью, уваженіемъ и удивленіемъ. Увы, мечта, такъ понятая, не имѣетъ ничего общаго съ счастливыми мечтами отрока, которому желанія окрашиваютъ жизнь въ розовые тона. Это скорѣе трагическое и мучительное сознаніе человѣка, понявшаго, что наша вселенная—продолжающееся чудо, что всякая реальность утопаетъ въ туманной ночи.

Если хотите, то это постоянный призракъ того, что позитивисты называютъ непознаваемымъ и что считается источникомъ и концомъ всего существующаго. Этотъ призракъ встрѣчается въ началѣ сознательной націи всѣхъ народовъ, но дѣло сложившейся общественной жизни отвлекъ насъ отъ него. Разсѣянная въ тысячахъ любопытныхъ подробностей, мысль цивилизованнаго человѣка мало заботится объ объяснимости или необъяснимости происхожденія міра о томъ, что человѣческая жизнь представляетъ собою комедію играющуюся на краю пропасти тайны. Въ этомъ смыслѣ можно сказать, что духъ анализа противоположенъ мечтѣ. Между тѣмъ у Тургенева эти два элемента встрѣчаются и смѣшиваются, и случается, что тотъ, который не достигнутъ, незамѣтно измѣняетъ другой. Идеи очень могущественны сами по себѣ, по есть кое-что еще болѣе могущественное, чѣмъ онѣ: это умъ, который ихъ принимаетъ, себѣ усваиваетъ и обращаетъ ихъ въ собственное содержаніе. Еще могущественнѣе ума народъ, для котораго умъ только рабочий. Счастливъ тотъ, кто, какъ Тургеневъ, можетъ отдать себѣ справедливость, что онъ былъ хорошимъ служителемъ дѣлу, надъ которымъ работаетъ его народъ!.. Особенно счастливъ, если ему удалось увидѣть результаты этого дѣла...

## Джемсъ о Тургеневѣ \*).

### I.

„Тургеневъ былъ однимъ изъ наиболее богато одаренныхъ людей: необычайно привлекательный, превосходный собесѣдникъ и рассказчикъ; его фізіономія, личность, характеръ, его необыкновенная общительность, словомъ, качества его, какъ человѣческой личности, оставили въ памяти его друзей образъ, въ которомъ литературная слава является лишь одной изъ чертъ, не затмеваящихъ дѣлаго. Образъ этотъ покрытъ меланхолическимъ налетомъ, отчасти потому, что меланхолія составляла глубокую и неизгладимую особенность его темперамента, отчасти же, можетъ быть, потому, что въ послѣдніе годы его жизни, Тургеневу приходилось переносить тяжелые недуги. Но наряду съ меланхоліей въ немъ было много искрящейся веселости, способности отдаваться наслажденію. Тургеневъ былъ очень сложная натура. Я чрезвычайно восхищался его произведеніями еще до личнаго знакомства съ нимъ и когда на мою долю выпало это счастье, знакомство пояснило мнѣ многое въ его произведеніяхъ. Съ того времени и человѣкъ, и писатель заняли въ моей душѣ одинаково высокое мѣсто“.

„Я никогда не забуду впечатлѣнія, произведеннаго на меня первой встрѣчей съ Тургеневымъ. Я не повѣрилъ бы, что великій писатель при первомъ же знакомствѣ можетъ оказаться до такой степени привлекательнымъ человѣкомъ. Но дальнѣйшія встрѣчи лишь укрѣпили это впечатлѣніе. Онъ, отличаясь такой простотой, естественностью, скромностью, такимъ отсутствіемъ какихъ-либо личныхъ претензій, такъ лишенъ былъ сознанія своей силы, что иногда на мгновеніе думалось—дѣйствительно-ли предъ тобой гениальный человѣкъ? Все хорошее, все плодотворное было близко ему: казалось, онъ интересовался всѣмъ на свѣтѣ и въ то же время въ немъ ни на мгновеніе не проявлялось той самоувѣренности, какая обыкновенно присуща не только людямъ, пользующимся дѣйствительной славой, но и всякаго рода мелкимъ „извѣстностямъ“. Въ немъ же

\*) Настоящая статья нами заимствована изъ журнала „Минувшіе годы“ кн. VІІІ, 1908 г.

не замѣчалось ни капли тщеславія, стремленія „поддержать свою репутацію“, „играть роль“. Его юморъ перѣдко обращался на него самого, и онъ съ веселымъ смѣхомъ разсказывал анекдоты о самомъ себѣ. Я живо помню улыбку и тонъ голоса, съ которыми Тургеневъ однажды повторилъ описательный эпитетъ, приложенный къ нему Густавомъ Флоберомъ, эпитетъ, долженствовавшій характеризовать расплывчивую мягкость и нерѣшительность, преобладавшія въ натурѣ Тургенева, какъ и въ характерахъ многихъ изъ его героев. Онъ искренно наслаждался остротой Флобера и признавалъ въ ней значительную долю правды. Вообще, онъ былъ необычайно естественъ; скажу больше, — я никогда еще не встрѣчалъ человѣка, обладавшаго въ такой степени этимъ качествомъ. Какъ и у всѣхъ крупныхъ натуръ, въ немъ совмѣщались многіе противоположные элементы и въ немъ особенно поражала смѣсь простоты съ результатами чрезвычайно разносторонне направленной наблюдательности. Въ моемъ критическомъ очеркѣ, о которомъ я упоминалъ выше, я, выразивъ свое восхищеніе трудами Тургенева, позволилъ себѣ сказать, что онъ обладаетъ аристократическимъ темпераментомъ. Замѣчаніе это, послѣ знакомства съ Тургеневымъ, показалось мнѣ особенно нелѣпымъ. Онъ, вообще, не поддавался ни какимъ опредѣленіямъ этого рода; точно также сказать о немъ, что онъ былъ демократомъ, значило (песмотря на демократическую окраску его идей) дать о немъ очень поверхностное и невѣрное понятіе. Онъ чувствовалъ и понималъ противулежащія стороны жизни; для догматизма онъ обладалъ чрезчуръ живымъ воображеніемъ и большимъ запасомъ юмора и ироніи. Въ немъ не было ни зерна какихъ-либо предрасудковъ и напн англосаксонскія, протестантскія, морализующія, условныя мѣрки морали были далеки отъ него. Онъ обсуждалъ всѣ явленія со свободой, которая всегда производила на меня оживляющее впечатлѣніе. Чувство красоты и любовь къ правдѣ лежали въ основѣ его природы; но однимъ изъ очаровашій разговора съ нимъ было то, что вы дышали атмосферой, въ которой условныя фразы и сужденія звучали бы нелѣпостью“.

„Прибавлю, что, конечно, уже не ради похвальной критической статьи Тургеневъ удостоилъ меня такимъ дружескимъ приѣмомъ, ибо моя статья имѣла для него очень мало значенія. При его чрезвычайной скромности, онъ едва ли придавалъ большое значеніе тому, что о немъ говорили, ибо заранѣе не ожидалъ большого пониманія, въ особенности за границей, среди иностранцевъ. Я даже не слышалъ, чтобы онъ упомянулъ въ разговорѣ о какой-либо изъ многочисленныхъ критическихъ оцѣнокъ его произведеній въ Англій. Во Франціи, какъ онъ зналъ, его читали „умѣренно“; рыночный спросъ на его книги былъ не великъ и онъ не обольщался иллюзіями насчетъ дѣйствительныхъ размѣровъ его популярности за границей. Онъ съ удовольствіемъ слышалъ, что нѣкоторые читатели въ Америкѣ съ нетерпѣніемъ ожидаютъ каждаго его новаго произведенія, по все же онъ зналъ, что у него въ Америкѣ нѣтъ „публики“ въ обычномъ значеніи этого слова.

Относительно критики онъ думалъ, что она можетъ быть полезна для читателей, но очень мало вліяетъ на самого художника.

„Замѣчу также, что я нашелъ Тургенева такимъ неотразимо привлекательнымъ вовсе не потому, что онъ съ похвалою отзывался о моихъ произведеніяхъ (я аккуратно посылалъ ему всѣ мои книги). Я увѣренъ, что онъ даже не читалъ ихъ. По поводу первой изъ посланныхъ ему мной моихъ повѣстей, онъ написалъ намъ коротенькую записочку, въ которой сообщалъ, что m-me Вярдо прочла ему вслухъ нѣсколько главъ этой повѣсти и что одна изъ этихъ главъ написана „de main de maitre!“ Конечно, я былъ обрадованъ этимъ отзывомъ, но это было первымъ и послѣднимъ удовольствіемъ этого рода. Какъ я уже сказалъ, я посылалъ ему всѣ мои книги, но онъ никогда больше не обмолвился о нихъ ни однимъ словомъ, никогда ни чѣмъ не показалъ, что онъ читалъ ихъ. Позже я понялъ, что мои произведенія и не могли интересовать его. Онъ больше всего цѣнилъ реализмъ, а мой реализмъ хромалъ. Въ моихъ произведеніяхъ было чрезчуръ много цвѣтовъ и гирляндъ, больше настроенія и маперъ, чѣмъ фактовъ. Но вообще, онъ много читалъ по-англійски и зналъ англійскій языкъ удивительно хорошо — пожалуй, чрезчуръ хорошо, какъ я неоднократно думалъ, такъ какъ онъ любилъ говорить на немъ съ англичанами и американцами, а я предпочиталъ слышать его остроумную французскую бесѣду. Я уже сказалъ, что Тургеневъ былъ свободенъ отъ предрасудковъ, но одинъ, маленький, у него все-таки былъ. Онъ думалъ, что для англичанина или американца недоступно совершенное знаніе разговорнаго французскаго языка. Тургеневъ зналъ Шекспира въ совершенствѣ и одно время занимался детальнымъ изученіемъ старой и новой англійской литературы. Говорить по-англійски ему удавалось не часто, такъ что, когда выпадалъ такой случай, онъ перѣдко употреблялъ въ разговорѣ фразы, попадавшіяся ему въ прочтанныхъ англійскихъ книгахъ. Это придавало его англійскому разговору оригинальную литературную окраску. Когда я знавалъ его, онъ продолжалъ чтеніе по-англійски и не брезгалъ даже иногда заглядывать въ Таухинцевскія изданія современныхъ англійскихъ романовъ. Съ большимъ восторгомъ онъ отзывался о Диккенсѣ, недостатки котораго были для него вполне ясны, но онъ цѣнилъ въ немъ способность живо изображать законченные образы. Въ равной степени онъ восхищался Д. Эллиотъ, съ которой онъ познакомился въ Лондонѣ во время франко-прусской войны. Д. Эллиотъ, въ свою очередь, была очень высокаго мнѣнія о талантѣ Тургенева. Но особенно заинтересованъ онъ былъ молодой французской школой, отверженцами реализма, „внуками Бальзака“. Съ большинствомъ изъ литераторовъ этого лагеря онъ былъ въ дружескихъ отношеніяхъ, а съ Густавомъ Флоберомъ, наиболѣе оригинальнымъ изъ всей группы, его связывала интимная дружба. Конечно, славянскія черты таланта и глубокая германская культура Тургенева едва-ли были доступны его французскимъ друзьямъ, но самъ онъ очень симпатизировалъ новому движенію въ французской литературѣ, настаивалъ

на необходимости изучения живой действительности, долженствующей быть основой беллетристических произведений. Къ представителямъ иныхъ традицій онъ отнесся съ пренебреженіемъ. Правда, онъ рѣдко выражалъ это пренебреженіе; вообще, рѣзкіе приговоры рѣдко слетали съ его устъ, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда дѣло шло о какой-нибудь общественной несправедливости. Но я помню, какъ онъ однажды сказалъ мнѣ, указывая на повѣсть, напечатанную въ „Revue de deux Mondes“:

— „Если бы я написалъ что-либо столь плохое, я бы краснѣлъ всю мою жизнь!“

„Тургеневъ придавалъ очень большое значеніе формѣ, хотя и не въ такой степени, какъ это дѣлали Флоберъ и Эдмонъ де Гонкуръ, причемъ онъ имѣлъ очень опредѣленные и живыя симпатіи. Онъ съ большимъ уваженіемъ отнесся къ Жоржъ Зандъ, главѣ старой романтической традиціи, но уваженіе это вытекало изъ общихъ причинъ, главную роль среди которыхъ играла личность самой Жоржъ Зандъ: Тургеневъ считалъ ее чрезвычайно благородной и искренней женщиной. Какъ я уже сказалъ, онъ питалъ большую привязанность къ Густаву Флоберу, который платилъ ему тѣмъ же. Въ тѣ мѣсяцы, когда Флоберъ жилъ въ Парижѣ, Тургеневъ каждое воскресенье отправлялся къ нему и былъ настолько внимателенъ ко мнѣ, что и меня познакомилъ съ авторомъ „М-те Бовари“, присмотрѣвшись къ которому, я понялъ привязанность къ нему Тургенева. На этихъ воскресныхъ собраніяхъ въ маленькой гостини Флобера въ компаніи друзей (Максима Дюкана, Альфонса Доде, Э. Зола) въ полномъ блескѣ проявлялся разговорный талантъ Тургенева. Какъ и всегда, онъ въ этихъ случаяхъ былъ простъ, естествененъ и словоохотливъ; о чемъ бы онъ ни говорилъ, предметъ разговора окрашивался его блестящимъ воображеніемъ. Главнымъ предметомъ обсужденія на этихъ „дымныхъ“ собраніяхъ, ибо собесѣдники безпощадно курили, были вопросы литературнаго вкуса, вопросы искусства и формы; собесѣдники, въ большинствѣ случаевъ, были радикалами въ эстетикѣ. Конечно, такіе вопросы, какъ отношеніе искусства къ нравственности, тенденціозность въ искусствѣ и т. п. были разрѣшены ими давно и о нихъ не заходило и рѣчи. Они все были убѣждены, что искусство и нравственность представляютъ двѣ совершенно различныхъ категоріи и что искусство имѣетъ столь же мало общаго съ нравственностью, какъ и съ астрономіей или эмбриологіей. Повѣсть прежде всего должна быть хорошо написана; это достоинство само по себѣ уже включаетъ и все другія. Съ особенной яркостью это было высказано въ одно воскресенье, когда случился эпизодъ, непосредственно затронувшій одного изъ членовъ кружка. „Западня“ (L'Assomoir) Зола была приостановлена печатаніемъ въ газетѣ, гдѣ этотъ романъ появлялся въ формѣ фельетоновъ. Приостановка произошла вслѣдствіе неоднократныхъ протестовъ со стороны подписчиковъ газеты. И вотъ, подписчики, въ частности, какъ типъ человѣческой глупости, и филистеры всякаго рода, вообще, были преданы въ это воскресенье проклятію.

Во взглядахъ Зола и Тургенева, конечно, была крупная разница, но Тургеневъ, какъ я уже сказалъ, понималъ все, понималъ онъ и Зола и справедливо опѣивалъ солидныя качества многихъ его произведений. Для Тургенева искусство всегда должно было оставаться искусствомъ. Это положеніе являлось для него аксіомой, не требовавшей доказательствъ. Онъ прекрасно зналъ, что требованія уступокъ въ этой области никогда не идутъ со стороны самихъ художниковъ, но всегда предъявляются покупателями, издателями, подписчиками и т. п. Онъ говорилъ, что не понимаетъ, какъ повѣсть можетъ быть нравственной или безнравственной; къ ней также странно предъявлять подобныя требованія, какъ и къ картинѣ или симфоніи. Но, конечно, его пониманіе свободы искусства было несравненно шире пониманія его французскихъ пріятелей. Въ немъ чувствовалось знаніе всего огромнаго разнообразія жизни, знаніе малодоступныхъ другимъ явленій и ощущеній, чувствовался горизонтъ, въ которомъ терялся узенькій горизонтъ Парижа, и эта широта знанія и пониманія выдѣляла его среди парижскихъ литераторовъ. За сказаннымъ имъ чувствовалось много невысказаннаго. Но все же онъ съ большимъ воодушевленіемъ принималъ участіе въ обсужденияхъ и спорахъ, проявляя все ту же простоту, естественность и вниманіе, придававшихъ такое очарованіе его разговору. Въ спорахъ онъ всегда умѣлъ держаться существенной стороны вопроса, подлежащаго обсужденію.

## II.

### Знакомство Джемса съ Тургеневымъ.

„Меня прежде всего поразила его великолѣпная мужественная фигура и это впечатлѣніе всегда связано съ моимъ представленіемъ о Тургеневѣ. Глубокая, мягкая, любящая душа была заключена въ колоссальное изящное тѣло и эта комбинація была необычайно привлекательна. Какъ извѣстно, онъ былъ страстнымъ охотникомъ и продолжалъ охотиться и въ старости. Возлѣ Кембриджа жилъ его пріятель англичанинъ, къ которому Тургеневъ иногда отправлялся поохотиться. Я думаю, трудно было бы подыскать болѣе подходящую фигуру для изображенія Сѣвернаго Нимврода. Тургеневъ былъ чрезвычайно высокаго роста и обладалъ широкимъ здоровымъ тѣлосложеніемъ. Голова его была поистинѣ прекрасна и хоть черты лица не отличались правильностью, оно обладало большой оригинальной красотой. У него была чисто-русская физиономія съ чрезвычайно-мягкимъ выраженіемъ и въ его глазахъ—самыхъ добродушныхъ глазахъ въ мірѣ—сіяла глубокая меланхолия. Обильные, прямо ниспадавшіе волосы были бѣлы, какъ снѣгъ, такова же была и борода, которую онъ носилъ коротко подрѣзанной. Во всей его высокой фигурѣ, производившей впечатлѣніе, гдѣ бы она ни появлялась, чувствовалось присутствіе неизрасходованной силы. Тургеневъ былъ способенъ краснѣть, какъ 16-лѣтній юноша. Онъ не любилъ условныхъ формъ и церемоній, что же касается его „манеръ“,

то, вследствие присущей ему простоты и естественности, таковых у него не было. Онъ всегда былъ самимъ собой. Все, что бы онъ ни дѣлалъ, дышало простотой; если онъ ошибался и ему указывали на ошибку, Тургеневъ принималъ такое указаніе безъ тѣни раздраженія или неудовольствія. Дружелюбный, искренній, благосклонный Тургеневъ прежде всего производилъ впечатлѣніе челоѣка неисчерпаемой доброты и это впечатлѣніе выносили все знавшіе его.

„Когда я познакомился съ Тургеневымъ, онъ жилъ въ большомъ домѣ на Монмартрскомъ холмѣ, съ семьей Віардо. Онъ занималъ верхній этажъ и я живо помню его маленький зеленый кабинетъ, въ которомъ я провелъ столько незабвенныхъ и невозвратныхъ часовъ. Стѣны кабинета были покрыты зеленой драпировкой, портьеры также были зеленого цвѣта и возлѣ стѣны стоялъ диванъ, который очевидно былъ заказанъ по гигантскимъ размѣрамъ самого хозяина, такъ какъ людямъ меньшихъ размѣровъ приходилось скорѣе лежать, чѣмъ сидѣть на немъ. Вспоминается мнѣ блѣсоватый свѣтъ, проникавшій съ парижской улицы сквозь полузакрытыя окна. Свѣтъ этотъ падалъ на нѣсколько избранныхъ картинъ французской школы, среди которыхъ особенно выдѣлялась картина Теодора Руссо, чрезвычайно высоко цѣнимая Тургеневымъ. Онъ очень любилъ живопись и былъ тонкимъ цѣнителемъ картинъ. Однажды онъ показалъ мнѣ около полудожины большихъ кошій съ картинъ различныхъ итальянскихъ мастеровъ. Копіи были сдѣланы однимъ молодымъ русскимъ художникомъ, судьбой котораго въ то время Тургеневъ очень интересовался. Тургеневъ съ большимъ увлеченіемъ хвалилъ дѣйствительно хорошую работу своего молодого протеже. Подобно всемъ людямъ, обладающимъ сильнымъ воображеніемъ, онъ часто былъ способенъ очень увлекаться, открывая новые таланты. Вообще у него въ почти всегда могли встрѣтить какого-либо его соотечественника или соотечественницу, которыми онъ въ данное время почему-либо интересовался и пилигримы обоого пола постоянно стучались у его дверей. Эта способность увлекаться нерѣдко вела къ ошибкамъ и разочарованіямъ, Тургеневъ часто открывалъ среди своихъ русскихъ знакомыхъ какого-нибудь гения, нянчился съ нимъ въ теченіе мѣсяца и потомъ вы больше не слышали о немъ. Я помню, онъ рассказывалъ мнѣ однажды о молодой женщинѣ, посѣтившей его на возвратномъ пути изъ Америки, гдѣ она изучала медицину. Очувшившись въ Парижѣ безъ друзей и безъ средствъ она нуждалась въ помощи и заработкѣ. Узнавъ случайно, что она пробовала свои силы въ беллетристикѣ, Тургеневъ попросилъ ее прислать ему эти опыты. Среди нихъ оказался чрезвычайно живо написанный очеркъ изъ русской крестьянской жизни. Тургеневъ думалъ, что молодая писательница обладаетъ крупнымъ талантомъ; онъ послалъ ея рассказъ въ Россію для помѣщенія въ журналъ и мечталъ о напечатаніи его въ одномъ изъ парижскихъ изданій. Когда я упомянулъ объ этомъ эпизодѣ одному изъ старыхъ друзей Тургенева, онъ улыбнулся и сказалъ мнѣ, что, вѣроятно, вскорѣ эта молодая писатель-

ница будетъ предана забвенію, что Тургеневъ нерѣдко открывалъ таланты, изъ которыхъ потомъ ничего не выходило. Вѣроятно, въ этомъ была нѣкоторая доля правды и если я упоминаю о способности Тургенева увлекаться въ этомъ отношеніи, то лишь потому, что это была въ основѣ благородная слабость, вытекавшая изъ его доброты, а не изъ отсутствія у него тонкаго художественнаго вкуса. Онъ горячо интересовался русской молодежью; можно сказать, что для него это былъ самый интересный въ мірѣ предметъ для изученія. Все эти его русскіе знакомые почти всегда были несчастны, терпѣли нужду и протестовали противъ господствующаго порядка вещей, который и въ самомъ Тургеневѣ вызывалъ отвращеніе! Изученіе русскаго характера, какъ извѣстно всемъ читателямъ его произведеній, постоянно занимало вниманіе Тургенева. Характеръ этотъ, полный богатыхъ задатковъ, но несформировавшийся, неразвившійся вполне, находящійся въ переходномъ состояніи, представлялъ какую-то таинственную ширь, въ которой трудно было отдѣлнить способности отъ слабостей. Впрочемъ, съ русскими слабостями Тургеневъ, конечно, былъ хорошо знакомъ и не скрывалъ ихъ. Я помню, однажды онъ съ большой энергіей и откровенностью, дѣлающимъ честь ему, такъ какъ рѣчь шла о его соотечественникахъ, высказался объ одной изъ крупнѣйшихъ русскихъ слабостей, недостаточномъ правдолюбіи. Можетъ быть, въ этомъ случаѣ возмущалась его личная правдивость. Молодые его соотечественники волновали его воображеніе и вызывали въ немъ сочувствіе и, принимая во вниманіе окружающую обстановку, они должны были производить на него сильное впечатлѣніе. На парижскомъ фонѣ, съ его блестящей монотонностью и отсутствіемъ чего либо неожиданнаго (для людей давно знающихъ Парижъ) эти соотечественники должны были выдѣляться съ особенной яркостью. И, дѣйствительно, передъ Тургеневымъ проходило много любопытныхъ типовъ. Онъ рассказывалъ мнѣ однажды, что его на-дняхъ навѣстила „религіозная секта“. Секта эта состояла всего на всего изъ двухъ лицъ: одно было предметомъ поклоненія, а другое являлось поклонникомъ. Божество путешествовало по Европѣ въ сопровожденіи „пророка“. Такое положеніе имѣло свои удобства: божество всегда имѣло алтарь и алтарь—божество \*).

Въ первомъ этажѣ дома на Rue de Douai находилась картинная галлерей (здѣсь же мнѣ однажды пришлось видѣть Тургенева съ большимъ комизмомъ выполнявшаго роль въ импровизированномъ нарядѣ), въ которую онъ пригласилъ меня при первомъ же свиданіи, съ цѣлью—показать свой портретъ, выполненный однимъ русскимъ художникомъ, жившимъ тогда въ Парижѣ. Самое большее, что можно было сказать о портретѣ, это, онъ былъ выпол-

\*) Вѣроятно, Тургеневъ имѣлъ въ виду религіознаго маниака, д-ра К., именовавшаго себя Христомъ—Вогомъ; при немъ дѣйствительно состоялъ поклонникъ въ роли „пророка“.

нень „порядочно“, въ особенности когда приходилось глядѣть на него рядомъ съ живымъ оригиналомъ; онъ, впрочемъ, не имѣлъ успѣха и на выставкѣ въ Салонѣ.

Отмѣчу еще нѣсколько мелочей, ибо онѣ интересны, когда рѣчь идетъ о такомъ человѣкѣ, какъ Тургеневъ. Во всей его обстановкѣ поражала, доведенная до педантизма, аккуратность. Въ его маленькой зеленой гостиной все стояло на надлежащемъ мѣстѣ, ницѣ не было тѣхъ слѣдовъ умственной работы, на которые обыкновенно наталкиваемся въ жилищѣ писателя; то же наблюдалось и въ его библиотекѣ въ Буживалѣ. Въ кабинетѣ лежало лишь нѣсколько книгъ; казалось, всѣ слѣды работы были тщательно устранены. Въ гостиной прежде всего бросался въ глаза огромный диванъ и нѣсколько картинъ,—вся комната дышала особымъ комфортомъ. Я не знаю, были ли у Тургенева опредѣленные часы для работы, но думаю, что едва-ли. Я часто видѣлся съ нимъ въ Парижѣ и у меня осталось впечатлѣніе, что въ Парижѣ онъ мало работалъ; большинство работы выполнялось въ лѣтніе мѣсяцы, которые онъ проводилъ въ Буживалѣ. Предполагалось, что онъ каждый годъ навѣщаетъ Россію. Говорю „предполагалось“, ибо часто эти поѣздки оставались лишь въ области предположеній. Всѣ знакомые Тургенева знали, что онъ обладалъ особенной способностью запаздывать. Впрочемъ, этотъ азіатскій порокъ—неумѣніе распорядиться временемъ—свойственъ былъ и другимъ русскимъ, съ которыми я былъ знакомъ. Но если даже знакомымъ и приходилось страдать отъ этого недостатка Тургенева, о немъ вспоминаешь съ улыбкой, такъ какъ онъ прекрасно гармонировалъ съ нелюбовью Тургенева всякаго рода правиламъ. Но все же ему иногда удавалось съѣздить въ Россію и, по его собственнымъ словамъ, время, проведенное въ Россіи, бывало наиболѣе продуктивнымъ въ отношеніи литературной производительности.

„Какъ извѣстно, Тургеневъ обладалъ крупнымъ состояніемъ, и я думаю, что этимъ, до извѣстной степени, объясняются высокія качества его произведеній. Онъ могъ писать, когда у него было для этого надлежащее настроеніе; ему не приходилось считаться съ разнаго рода понужденіями и претягиваніями (если не считать, конечно, цензуры); словомъ сказать, ему никогда не угрожала опасность—превратиться въ литературнаго поденщика. Принимая во вниманіе отсутствіе понужденій денежнаго характера и наличность той обильной лѣности, отъ которой не свободенъ былъ Тургеневъ, его литературная дѣятельность поражаетъ своими размѣрами. Какъ бы то ни было, въ Парижѣ Тургеневъ всегда готовъ былъ принять приглашеніе на полуденный завтракъ. Онъ любилъ завтракать au cabaret и всегда торжественно обѣщалъ придти къ назначенному часу. Но это обѣщаніе, увы, никогда не выполнялось. Упоминаю объ этой идіосинкразіи Тургенева потому, что она по своему постоянству носила забавный характеръ,—надъ этимъ смѣялись не только друзья Тургенева, но и самъ Тургеневъ. Но если онъ, какъ правило, не попадалъ къ началу завтрака, не менѣе неизбѣжно

онъ появлялся къ его концу. Друзьямъ приходилось ждать его, но все же онъ приходилъ. Онъ очень любилъ парижскій déjeuner, хотя по соображеніямъ не кулинарнаго характера. Чрезвычайно воздержанный въ пищѣ и питьѣ, онъ иногда совѣмъ не прикасался ни къ чему за столомъ, но онъ находилъ, что это лучшее время для разговора и, имѣя его собесѣдникомъ, вы, конечно, убѣждались въ этомъ“.

„Имѣются мѣста въ Парижѣ,—которыя въ моей памяти связаны съ воспоминаніемъ о Тургеневѣ и, проходя мимо нихъ, я всегда вспоминаю его разговоры со мной. На Avenue de l'Opera есть кафе съ особенно глубокими диванами, гдѣ я однажды бесѣдовалъ съ нимъ за чрезвычайно скромнымъ завтракомъ и наша бесѣда затянулась далеко за полдень. Тургеневъ былъ чрезвычайно интересенъ и я теперь вспоминаю объ этомъ разговорѣ съ чувствомъ какой-то невыразимой глѣзости. Въ моемъ воображеніи встаетъ сѣрый парижскій день въ декабрѣ, во время котораго кафе кажется особенно гостеприимнымъ, въ особенности, когда начинаются сумерки, зажигаются лампы и собираются обычные habitués, усаживающіеся за абсентъ и домино. А я съ Тургеневымъ все еще продолжаю бесѣдовать, сидя за нашимъ завтракомъ, и нашей бесѣдѣ не видно конца. Тургеневъ почти исключительно говорилъ на этотъ разъ о Россіи, о нигилистахъ, о замѣчательныхъ личностяхъ среди нихъ, о странныхъ поѣздителяхъ иногда навѣщающихъ его, о мрачной судьбѣ его отечества. Когда онъ бывалъ въ такомъ настроеніи, онъ какъ-то особенно сильно воздѣйствовалъ на воображеніе слушателя. Для меня, по крайней мѣрѣ, въ его словахъ, въ такихъ случаяхъ, звучало всегда нѣчто чрезвычайно оживляющее и я разставался съ нимъ въ состояніи умственного возбужденія, чувствовалъ, что мнѣ была внушена масса самыхъ разнообразныхъ и драгоцѣнныхъ мыслей.

Особенно интересны и цѣнны были замѣчанія и признанія Тургенева о методахъ его творчества. Зародышъ повѣсти никогда не принималъ у него формы исторіи съ завязкой и развязкой—это являлось уже въ послѣднихъ стадіяхъ созиданія. Прежде всего его занимало изображеніе извѣстныхъ лицъ. Первая форма, въ которой повѣсть являлась въ его воображеніи, была фигура того или иного индивидуума, или же комбинація индивидуумовъ, которыхъ онъ затѣмъ заставлялъ дѣйствовать. Лица эти обрисовывались предъ нимъ живо и опредѣленно, причѣмъ онъ старался, по возможности, детальнѣе изучить ихъ характеры и возможно точнѣе описать ихъ. Для большаго уясненія себѣ онъ писалъ нѣчто въ родѣ біографіи каждаго изъ дѣйствующихъ лицъ, доводя ихъ исторію до начала дѣйствія въ задуманной повѣсти. Словомъ, каждое дѣйствующее лицо имѣло у него *donner* на подобіе французскихъ преступниковъ въ парижской префектурѣ. Запасшись такими матеріалами, онъ задавался вопросомъ: въ чемъ же выразится дѣятельность моихъ героевъ? И онъ всегда заставлялъ ихъ дѣйствовать такимъ образомъ, чтобы предъ читателемъ вполне обрисовался данный характеръ. Но, какъ говорилъ Тургеневъ, его

всегда упрекали въ изъянахъ художественной архитектуры, построения. Читая произведенія Тургенева послѣ того, какъ знаешь—какимъ образомъ онѣ были конструированы, вы, дѣйствительно, можете прослѣдить процессъ творчества. Все дѣло сводится къ дѣйствию группы избранныхъ характеровъ, причѣмъ это дѣйствіе не является результатомъ заранее задуманнаго плана, а вытекаетъ изъ присущихъ характерамъ качествъ. Произведенія искусства создаются самымъ разнообразнымъ образомъ и всегда будутъ появляться повѣсти—и при томъ очень хорошія—въ которыхъ все будетъ подчинено замыслу, интересу приключеній. Подобныя произведенія нравятся большинству читателей, ибо, говоря о жизни, онѣ въ то же время не заставляютъ усиленно задумываться надъ ней. Но, конечно, манера Тургенева наиболѣе подходяща для тѣхъ произведеній, въ которыхъ авторъ старается изобразить дѣйствительныхъ людей, подлинныхъ мужичиъ и женщинъ, а не фантомы своего воображенія. Найдутся читатели, которые воскликнутъ: „для насъ все это не важно, лишь бы повѣсть была интересна!“

А, между тѣмъ, при строгомъ соблюденіи правды, развѣ „Наканупѣ“ не представляетъ глубоко интересной повѣсти какъ и „Дворянское гнѣздо“ и „Вешніе воды?“ Перечитывая недавно повѣсти Тургенева, я былъ снова пораженъ находящейся въ нихъ комбинаціей реализма и красоты. Говоря о Тургеневѣ, никогда не должно забывать, что онъ былъ одновременно и наблюдателемъ и поэтомъ.

Я помню, какъ Тургеневъ, говоря о Гомэ (одномъ изъ наиболѣе удачныхъ персонажей въ „М-те Бовари“ Флобера), замѣтилъ, что сила подобнаго изображенія заключается въ томъ, что изображаемое лицо представляетъ въ одно и то же время индивидуальность въ самой конкретной формѣ и является типомъ. Въ этомъ же лежатъ сила тургеневскихъ изображеній: всѣ онѣ глубоко индивидуальны и въ то же время типичны.

Я уже упоминалъ о дружбѣ Тургенева и Флобера; скажу лишь, что въ этой дружбѣ было нѣчто трогательное. Между ними было нѣкоторое сходство. Оба были высокіе, массивные люди, хотя Тургеневъ былъ выше Флобера; оба отличались высокой честностью и искренностью и въ характерѣ обонхъ была печальная проницательная складка. Они горячо были привязаны другъ къ другу, но мнѣ казалось, что привязанность Тургенева была окрашена сожалѣніемъ. Въ Флоберѣ было нѣчто, вызывавшее подобное чувство. Въ общемъ у него было больше неуспѣховъ, чѣмъ удачъ, и громадная масса труда, затраченная имъ, не дала ожидаемыхъ результатовъ. Онъ обладалъ талантомъ, лишеннымъ высокой остроты ума; у него было воображеніе, но отсутствовала фантазія. Его усиліе было поистинѣ героическимъ, но, за исключеніемъ „М-те Бовари“, онъ самъ скорѣе топилъ свои произведенія, чѣмъ способствовалъ ихъ успѣху. Въ его талантѣ было что-то непронизводительное. Онъ былъ холоденъ, хотя готовъ былъ пожертвовать всѣмъ, чтобы воспламениться. Вы не найдете въ его повѣстяхъ ничего подобнаго страсти Елены къ Инса-

рову, чистотѣ Лизы, скорби стариковъ Базаровыхъ. А между тѣмъ, Флоберъ напрягалъ всѣ усилія, чтобы быть патетическимъ. Эта частичная пѣмота вызывала въ тѣхъ, кто зналъ Флобера, чувство жалостливой симпатіи къ нему. Онъ былъ въ одно и то же время могущественъ и ограниченъ, и было нѣчто трогательное въ этомъ сильномъ человѣкѣ, не могшемъ вполне выразить самого себя.

Послѣ перваго года моего знакомства съ Тургеневымъ, я встрѣчался съ нимъ сравнительно рѣже. Мнѣ рѣдко приходилось бывать въ Парижѣ и я не всегда заставлялъ въ немъ Тургенева. Но я при всякомъ случаѣ старался повидать его и судьба благоприятствовала мнѣ. Опъ раза три пріѣзжалъ въ Лондонъ на очень короткій срокъ, на пути къ своему кембриджскому пріятелю-охотнику. Послѣ 1876 г. я уже часто видалъ его больнымъ—его терзала подагра и онъ нерѣдко чувствовалъ себя измученнымъ. Тѣмъ не менѣе, опъ съ обычнымъ мастерствомъ умѣлъ описывать различныя стадіи своей болѣзни. Наблюдательность въ этомъ случаѣ направлялась на самого себя; въ мученіяхъ боли его посѣщали самыя странныя фантазіи и образы, которые онъ анализировалъ съ удивительной точностью. Нѣсколько разъ я посѣтилъ его въ Буживалѣ, гдѣ онъ жилъ въ очень обширномъ и изящномъ шале. Въ послѣдній разъ я видѣлъ его въ ноябрѣ 1882 г. въ Буживалѣ. Онъ былъ уже очень боленъ, но еще не совсемъ потерялъ надежду на выздоровленіе и былъ почти веселъ. Ему надо было ѣхать въ Парижъ и, такъ какъ, онъ не выносилъ тряски вагона, онъ отправлялся въ каретѣ и предложилъ мнѣ занять свободное мѣсто въ ней. Въ продолженіе полутора часовъ онъ неутомимо говорилъ съ обычнымъ остроуміемъ и живостью. Когда мы прибыли въ Парижъ, я вышелъ изъ экипажа на одномъ изъ бульваровъ, попрощался съ нимъ у окна кареты и это была наша послѣдняя встрѣча: я болѣе не видалъ его...

Я почти сожалѣю, что въ связи съ Тургеневымъ, мнѣ пришлось много говорить о Парижѣ. Читатель можетъ вынести впечатлѣніе, что Тургеневъ былъ офранцузенъ. Но это было бы ошибкой: Тургеневъ менѣе всего походилъ на француза.

Упомяну въ заключеніе, что одной изъ всѣгдашнихъ темъ его разговоровъ была его родная страна, его надежды и опасенія за ея будущее. Онъ писалъ повѣсти и драмы, но драмой его жизни была борьба за лучшее будущее Россіи, онъ сыгралъ въ этой драмѣ выдающуюся роль и его похороны показали, что соотечественники съумѣли отбросить дѣятельность гениальнаго писателя. Несмотря на всѣ ухищренія и запрещенія полиціи, похороны эти превратились въ грандіозную манифестацію. Повторю еще разъ: это былъ благороднѣйшій и добрѣйшій изъ людей и эти душевные качества соединялись съ рѣдкой художественной гениальностью“.

### Бойзенъ \*) о Тургеневѣ.

Я думаю, что Карлейль правъ,—когда онъ утверждаетъ, что наклонность къ поклоненію героямъ заложена во всѣхъ людяхъ и что даже самые ярые республиканцы не свободны отъ нея. Во всякомъ случаѣ, я, прочтя „Дворянское Гнѣздо“ и „Отцовъ и Дѣтей“, пересталъ причислять Тургенева къ обыкновеннымъ смертнымъ; онъ сталъ для меня своего рода „героємъ“; мое воображеніе рисовало его мнѣ въ различныхъ видахъ, но всегда округленнымъ ореоломъ и мнѣ приходилось сдерживать себя, если кто-нибудь въ моемъ присутствіи говорилъ, что ему не нравятся произведенія, хотя я равнодушно могъ слушать, когда при мнѣ поносили другихъ моихъ любимцевъ, В. Скотта или Диккенса, но Тургеневъ успѣлъ занять одно изъ тѣхъ интимныхъ мѣстъ въ моемъ сердцѣ, куда рѣдко проникаютъ посторонніе.

Я такъ долго жилъ съ книгами, что онѣ стали для меня живыми существами. Кто-то сказалъ, что скандинавцы обладаютъ тенденціей персонализировать все, что они видятъ и, пожалуй въ этомъ имѣется доля правды. По прочтеніи книги съ яркой индивидуальной окраской, она всегда потомъ представлялась мнѣ, какъ нѣчто, обладающее всѣми качествами живой личности. Я вспоминалъ о ней, какъ о старомъ знакомцѣ, которому я обязанъ многими пріятными минутами и который имѣетъ право на мою глубокую благодарность. Я былъ поэтому несказанно радъ, когда Тургеневъ сказалъ мнѣ, что и у него такое же отношеніе къ книгамъ.

Я отправился въ Европу въ іюнь 1873 года и странствовалъ по континенту безъ строгой опредѣленной цѣли, заботливо избѣгая путеводителей и другихъ нарушителей человѣческаго покоя. Одной изъ счастливейшихъ случайностей была моя встрѣча съ извѣстнымъ германскимъ критикомъ и историкомъ литературы, д-мъ Юліаномъ Шмидтомъ, труды котораго я тщательно изучалъ и который, поэтому, отнесся ко мнѣ очень благосклонно. Придя однажды къ нему, я засталъ его въ прекрасномъ расположеніи духа,—онъ только что

\*) Бойзенъ познакомился съ Тургеневымъ въ 1873 г., когда онъ отправился для пополненія своего образованія въ Европу и заглянулъ въ Парижъ.

закончилъ корректуру послѣднихъ листовъ „Исторіи французской литературы“, выходящей новымъ изданіемъ. Естественнымъ образомъ разговоръ коснулся Франціи и д-ръ рассказалъ мнѣ нѣсколько интересныхъ анекдотовъ изъ жизни французскихъ литераторовъ; многіе изъ которыхъ были его личными друзьями. Въ заключеніе этой бесѣды онъ показалъ мнѣ альбомъ съ карточками французскихъ литературныхъ заменитостей. Онъ называлъ ихъ по именамъ, пока я переворачивалъ листы альбома.

„А это,—сказалъ онъ, указывая на прекрасное лицо, изображенное на фотографіи,—по моему мнѣнію—величайшій изъ живущихъ теперь авторовъ.“

— Не Тургеневъ-ли? воскликнулъ я.

— Да, отвѣтилъ онъ, нѣсколько изумленный моимъ внезапнымъ энтузіазмомъ.—Это—Тургеневъ, русскій великій писатель и одинъ изъ самыхъ дорогихъ моихъ друзей.

„Я встрѣчался еще нѣсколько разъ съ д-ромъ Шмидтомъ и когда я зашелъ къ нему проститься и очъ узналъ, что я буду въ Парижѣ, онъ далъ мнѣ рекомендательное письмо къ русскому романисту. Но по прибытіи въ Лейпцигъ, я прочелъ въ одной американской газетѣ чрезвычайно печальное извѣстіе. Въ ней сообщалось, что великій русскій писатель рѣшилъ прекратить литературную дѣятельность, что онъ въ настоящее время находится въ отчаяніи, потерявъ жену и дочь и что въ довершеніе несчастій его „любимый племянникъ“ проигрался въ карты и посаженъ въ тюрьму. Въ Вѣнѣ я прочелъ въ нѣмецкой газетѣ, что Тургеневъ сломалъ ногу на Вѣнской выставкѣ и лежитъ больной въ Карлсбадѣ. Очевидно, у меня было мало шансовъ повидать Тургенева...“

„Въ одно прекрасное утро въ Парижѣ, глядя на знаменитую женскую головку Ипполита Фландрена въ Люксембургскомъ дворцѣ, я все больше и больше убѣждался, что я видѣлъ ее гдѣ-то раньше, но не могъ вспомнить—гдѣ и когда. Я не довѣрялъ себѣ, ибо никогда раньше не былъ въ Парижѣ и не могъ видѣть картины. Вслѣдъ затѣмъ въ моей головѣ мелькнула мысль, что я вообразилъ себѣ Лизу изъ „Дворянскаго гнѣзда“ съ чертами лица дѣвушки Фландрена. Меня охватило неудержимое желаніе во что бы то ни стало увидать Тургенева и я рѣшилъ добиться свиданія, если бы даже „Petit Journal“ объявилъ о смерти его, когда я буду на пути къ нему.“

Но все же меня беспокоила мысль о вычитаной мной смерти его жены и дочери и я со стѣсненнымъ сердцемъ позвонилъ у старомоднаго дома въ Rue de Douai.

На мой вопросъ—дома-ли Тургеневъ, суровый старикъ съ красной турецкой феской на головѣ отправился доложить обо мнѣ.

Самый домъ, казалось мнѣ, имѣлъ странный восточный видъ. Больше того, мнѣ казалось, что въ атмосферѣ его носится тонкій всепронизающій запахъ какого-то восточнаго аромата... Нечего и говорить, что все это было плодомъ моего воображенія. Изъ всей об-

становки у меня остались в памяти лишь мягкіе пушистые ковры и тяжелыя драпировки.

Слуга вскорѣ возвратился и повелъ меня вверхъ по лѣстницѣ, въ концѣ которой меня встрѣтилъ высокій массивный человѣкъ, съ сѣдой бородой и очаровательной улыбкой на красномъ лицѣ.

— Очень радъ видѣть васъ,—воскликнулъ онъ, крѣпко пожимая мнѣ руку:—вы видали моего друга д-ра Шмидта?

Я пролепеталъ что-то о д-рѣ Шмидтѣ, что онъ здоровъ и что онъ посылаетъ свой привѣтъ и т. д. Тургеневъ мягко втолкнулъ меня въ комнату, бывшую, вѣроятно, его кабинетомъ.

Самыми выдающимися предметами въ этой комнатѣ были: большой письменный столъ и превосходная картина, изображающая нагую женщину. Какъ я узналъ впоследствии, Тургеневъ былъ большой любитель живописи и тонкій знатокъ въ этой области. Я усѣлся на низкомъ диванѣ подъ картиной, а хозяинъ—у письменнаго стола. Онъ тотчасъ же завелъ разговоръ, кажется, объ Америкѣ, и я отвѣчалъ, плохо сознавая, что я говорю. Слушать Тургенева и разговаривать съ нимъ доставляетъ большое удовольствіе. Въ закругленномъ покоѣ его фразъ было нѣчто чарующее для слуха и для чувства; вы чувствовали себя легко и свободно, какъ будто знали собесѣдника съ дѣтства. Мнѣ кажется, что главнымъ дарованіемъ Тургеневской рѣчи было вызываемое ею полное довѣріе, ея свободное и естественное теченіе и, пожалуй, больше всего—полное отсутствіе въ ней какого-либо усиленія, стремленія къ блеску и эффекту. И вмѣстѣ съ тѣмъ разговоръ не являлся лишь монологомъ хозяина, нѣтъ, это была настоящая дружеская бесѣда. Я, между тѣмъ, внимательно приглядывался къ фizioноміи Тургенева. Его голубые глаза имѣли прекрасное доброе выраженіе, но низко падающія вѣки придавали ему легкій оттѣнокъ лѣни, которая, по его собственнымъ словамъ, не была чужда ему. Сѣдые волосы, откинутые назадъ, выказывали высокій массивный лобъ, а нависшія брови говорили (если вѣрить френологамъ) о сильно развитыхъ артистическихъ чувствахъ. Когда я поднялся, чтобы уходить, Тургеневъ чрезвычайно любезно пригласилъ меня—бывать у него.

— „Если у васъ не имѣется на завтра иныхъ плановъ,—сказалъ онъ,—можетъ быть, вы придете и проведете день со мной? Приходите часамъ къ десяти утра. Не бойтесь помѣшать мнѣ, я теперь свободенъ. А мы съ вами потолкуемъ объ интересующихъ насъ вопросахъ.“

Очутившись на улицѣ, я невольно подумалъ, что, очевидно, вычитанныя мной въ газетахъ потери (смерть жены и дочери) не особенно повлияли на него. Онъ несколько не глядѣлъ утнетепнымъ и его спокойствіе не могло быть результатомъ стоицизма, поскольку я правильно понималъ его характеръ.

На слѣдующее утро я опять былъ у двери Тургеневской квартиры. Ожидая въ приемной, пока слуга доложитъ обо мнѣ, я услышалъ бѣглую прелюдію на фортепіано и затѣмъ звуки женскаго голоса, пѣвшаго итальянскую арію.

Это былъ ясный, молодой, полный юной радости голосъ и я съ интересомъ прислушивался къ нему, думая—кому онъ можетъ принадлежать? И снова меня охватило впечатлѣніе какой-то таинственности. Но предо мной уже стоялъ слуга и съ вершины лѣстницы до меня доносился голосъ привѣтствовавшего меня Тургенева.

— Я давно ужъ хотѣлъ встрѣтить американца,—сказалъ онъ, вводя меня въ кабинетъ,—и въ особенности такого, который былъ бы хорошо знакомъ съ литературой его страны.

Я поспѣшилъ отвѣтить, что я, хотя и американскій гражданинъ, но не по праву рожденія, а по собственному выбору. Но если полная симпатія къ американскимъ учрежденіямъ и высокая оцѣнка исторической миссии Америки является существеннымъ признакомъ истиннаго американца, то Тургеневъ можетъ считать меня таковымъ.

Тургеневъ, съ улыбкой, сказалъ, что онъ принимаетъ мое опредѣленіе.

— Это была моя всегдашняя *idée fixe*,—продолжалъ онъ,—посѣтить вашу страну... Въ юности, когда я учился въ Московскомъ университетѣ, мои демократическія тенденціи и мой энтузіазмъ по отношенію къ сѣверо-американской республикѣ вошли въ поговорку и товарищи студенты называли меня „американцемъ“. Я и до сихъ поръ еще не потерялъ надежды—пересѣчь Атлантическій океанъ и собственными глазами поглядѣть на страну, за развитіемъ которой я слѣдилъ лишь издали; по когда человѣку перевалить за пятьдесятъ, онъ начинаетъ чувствовать, что у него выросли корни подъ ногами и что онъ уже утратилъ способность—двигаться съ прежней быстротой. Ему приходится сдѣлать большое усиліе, чтобы побѣдить эту *vis inertiae*...

Я замѣтилъ, что многіе европейскіе авторы, какъ Муръ, Марріэтъ, Диккенсъ, Гейворшъ-Диксонъ, посѣтили Америку; но вслѣдствіе того, что они пріѣзжали съ готовыми предразсудками или же не обладали умѣньемъ проникнуть сквозь наружную оболочку, они не нашли въ Америкѣ ничего, кромѣ политической испорченности и, возвращаясь домой, издавали книги, наполненныя искаженіями всякаго рода.

— Вы совершенно правы,—воскликнулъ Тургеневъ,—для того, чтобы открыть всякаго рода злоупотребленія, не требуется большого ума и во всякой странѣ, пользующейся свободой прессы и рѣчи, такого рода злоупотребленія скорѣе всего всплываютъ наверхъ. Но если я пріѣду въ Америку, мои предразсудки будутъ въ вашу пользу. Кстати, это напоминаетъ мнѣ эпизодъ изъ временъ нашей крымской кампаніи. Наши генералы постоянно совершали крупныя ошибки, но пресса молчала, у насъ былъ завязанъ ротъ и никто не осмѣливался громко указать на эти ошибки. Англичане также совершали ошибки, но ихъ газеты тотчасъ же поднимали по этому поводу крикъ и наши псевдопатріоты хихикали злорадно, думая, что мы то ужъ свободны отъ подобныхъ ошибокъ. Въ обоихъ случаяхъ существовали злоупотребленія; вся разница была въ томъ,

что въ одномъ случаѣ они дѣлались общезвѣстными, а въ другомъ—тщательно скрывались.

Во время разговора Тургеневъ упомянулъ о норвежскомъ писателѣ Бьорнстьернѣ Бьорнсонѣ, котораго произведенія вызывали восхищеніе въ Тургеневѣ. Ибсена онъ зналъ лишь по имени и просилъ меня дать ему представленіе о характерѣ его произведеній. Указавъ ему на крупныя достоинства произведеній Ибсена, я рассказала Тургеневу о моемъ визитѣ къ Ибсену (въ Дрезденѣ) и выразилъ удивленіе по поводу высказанныхъ Ибсеномъ симпатій къ деспотизму и его восхищенія русскимъ императоромъ Николаемъ I п формой правленія въ Россіи.

— Это чрезвычайно курьезный фактъ,— замѣтилъ Тургеневъ,— что многіе, живущіе въ странахъ со свободными учрежденіями, восхищаются деспотическими правительствами. Чрезвычайно легко любить деспотизмъ на разстояніи. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ я навѣстилъ Карлейля. Онъ также нападалъ на демократію и выражалъ симпатіи Россіи и ея тогдашнему императору. „Движеніе великихъ народныхъ массъ, движущихся по мановенію одной могущественной руки,—сказалъ онъ,—вноситъ цѣль и единообразіе въ историческій процессъ. Въ такой странѣ, какъ Великобританія, иногда бываетъ утомительно видѣть, какъ всякій мелочной человѣкъ можетъ высушить голову на подобіе лягушки изъ болота и кивать во все горло. Подобное положеніе вещей ведетъ лишь къ замѣшательству и безпорядку“. Въ отвѣтъ на это я сказала Карлейлю, что ему слѣдовало бы оправиться въ Россію и прожить мѣсяца два въ одной изъ внутреннихъ губерній; тогда онъ бы собственными глазами убѣдился въ результатахъ восхваляемаго имъ строя. Тотъ, кто утомленъ демократіей, потому что она создаетъ безпорядки, напоминаетъ человѣка, готовящагося къ самоубійству. Онъ утомленъ разнообразіемъ жизни и мечтаетъ о монотонности смерти. До тѣхъ поръ, пока мы остаемся индивидуумами, а не однообразными повтореніями одного и того же типа, жизнь будетъ пестрой, разнообразной и даже, пожалуй, безпорядочной. И въ этомъ безконечномъ столкновеніи интересовъ и идей лежитъ главная надежда на прогрессъ человѣчества. Величайшей прелестью американскихъ учрежденій для меня всегда являлось то обстоятельство, что они давали самую широкую возможность для индивидуальнаго развитія, а именно этого деспотизмъ не позволяетъ, да и не можетъ позволить. Этому уроку научилъ меня долгій жизненный опытъ. Въ теченіе многихъ лѣтъ я фактически веду жизнь „изгнанника“, а въ теченіе нѣкотораго времени я, по волѣ императора, былъ принужденъ жить въ своемъ помѣстьѣ безъ права выѣзда. Какъ видите, я имѣлъ возможность на себѣ изучить прелести абсолютизма и едва ли нужно говорить, что опытъ не сдѣлалъ меня поклонникомъ этой формы правленія.

Я замѣтилъ, что восхищеніе Ибсена русскимъ правительствомъ возникло, какъ результатъ пессимистическаго воззрѣнія на жизнь, что истинный демократъ, какъ бы онъ не разочаровался въ отдѣльныхъ личностяхъ, долженъ сохранять вѣру въ человѣчество и что

Ибсена отсуствуетъ именно такая вѣра. Онъ, между прочимъ, любилъ утверждать, что меньшинство всегда право и что онъ потерялъ бы всякое уваженіе къ самому себѣ, если бы онъ пашель, что сходится по какому-нибудь важному вопросу съ мнѣніемъ большей части человѣчества.

— „Я не сомнѣвался въ послѣдовательности Ибсена,—отвѣтилъ Тургеневъ,—и долженъ замѣтить, что имѣется возможность такого стеченія обстоятельствъ, при которомъ меньшинство окажется правымъ, но вѣдь это исключеніе, а не правило. Въ природѣ здоровье всегда преобладаетъ надъ болѣзью; если бы въ мѣрѣ возобладалъ отрицательный (negative) принципъ, у человѣчества не хватило бы жизненныхъ силъ для продолженія существованія. Вы могли замѣтить,—прибавилъ онъ,—что я не обладаю философскимъ умомъ. Я лишь гляжу и вывожу мои выводы изъ видимаго мной, я рѣдко пускаюсь въ абстракціи. Болѣе того, даже абстракціи постоянно являются въ моемъ умѣ въ формѣ конкретныхъ картинъ и когда мнѣ удается довести мою идею до формы такой картины, лишь тогда я овладѣваю вполне и самой идеей. Что подобныя картины могутъ быть вполне ирраціональными, я не отрицаю, но онѣ пріобрѣтаютъ для меня форму и окраску, перестаютъ быть абстракціями, превращаются въ реальности. Европа, напримѣръ, часто представляется мнѣ въ формѣ большого слабо освѣщеннаго храма, богато и великолѣпно украшеннаго, но подъ сводами котораго царитъ мракъ. Америка представляется моему уму въ формѣ обширной плодоносной преріи, на первый взглядъ кажущейся слегка пустынной, но на горизонтѣ которой разгорается блистательная заря“.

Велѣдъ затѣмъ послѣдовала долгая и чрезвычайно-пріятная беседа. Я записалъ сущность ея въ своемъ дневникѣ лишь нѣсколькими днями позднѣе и, хотя беседа эта до сихъ поръ живо сохранилась въ моемъ умѣ, я не поручусь за совершенную точность формы, въ какой я ее передаю. У всякаго человѣка—свой стиль и стиль Тургенева не отличался легко уловимыми и легко передаваемыми особенностями. Главной темой нашего разговора была американская литература. Изъ всѣхъ американскихъ авторовъ онъ наиболѣе любилъ Гоуторпа (Hawthorne). Въ немъ онъ видѣлъ перваго литературнаго представителя „Новаго Мира“; „Scarlet letter“ и въ „Twice Told Tales“ онъ находилъ специальную окраску, указывающую на то, что это были произведенія новой цивилизаціи. Другія его произведенія („The pearle Faun“ и „Hour of the Seven Gables“) носили тотъ же отпечатокъ великаго и могущественно-своеобразнаго таланта. Онъ съ удовольствіемъ читалъ Лонгафелло, и признавалъ въ немъ поэтическія достоинства, хотя онъ слѣдовалъ за европейскими писателями и липей былъ своеобразія, отличительнаго американскаго характера. Тургеневъ встрѣчался съ Лоуэллемъ и отзывался съ похвалой о его произведеніяхъ. Нѣкоторое время его очень интересовали произведенія Уота Уитмана, онъ думалъ, что среди кучи шумихи въ нихъ были хорошія зерна. Онъ хвалилъ Бретъ-Гарта, думалъ, что изъ него могъ бы развиться крупный писатель, но

боялся, что успѣхъ испортитъ его, лишитъ способности къ самокритикѣ.

— Я искренно интересуюсь,—продолжалъ онъ,—всѣмъ происходящимъ за Атлантическимъ океаномъ и всегда стремлюсь быть au courant вашей литературы. Если я пропустилъ что-либо выдающееся, надѣюсь вы освѣдомите меня.

Я упомянуть о Гюэммельсѣ и Альдригѣ, которыхъ я очень хвалилъ Тургеневу. По его желанію, я далъ ему заглавія книгъ этихъ авторовъ и во время одного изъ слѣдующихъ посѣщеній я пашелъ „Венеціанскіе Очерки“ Гюэммельса на письменномъ столѣ Тургенева.

Мнѣ очень хотѣлось услышать отъ него что-либо о его собственныхъ произведеніяхъ. Воспользовавшись удобнымъ моментомъ разговора, я разсказалъ ему о томъ, что онъ имѣетъ въ Америкѣ многихъ горячихъ поклонниковъ, что американская критика ставитъ его наряду съ Диккенсомъ и что о немъ всегда говорятъ съ восторгомъ въ литературныхъ кружкахъ Бостона. Я думалъ, что въ сущности ему это извѣстно, но, къ моему удивленію, до него не дошли слухи о его успѣхѣ въ Америкѣ.

— Вы не можете себѣ представить,—воскликнулъ онъ,—какое вы доставляете мнѣ удовольствіе... Я всегда радуюсь, когда слышу, что мои книги нашли симпатизирующихъ читателей, но я вдвойнѣ радъ, что онѣ встрѣтили такой пріемъ въ Америкѣ.

Здѣсь я ужъ не могъ сдерживаться долѣе, мое восхищеніе и преклоненіе предъ гениемъ великаго писателя нашло выходъ въ горячихъ словахъ. Я разсказалъ ему, какъ въ теченіе цѣлаго года не разставался съ „Дворянскимъ Гнѣздомъ“ и „Отцами и Дѣтьми“, какъ они въ качествѣ новаго элемента вошли въ мою жизнь, пока я уже не могъ различать между впечатлѣніями полученными отъ чтенія этихъ повѣстей и тѣми, которыя принадлежали окружающему меня матеріальному міру.

— Вы заставили меня почувствовать себя счастливымъ,—сказалъ Тургеневъ съ ясной улыбкой, озарившей его лицо.—Хоть и неловко слушать похвалы, которыхъ не заслужилъ вполнѣ, но радостно слышать, что тебѣ до извѣстной степени удалось сдѣлать то, чего добивался. Я никогда не пытался разукрасивать жизнь; я стараюсь лишь наблюдать и понимать ее. И, если мнѣ это удалось, какъ вы увѣряете, я очень счастливъ.

— Въ такомъ случаѣ,—воскликнулъ я,—слухи о томъ, что вы навсегда оставили перо, несправедливы?

— Я очень облѣнился за послѣднее время,—отвѣтилъ онъ,—и за послѣдніе шесть мѣсяцевъ не сдѣлалъ почти ничего. Вплоть до прошлаго года я могъ похвалиться, что не зналъ въ сущности, что такое болѣзнь, такъ какъ я обладалъ такимъ здоровымъ тѣлосложеніемъ, что не чувствовалъ ее. Но вотъ недавно у меня былъ приступъ подагры, которая угрожала перейти на желудокъ; затѣмъ, прошлое лѣто ушибъ себѣ колѣно на Вѣнской выставкѣ, прова-

лялся около шести недѣль и долженъ былъ уѣхать въ Карлсбадъ, не успѣвши повидать ни Вѣны, ни выставки.

— Я видалъ замѣтку объ этомъ въ вѣнскихъ газетахъ, но, кажется, наши американскія газеты, по обычаю, преувеличили размеры постигшихъ васъ несчастій. Я читалъ въ нихъ, что вы отказываетесь отъ литературной дѣятельности, что скорбь и семейныя несчастія вызвали въ васъ упадокъ силъ и т. д.

— Да, меня дѣйствительно постигло семейное лишеніе,—сказалъ Тургеневъ,—къ моему удивленію, съ веселой улыбкой.—Моя единственная дочь вышла замужъ. Но все же это не такого рода лишеніе, чтобы ради него навсегда отказаться отъ литературной дѣятельности. Едва ли это даже можно назвать семейной скорбью; напротивъ, я испыталъ въ связи съ этимъ радость, ставъ недавно дѣдушкой. Но во всѣхъ этого рода слухахъ всегда имѣется зерно правды: дѣло въ томъ, что я облѣнился. Я никогда не могу заставить себя писать, если не имѣется для этого внутренняго импульса. Если работа не доставляетъ мнѣ полного удовольствія, я тотчасъ же прекращаю ее. Если меня утомляетъ сочиненіе повѣсти, значитъ и самая повѣсть должна утомить читателей. Но съ недавняго времени я опять начинаю чувствовать позывъ къ работѣ и я теперь занятъ повѣстью, хранящейся у меня здѣсь, въ письменномъ столѣ. Въ этой повѣсти одиннадцать дѣйствующихъ лицъ и по объему она превзойдетъ другія мои повѣсти.

— Я не могъ удержаться, чтобы не выразить моей радости при этомъ извѣстїи. Тургеневъ, очевидно, прїятно тронутый моимъ юношескимъ энтузіазмомъ, опять улыбнулся (и я никогда не видалъ болѣе прекрасной улыбки). Я сказалъ, между прочимъ:

— Какое удивительно сложное существо ваша Irène въ „Дымѣ“! Несмотря на всѣ ея нарушенія общепринятой морали, вы не можете не восхищаться ею. Причемъ я не ограничиваюсь художественнымъ восхищеніемъ: въ моемъ сердцѣ таится симпатія къ ней. Чувствую какое-то вѣяніе судьбы, въ древне-греческомъ смыслѣ, во всей картинѣ не находится осужденія ни Иринѣ, ни Литвинову; принимаемъ ихъ поступки и характеры, какъ нѣчто естественное и неизбежное. При томъ же, насколько она благороднѣе по сравненію, хотя бы, съ хитрой чувственной кокеткой Варварой Павловной въ „Дворянскомъ Гнѣздѣ“!

„Характеръ Ирины,—отвѣтилъ Тургеневъ,—представляетъ странную исторію. Онъ былъ внушенъ мнѣ дѣйствительно существовавшей личностью, которую я зналъ лично. Но Ирина въ романѣ и Ирина въ дѣйствительности не вполнѣ совпадаютъ. Это то же и не то же. Я не знаю, какъ объяснить вамъ самый процессъ развитія характеровъ въ моемъ умѣ. Всякая написанная мной строчка вдохновлена чѣмъ-либо, или случившимся лично со мной, или же тѣмъ, что я наблюдалъ. Я не копирую дѣйствительные эпизоды или живыя личности, но эти сцены и личности даютъ мнѣ сырой матеріалъ для художественныхъ построеній. Мнѣ рѣдко приходится выводить какое-либо знакомое мнѣ лицо, такъ какъ въ жизни рѣдко

встрѣчаешь чистые, непримѣсные типы. Я обыкновенно спрашиваю себя: для чего предназначила природа ту или иную личность? какъ проявится у нея извѣстная черта характера, если ее развить въ психологической послѣдовательности? Но я не беру единственную черту характера или какую-либо особенность, чтобы создать мужской или женскій образъ; напротивъ, я всячески стараюсь не выделять особенностей; я стараюсь показать моихъ мужчинъ и женщинъ не только en face, но и en profile, въ такихъ положеніяхъ, которыя были бы естественными, и въ то же время имѣли бы хужожественную цѣнность. Я не могу похвалиться особенно сильнымъ воображеніемъ и не умѣю строить зданій на воздухѣ.

„Ваши слова, — сказалъ я, — поясняютъ мнѣ тотъ фактъ, что ваши характеры обладаютъ ярко опредѣленными чертами, запечатлѣвающимися въ умѣ читателя. Такъ было, по крайней мѣрѣ, со мной. Базаровъ въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“ и Ирина въ „Дымѣ“ также знакомы мнѣ, какъ мои родные братья; мнѣ знакомы даже ихъ физіономіи и я гляжу на нихъ, какъ на старыхъ друзей.

— Также смотрю на нихъ и я, — сказалъ Тургеневъ. — Это люди, которыхъ я когда-то зналъ интимно, но съ которыми оборвалось знакомство. Когда я писалъ о нихъ, они были для меня также реальны, вотъ какъ вы теперь. Когда я заинтересовываюсь какимъ-либо характеромъ, онъ овладѣваетъ моимъ умомъ, онъ преслѣдуетъ меня днемъ и ночью, и не оставляетъ меня въ покоѣ, пока я не отдѣлаюсь отъ него. Когда я читаю, онъ шепчетъ мнѣ на ухо свои мнѣнія о прочитанномъ, когда я иду гулять, онъ высказываетъ свои сужденія обо всемъ, что бы я ни услышалъ и ни увидѣлъ. Наконецъ, мнѣ приходится сдаваться — я сажусь и пишу его біографію. Я спрашиваю себя: кто были его отецъ и мать, что за люди они были, какого рода семью представляли, каковы были ихъ привычки и т. д. Затѣмъ я перехожу къ исторіи воспитанія моего героя, къ его наружности, къ мѣстности, гдѣ онъ провелъ годы, въ которыхъ формируется характеръ. Иногда я иду даже дальше, какъ напримѣръ, это было съ Базаровымъ. Онъ такъ завладѣлъ мной, что я велъ отъ его имени дневникъ, въ которомъ онъ высказывалъ свои мнѣнія о важнѣйшихъ текущихъ вопросахъ, религіозныхъ, политическихъ и соціальныхъ. То же самое я продѣлалъ относительно одного изъ второстепенныхъ характеровъ въ „Наканунѣ“... я даже забылъ его имя теперь...

— Не Шубинъ-ли? — рѣшился я напомнить.

— Да, да, именно Шубинъ, — воскликнулъ Тургеневъ съ видомъ удовольствія, — оказывается, вы лучше меня самого помните моихъ дѣйствующихъ лицъ. Да, это былъ Павелъ Шубинъ. Я не давно слега его дневникъ и онъ былъ значительно объемистѣе романа, въ которомъ самъ Шубинъ фигурируетъ. Я считаю такіе эпизоды подготовительной работой; пока дѣйствующее лицо не обрисовуется съ полной ясностью и не появится въ рѣзкихъ очертаніяхъ въ моемъ умѣ и предъ моими глазами, я не могу ступить шагу въ моей работѣ.

Далѣе Тургеневъ сообщилъ любопытную подробность объ „Отцахъ и Дѣтяхъ“.

— Я однажды прогуливался и думалъ о смерти... Велѣдъ затѣмъ предо мной возникла картина умирающаго человѣка. Это былъ Базаровъ. Сцена произвела на меня сильное впечатлѣніе и затѣмъ начали развиваться остальные дѣйствующія лица и само дѣйствіе.

Наша бесѣда продолжалась нѣсколько часовъ и затронула массу вопросовъ. При прощаньи Тургеневъ подарилъ мнѣ въ нѣмецкомъ переводѣ тѣ изъ его произведеній, съ которыми я еще не былъ знакомъ. „Вешнія воды“ и „Степного короля Лира“ онъ далъ мнѣ въ французскомъ переводѣ.

Во время слѣдующаго моего посѣщенія разговоръ почти исключительно сосредоточивался на искусствѣ и на коллекціяхъ Лувра и Люксембургскаго дворца. Я съ восхищеніемъ прислушивался къ его критическимъ замѣчаніямъ: его глаза всегда умѣли подмѣтить наиболѣе характерныя черты даннаго произведенія, его сравненія всегда рисовали предметъ ярко въ нашемъ воображеніи. Видя, что вопросъ интересуетъ меня, онъ повелъ меня въ сосѣдную комнату, гдѣ хранились нѣкоторыя изъ его картинъ. Мнѣ вспоминаются лишь двѣ изъ нихъ: прекрасная картина Ванъ-деръ Вира и уже упомянутый мной портретъ нагой женщины, кисти Вланшара, награжденный золотой медалью на выставкѣ 1870 г.

Въ послѣдній разъ я видѣлся съ Тургеневымъ вечеромъ предъ моимъ отъѣздомъ. Пожимая руку, онъ сказалъ мнѣ:

— Au revoir — въ Америкѣ.

„Мнѣ часто приходилось слышать, — о сходствѣ между русскими и американцами. И тѣ и другіе представляютъ націи будущаго, предъ каждой изъ нихъ лежатъ великія возможности. Мы привыкли къ мысли, что наше общество не обладаетъ опредѣлившимися, ясно очерченными типами, что вѣчно движущаяся поверхность американской жизни не годится для художественныхъ эффектовъ, не поддается художественной обработкѣ. Вѣроятно, русскіе думали то же о своей странѣ, пока не явился Тургеневъ и не показалъ имъ, что кажущаяся монотонность жизни представляла въ дѣйствительности великую одухотворенную картину. Когда у насъ появится великій беллетристъ — а онъ долженъ появиться, — онъ дастъ намъ подобный же урокъ. А въ настоящее время Россія опередила Америку — ибо у насъ нѣтъ Тургенева“.



встрѣчаешь чистые, безпримѣсные типы. Я обыкновенно спрашиваю себя: для чего предназначила природа ту или иную личность? какъ проявится у нея извѣстная черта характера, если ее развить въ психологической послѣдовательности? Но я не беру единственную черту характера или какую-либо особенность, чтобы создать мужской или женскій образъ; напротивъ, я вселчески стараюсь не выдѣлять особенностей; я стараюсь показать моихъ мужчинъ и женщинъ не только en face, но и en profile, въ такихъ положеніяхъ, которыя были бы естественными, и въ то же время имѣли бы художественную цѣнность. Я не могу похвалиться особенно сильнымъ воображеніемъ и не умѣю строить зданій на воздухъ.

„Ваши слова,—сказалъ я,—поясняютъ мнѣ тотъ фактъ, что ваши характеры обладаютъ ярко опредѣленными чертами, запечатлѣвающимися въ умѣ читателя. Такъ было, по крайней мѣрѣ, со мной. Базаровъ въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“ и Ирина въ „Дымѣ“ также знакомы мнѣ, какъ мои родные братья; мнѣ знакомы даже ихъ физиономіи и я гляжу на нихъ, какъ на старыхъ друзей.

— Также смотрю на нихъ и я,—сказалъ Тургеневъ.—Это люди, которыхъ я когда-то зналъ intimately, но съ которыми оборвалось знакомство. Когда я писалъ о нихъ, они были для меня также реальны, вотъ какъ вы теперь. Когда я заинтересовываюсь какимъ-либо характеромъ, онъ овладѣваетъ моимъ умомъ, онъ преслѣдуетъ меня днемъ и ночью, и не оставляетъ меня въ покоѣ, пока я не отдѣлаюсь отъ него. Когда я читаю, онъ шепчетъ мнѣ на ухо свои мнѣнія о прочитанномъ, когда я иду гулять, онъ высказываетъ свои сужденія обо всемъ, что бы я ни услышалъ и ни увидѣлъ. Наконецъ, мнѣ приходится сдаваться—я сажусь и пишу его биографію. Я спрашиваю себя: кто были его отецъ и мать, что за люди они были, какого рода семью представляли, каковы были ихъ привычки и т. д. Затѣмъ я перехожу къ исторіи воспитанія моего героя, къ его наружности, къ мѣстности, гдѣ онъ провелъ годы, въ которые формируется характеръ. Иногда я иду даже дальше, какъ напри- мѣръ, это было съ Базаровымъ. Онъ такъ завладѣлъ мной, что я велъ отъ его имени дневникъ, въ которомъ онъ высказывалъ свои мнѣнія о важнѣйшихъ текущихъ вопросахъ, религіозныхъ, политическихъ и социальныхъ. То же самое я продолжалъ относительно одного изъ второстепенныхъ характеровъ въ „Наканунѣ“... я даже забылъ его имя теперь...

— Не Шубинъ-ли?—рѣшился я напомнить.

— Да, да, именно Шубинъ,—воскликнулъ Тургеневъ съ видимымъ удовольствіемъ,—оказывается, вы лучше меня самого помните моихъ дѣйствующихъ лицъ. Да, это былъ Павелъ Шубинъ. Я не давно сжегъ его дневникъ и онъ былъ значительно объемистѣе романа, въ которомъ самъ Шубинъ фигурируетъ. Я считаю такіе эскизы подготовительной работой; пока дѣйствующее лицо не обрисовуется съ полной ясностью и не появится въ рѣзкихъ очертаніяхъ въ моемъ умѣ и предъ моими глазами, я не могу ступить шагу въ моей работѣ.

Далѣе Тургеневъ сообщилъ любопытную подробность объ „Отцахъ и Дѣтяхъ“.

— Я однажды прогуливался и думалъ о смерти... Велѣдъ затѣмъ предо мной возникла картина умирающаго человѣка. Это былъ Базаровъ. Сцена произвела на меня сильное впечатлѣніе и затѣмъ пачали развиваться остальные дѣйствующія лица и само дѣйствіе.

Наша бесѣда продолжалась нѣсколько часовъ и затронула массу вопросовъ. При прощаньи Тургеневъ подарилъ мнѣ въ нѣмецкомъ переводѣ тѣ изъ его произведеній, съ которыми я еще не былъ знакомъ. „Вешнія воды“ и „Степнаго короля Лира“ онъ далъ мнѣ въ французскомъ переводѣ.

Во время слѣдующаго моего посѣщенія разговоръ почти исключительно сосредоточивался на искусствѣ и на коллекціяхъ Лувра и Люксембургскаго дворца. Я съ восхищеніемъ прислушивался къ его критическимъ замѣчаніямъ: его глаза всегда умѣли подгѣтить наиболѣе характерныя черты даннаго произведенія, его сравненія всегда рисовали предметъ ярко въ нашемъ воображеніи. Видя, что вопросъ интересуется меня, онъ повелъ меня въ сосѣднюю комнату, гдѣ хранились нѣкоторыя изъ его картинъ. Мнѣ вспоминаются лишь двѣ изъ нихъ: прекрасная картина Ванъ-деръ Вира и уже упомянутый мной портретъ нагой женщины, кисти Бланшара, награжденный золотой медалью на выставкѣ 1870 г.

Въ послѣдній разъ я видѣлся съ Тургеневымъ вечеромъ предъ моимъ отъѣздомъ. Пожимая руку, онъ сказалъ мнѣ:

— Au revoir—въ Америкѣ.

„Мнѣ часто приходилось слышать,—о сходствѣ между русскими и американцами. И тѣ и другіе представляютъ націи будущаго, предъ каждой изъ нихъ лежатъ великія возможности. Мы привыкли къ мысли, что наше общество не обладаетъ опредѣлившимися, ясно очерченными типами, что вѣчно движущаяся поверхность американской жизни не годится для художественныхъ эффектовъ, не поддается художественной обработкѣ. Вѣроятно, русскіе думали то же о своей странѣ, пока не явился Тургеневъ и не показалъ имъ, что кажущаяся монотонность жизни представляла въ дѣйствительности великую одухотворенную картину. Когда у насъ появится великій беллетристъ—а онъ долженъ появиться,—онъ дастъ намъ подобный же урокъ. А въ настоящее время Россія опередила Америку—ибо у насъ нѣтъ Тургенева“.

## Изданія „Т-ва Прогрессъ Нашей Жизни“, Спб.

Т. Ганжулевичъ. „Записки охотника“ И. С. Тургенева. Съ двумя портр. и 8 иллюстрац. на мѣловой бумагѣ 196 стр. Цѣна 75 к.

Ниже мы приводимъ отзывъ о книгѣ, появившейся послѣ выхода книги въ свѣтъ.

Разборъ Классической Книжки.—Критическая замѣтка Виктора Русакова.

Тургеневскія „Записки охотника“ принадлежатъ къ числу тѣхъ великихъ, мировыхъ произведеній литературы, которыя мало читать и перечитывать: ихъ надо изучать. И такое изученіе доставитъ интеллигентному читателю безспорно огромное эстетическое удовольствие, давая возможность понять значеніе этого чуднаго произведенія. Нельзя поэтому не привѣтствовать прекрасной попытки молодой писательницы-критика Т. Ганжулевичъ, которая рѣшила дать въ руки русскихъ читателей подробный разборъ „Записокъ охотника“, или, вѣрнѣе, руководство, при помощи котораго каждый, интересующійся „Записками охотника“ можетъ составить себѣ свое личное мнѣніе объ этомъ произведеніи.

Трудъ г-жи Ганжулевичъ \*) представляетъ объемистую книгу въ 196 страницъ, въ которой даны сначала свѣдѣнія о жизни самого писателя, отраженіе которой мы находимъ въ „Запискахъ охотника“, затѣмъ исторію самого произведенія и, наконецъ, подробный разборъ сочиненія, какъ въ его цѣломъ, такъ и въ отдѣльныхъ частяхъ и типахъ.

Если можно примѣнить къ книгѣ г. Ганжулевичъ отвлеченное сравненіе, то ее—словами Брандеса—слѣдовало назвать „критическимъ фонаремъ“: при помощи этого фонаря читатель ознакомится со всѣми, частью скрытыми подъ художественно-беллетристическою оболочкою, высоко-гуманными, высоко-культурными идеями Тургенева.

Не ограничиваясь личными своими сужденіями, г-жа Ганжулевичъ приводитъ мнѣніе выдающихся критиковъ, русскихъ и иностранныхъ, среди которыхъ особенно выдѣляется мѣткое сравненіе „Записокъ охотника“ съ „Хижиною дяди Тома“, принадлежащее перу Альфонса Додэ.

Г-жа Ганжулевичъ, приводя это сравненіе Додэ, не развиваетъ, однако, въ достаточной, по нашему взгляду, степени, хотя и приводитъ мнѣнія Иванова, Семейскаго и др., указывавшихъ, что Тургеневъ убѣдилъ своихъ современниковъ, что крѣпостные мужики—

\*) Т. Ганжулевичъ. „Записки охотника“ И. С. Тургенева. Съ двумя портретами Тургенева и 8 иллюстраціями. Спб., 1908 г. Стр. 196. Ц. 75 к.